

Енисей

№ 2
2019



Красноярский литературно-художественный
и краеведческий альманах



Енисей

№ 2
2019



Красноярский литературно-художественный
и краеведческий альманах

Михаил Тарковский главный редактор

заместители
главного редактора:

Александр Ёлтышев по прозе

Сергей Кузнечихин по поэзии

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Александр Астраханцев прозаик, член Союза
русских писателей

Леонид Бердников краевед, председатель
историко-патриотического
общества «Краевед»

Иван Булава прозаик, первый секретарь
Сибирского представительства
Союза писателей России и Белоруссии

Марина Москалюк доктор искусствоведения, профессор,
ректор ФГБОУ ВО «Красноярский
государственный институт искусств»

Михаил Северьянов заведующий кафедрой отечественной
истории Гуманитарного института
ФГАОУ ВО «Сибирский
федеральный университет»,
доктор исторических наук,
профессор



Красноярск
«Ситалл»

ББК 84 (2 Рус = Рос)

Е 63

Альманах выходит благодаря
финансовой поддержке министерства
культуры Красноярского края.

Мнение редакции может
не совпадать с мнением авторов.

Редакция не вступает в переписку.
Тексты не рецензируются.

В оформлении обложки
использован фрагмент картины
Юрия Деева «Дед с петухом».

Адрес редакции:
г. Красноярск, пр. Мира, д. 3,
Дом искусств

Вёрстка: Олег Наумов
Корректор: Андрей Леонтьев

Подписано в печать: 6.12.2019

Тираж: 500 экз.

Формат: 70 × 100 / 16

Объём: 17,55 усл. печ. л.

Отпечатано в ООО ПК «Ситалл»:
660074, г. Красноярск, ул. Борисова, 14
тел.: (391) 218-05-15, www.sitall.com

ISBN 978-5-98708-102-0

Содержание

СЛОВО РЕДАКТОРА

Михаил Тарковский

Узел связи 5

ЮБИЛЕЙ

Алитет Немтушкин 9

Сергей Ставер 14

ПРОЗА

Надежда Кравченко

И возлюбите друг друга... 16

Сергей Кузнечихин

Морозов 57

Владимир Ярош

И аз воздам 64

Эльдар Ахадов

Рассказы 94

Эдуард Русаков

Из новых рассказов 105

Геннадий Васильев

Мозговая травма 114

Светлана Корнюхина

Солнцеворот 129

Леонид Кудрявцев

Три фантастических рассказа 140

Николай Тимченко

Таина тайна 151

Инна Новикова

И тут пришли ёжики 167

ПОЭЗИЯ

Ольга Левская 170

Светлана Мель 175

Ольга Немежикова 178

Дмитрий Мурзин 183

Владимир Полухин 189

Сергей Марков 194

Александр Ёлтышев 196

ИСТОРИЯ

Наталья Калеменева

Добровольцы Первой мировой 201

Авторы 211

Михаил Тарковский

Узел связи

Очерк о художнике

«Мне вспоминалась та ночь, когда, проснувшись, долго не мог уснуть. Когда не спится, когда ворочаешься с боку на бок, в голове чёрт знает что творится — полнейшая неразбериха, как будто ветер ворошит путанные мысли. Так вот, во время бессонницы всё разлетелось прочь, и всё моё внимание сосредоточилось на одном вопросе: кто я такой?» Так начинается рукопись воспоминаний Николая Фёдоровича Дорогова, жившего в Енисейске с 1958 года и оставившего нам небывалое наследие: будучи прирождённым художником, он на протяжении более чем двух десятилетий созидал в графике и живописи образ града Енисейского, почётным гражданином которого был признан в 1994 году. Это десятки кропотливых портретов больших зданий, домов и домишек, сквозь документальность которых нет-нет да и прорвётся творческий порыв и застынет волнообразным снежным надувом на крыше или у подножия избёнки и оттенит аскетическую вязь наличников и карнизов. Дороговская живопись маслом стоит отдельного альбома: именно в ней воплощается всё то, что художник сдерживал при составлении своей графической энциклопедии енисейского зодчества.

В книге, которая существует только в машинописной рукописи, заключается то главное, что и составляет смысл жизни таких людей — и великих, и обычных — в плане естественного человеческого желания остановить время, упорядочить и увековечить наше быстротекущее прошлое и настоящее. Не специальная какая-то тяга «ах, к слову!» или «ох, к живописи!», а желание спасти от забвения людские судьбы и их каждодневный труд, благоукрашающий нашу многострадальную Русскую землю. Таких людей земля эта рождала в изобилии, а труднейшие времена воистину выковали характеры мужественные и ответственные.

«Вопрос о моём прошлом не давал мне покоя, и я наконец решил попросить братьев и сестру вспомнить, что осталось в памяти об их детских годах, и поделиться со мной своими воспоминаниями». Точно так же не давала покоя Николаю Фёдоровичу и архитектура Енисейска, но опять же — не «ах, архитектура!», а простое соображение трудового человека: «Да как же так: построил купец такую красоту — здесь, среди тайги и морозов, а красота эта возьмёт и сгниёт. Может, хотя



Парадное крыльцо с резьбой по дереву и железу. Дударева, 11



Окно. Тамарова, 10

бы запечатлеть её?» И запечатлевал, и ходил по Енисейску и зимой, и летом, и не мог наглядеться на резные ворота и на умирающие храмы, на уходящие в землю домишки с наличниками, среди которых особенно восхищали выполненные в модном «изящном» стиле наличники, называемые иногда «сибирским барокко»: их характерные плавные растительные линии в виде особых закрученных глазков волюты, из которых будто девятнадцатый век глядит на нас сквозь морозные узоры.

Работал в Енисейском узле связи бухгалтером, наверняка слыл «городским чудачком», и его осанистый силуэт с подрамником наверняка был частью городского пейзажа. При этом, пожалуй, единственное свидетельство его жизненного подвига — телевизионный фильм «А окна были резные» (В. Фёдоров, 1991 год). С экрана крепкий и предельно скромный пожилой человек рассказывает о деле своей жизни: «Я не помню, когда я начал увлекаться рисованием, а раз не помню, то с раннего детства». Дорогов болел, ему поставили сердечный стимулятор, не велели поднимать тяжелее двух килограммов, а он таскал этюдники и прочее, и вот восхищается, как украшали купцы «даже амбары!», говорит глуховатым голосом и с необыкновенно основательной интонацией: «Смотрю, где что-то угрожает уже гибелью, бегу и зарисовываю».

Про Дорогова никто особо не знает, кроме музейщиков Енисейска. Если озаботиться, то можно с трудом отыскать краткую и заботливую заметку (найти бы авторов!):

«В Енисейске к нему привыкли уже давно. Ровно в десять утра, если только не пасмурно, он появляется на улицах города. Старик идёт медленно, не торопясь, ведь сейчас ему спешить некуда, много лет как на пенсии. Да и быстро шагать не может: в руках штатив и ящичек с этюдником, бумагой, карандашом. Идёт он дорогой удивительной, и вот перед глазами расцветает деревянный чудо-узор, то рассыпаясь в звёзды над окнами, то превращаясь в цветы на воротах.

Его маршрут заканчивается, как всегда, одинаково, на какой-нибудь старой улице. Но в этом городе они стары почти все, поэтому остановиться он может на любой. Там и поставит свой штатив, раскроет этюдник. И, глубоко вздохнув, будет долго смотреть на выбранный дом. Лишь потом возьмёт карандаш.

Ему мешать не будет никто, даже не обратят внимания. Привыкли и дети, и их родители, которые сами были детьми, когда он впервые



Ул. Тамарова, 1978 г.

вышел с этюдником на улицу. Понятное дело, рисует человек. Чего же тут глазеть, раскрыв рот? Правда, иногда кое-кто из взрослых, проходя мимо, всё же спрячет чуть насмешливую улыбку: нашёл, старый чудака, что рисовать. Развалюху! „Чудака“ же будет работать до обеда, только сходит на полчаса домой — и вновь за карандаш. Или же, развернув маленький свёрток, достанет пару бутербродов и поест прямо тут же, сидя на лавочке у калитки. Если только не пасмурно...»

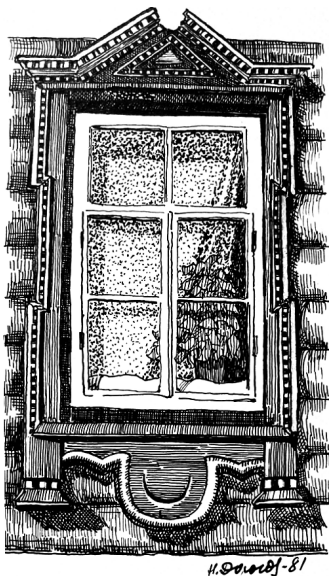
Или:

«Шёл как-то по улице, где тот дом стоял, что с цветами, птицами и виноградом, — свернул к нему и... замер. Нет ни дома, ни птиц, ни сказочных драконов. Вместо сказки, вырезанной из дерева, что была как драгоценность и под стать легендарным Кижам, — похожий на могилу чёрный котлован. Под новый фундамент для нового дома. Уж шлакоблоки привезли...

Что случилось с ним тогда! Понимал: не ему, бухгалтеру узла связи, спасать трёхсотлетний город, но сохранить его образ он сможет».

Это сейчас мы называем таких людей подвижниками, говорим громкие слова и стыдим наше молодое племя их примерами. А они жили как умели и были лицом времени, образом эпохи. Оказаться в семье раскулаченного, бежать от ссылки, отсидеть в заключении. Потом вернуться и тихо служить бухгалтером в Енисейском узле связи...

Написать воспоминания-жизнеописание не менее ценно и поучительно, чем рассказы Шаламову. И снова идём на второй круг — столь и характерна, и знаменательна судьба! Ещё почти подростком в родной Вятской губернии отпахал на сплаве леса, потом строил дома в Подмоскowie и в Ростове, работал счетоводом в Цхалтубо, и успел



на «Ростсельмаше» повкалывать, и на Волге на загрузке барж.

В Сибирь попал в Боготол и в Ачинск, где в 1937 году был арестован и откуда увезён строить БАМ в Ксеньевку Читинской области, Могочинский район. (Мало кто знает, что стройка Байкало-Амурской магистрали началась ещё до Великой Отечественной войны, а аббревиатура появилась в 1930 году. В 1938 году был создан Бамлаг. Дорогов какое-то время ещё и работал художником в красном уголке Бамлага. Между прочим, среди заключённых Бамлага оказался и отец Павел Флоренский, который ухитрился подготовить исследование о строительстве на вечной мерзлоте.)

А потом — Енисейск, тихо уходящий в землю, осыпающийся штукатуркой, пересохшей щепой наличников, и стимулятор на груди, и кипы рисунков, переданные в краеведческий музей. Все мы горазды кричать слова, что давайте, мол, братцы, всё охранять и сохранять, а потом как прикинем остаток годов к непочатости работы — так и заткнёмся помаленьку. А Николай Фёдорович помалкивал да писал Енисейск, огорчаясь людской нерадивостью и равнодушием и веря, что придёт прекрасный и бережный кто-то и по его трудам воссоздаст образ Енисейска. Однажды и навечно.

Рисунки Николая Дорогова



Дорогов Николай Фёдорович

Род. в 1913 в с. Санчурское Санчурского уезда Вятской губ. Русский, сын торговца, грамотный, беспартийный. В 1930 раскулачен, от ссылки бежал. Проживал в г. Боготол. Бухгалтер райотдела связи. Арестован 24.11.1937, содержался в Ачинской тюрьме. Осуждён 05.12.1937 тройкой УНКВД КК на 8 лет ИТЛ. Реабилитирован 20.04.1990 прокуратурой КК (П-81).

Книга памяти Красноярского края, том 3

Алитет Немтушкин

(1939–2007)

Михаил Тарковский

ОН СЛОВО ДОСТАВАЛ ИЗ-ПОДО МХА...

Имя Алитета Немтушкина было мне знакомо — в деревенской библиотеке я видел его книгу, в журналах читал стихи. Он был для меня матёрейший классик, да ещё овеванный эвенкийским своим происхождением, и поэтому казался особо и даже таинственно причастным к таёжным нашим краям. Однажды в красноярском Доме литераторов на Стрелке я его встретил. Год не помню, но точно или рубеж веков, или чуть позже... А может, и наоборот — раньше.

Мы вдвоём там оказались, не сразу разобрались, кто — кто, но потом представились, познакомились и пошли в кафешку, выходящую на Каратанова. Там разговор и вовсе завязался. Алитет мне показался каким-то скорее городским, чем таёжным, и будто черты его утратили эвенкийский облик, протравились городом. О чём говорили? Да наскоком обо всём. И какая-то растерянность, грусть была в Алитете, и нашлось нечто, что меня задело, — недоверие к писателям, считающим себя защитниками русского, советского, традиционного. Было ощущение, что он читал статьи, где за одно упоминание таких слов, как «традиционное», «национальное», писателя обвиняют в фашизме. Грустно и горько было слышать это от Алитета Немтушкина. Слава Богу, нашлась более животворная тема для разговора.

Меня страшно волновали эвенкийские названия, которыми изобиловала наша тайга к востоку от Енисея. Все эти бесконечные Бирами, Майгунны и Делимакиты. И, конечно, интересовал их перевод. Я пристал к Немтушкину и с записной книжкой в руке долго пытал его по топонимике. Что «майга» по-эвенкийски — «ленок», я знал. Поэтому Майгушаши, Майгунны и Майгуши для меня не были открытием. Я спросил, что означает Бирама? Он сказал, что «река». Гора Делимо, оказалось, происходит от слова «дели» — «таймень». «Хури» («сури») — «сиг». Хурингда и Сурингда — Сиговая, как и Суриндакон. Необыкновенно зычная и грозная Пульванондра оказалась Язёвой. А дальше выяснилось, что многие названия заключают в себе целую картину, образ, историю. Например, ручей Кангелан Алитет перевёл как Маленький Колокольчик, Хигами — как Мокрый Снег, Дигали — как Тундрочку Обегали, а мой родной Тынеп оказался местом, где когда-то было хорошо пасти оленей.

Отдельного слова стоит то, как он отвечал: не сразу выпаливал, а будто доставал, добывал... Будто название лежало, завернутое в бересту, в шкуру, и его нужно именно извлечь, протереть... Достать из-под мха. Спрошу, а он думает, морщится, вглядывается в эвенкийскую даль и начинает говорить, приближаться к смыслу, почти на ощупь, в несколько заходов. Иногда мне казалось, что он заново созидает образы каким-то огромным усилием души.

Потом я уехал в Бахту. Потом ещё приезжал в Красноярск, но почему-то мы не виделись. Потом Алитет ушёл, и я горько пожалел, что не разыскал его, не допросил его об эвенкийских речках. Надо было куда-нибудь поехать вместе, сесть с ним на бережку, у костерка, и наблюдать, как он смотрит на реку, на тайгу...

В месте, где когда-то было хорошо пасти оленей.

Гамлет Арутюнян

СТИХИ ПРО СТАРОГО ЭВЕНКА

Алитету Немтушкину

Всё трудней эвенку настигать оленя,
Старому эвенку из старого селенья.
Что не жить эвенку в рубленом доме?
Говорит с усмешкой: «Сам я не пойму!

Всё-то мои ноги тундрою ходили,
Всё-то мои руки зверя сторожили.
Настигали метко пули из винтовки.
Вспоминать об этом мне теперь неловко.

И врага на фронте я на мушку брал,
Раз попал в прицел мой даже генерал».

Есть и дом хороший — он для сыновей.
Старому эвенку в чуме здоровей.

Костерок затеплит. Вновь раскурит трубку.
И к костру протянет высохшую руку.

В жизни этой бренной он равновелик.
Телом ещё молод, а в душе старик.

И ночами снятся всё ему олени,
Старому эвенку из старого селенья.

ДРУГУ-ПОЭТУ

А что у нас? Одни слова.
А стихи — пыжи к патронам.
Ты хоть — белая сова,
А я — белая ворона.
В тундре нет моей родни...
Хоть туда её ссылали.
Может, вымерли одни?
А других там заклевали?
Дорогой мой Алитет,
Сколько мне бродить по свету?
Ни к чему менять свой цвет.
Да и средств на краску нету...

ПАМЯТИ АЛИТЕТА

Душа в заветной лире мой прах переживёт...

А. С. Пушкин

Все слова сердечные затёрты,
Словно побывали у менял...
Друг мой, я тебя не видел мёртвым —
Ты живым остался для меня!
Как певец прекрасной Эвенкии
Ты достиг вершины мастерства.
Раз в сто лет рождаются такие,
Чтоб родная речь была жива.
Горд я тем, что Алитет Немтушкин
Доказал: теперь тунгус не тот!
Он и сам — как эвенкийский Пушкин:
В лире прах душа переживёт...

12 ноября 2006

Его стихи, как парка, греют
И сами просятся в печать.
Его отец лупил хореем,
Чтоб мог он ямбы отличать.

ЧЁРНАЯ ПУРГА В НОРИЛЬСКЕ

С похмелья Алитет молчун,
Но знает, кто за всё в ответе.
Наш девятиэтажный чум
Раскачивает хриплый ветер.
Накурено, и воздух спёрт,
А форточку открыть опасно —
Пурга. Закрыт аэропорт.
Когда откроется — неясно.
Страдает пожилой тунгус,
Тоскливо хворому поэту.
Пусть холодильник наш не пуст,
Но выпить, к сожалению, нету.
Пурга, все злые духи с ней,
А кто же с нами — непонятно.
Успевший приземлиться снег
Пытается взлететь обратно,
По окнам шарит, дом слепит,
Ползёт, цепляясь за антенны,
Срывается и вновь летит,
Бросаясь в бешенстве на стены,
Но железобетонный кров
Пока что терпит и спасает.
Вот если б в тундре и без дров...
Подумаешь — и в жар бросает.
Такого страху нагнала,
Тоски тупой и обречённой.
Везде пурга белым бела,
Но здесь её называли чёрной.
А в доме тёплый туалет
И риска нет поймать простуду.
Я спрашиваю: «Алитет,
Скажи, за что ты любишь тундру?»
Тунгус непрост, тунгус не трус,
Не уклоняется от справки:
«Люблю за холод и за гнус...
И за полярные надбавки».

Михаил Мельниченко

ВОКРУГ ПУШКИНА

Абвг.....эюя

Алфавит

Аушкин,
Бушкин,
Вушкин,
Гушкин,
Душкин,
Еушкин,
Ёушкин,
Жушкин,
Зушкин,
Иушкин,
Кушкин,
Лушкин,
Мушкин,
Нушкин,
Оушкин,
ПУШКИН,
Рушкин,
Сушкин,
Тушкин,
Ушкин,
Фушкин,
Хушкин,
Чушкин,
Шушкин,
Щушкин,
Ыушкин,
Эушкин,
Юушкин,
Яушкин,
А также
Я и Немтушкин.

Сергей Ставер

(1949–2014)

* * *

Не изменить, не превозмочь желаний,
Когда душой овладевает страсть.
Как трудно жить на чувственном вулкане,
Чтоб не сгореть и в пекло не упасть!

Молю судьбу, прошу о переменах:
— Ослабь, судьба, пожалуйста, чуток
Накал страстей в моих звенящих венах!
Замедли темп, и пульс, и кровоток.

Живу, борясь с невзгодами и бытом,
Почти забыв слова «покой» и «тлен».
А ветер странствий кружит по орбитам
Моих страстей, звеня на струнах вен.

* * *

Белый, алый, голубой...
Солнышко смеётся!..
За забором синий бор,
Жёлтый сруб колодца!

В нём студёная вода
Ломит зубы: ух ты!
Только тропочки туда
Непомерно круты.

Я воды не наберу,
Неподъёмна горка!
Плачет мальчик на ветру,
Как младенец, горько.

Плачет старец: Боже мой,
Век так быстро прожит!
Белый, алый, голубой
Льётся детства дождик.

* * *

Господи, верую, верую!
И, помолясь поутру,
В поле берёзоньку белую
В жемчуг и шёлк уберу.

Словно любимой, ладонями
Косы поглажу и грудь,
И, расцелованный зорями,
В вечный отправлюсь я путь.

Там, за туманами синими,
Что закрывают зарю,
В красно-серебряном инее
Я в одночасье сгорю.

Ринусь за белыми птицами
В небо, крылами звеня...
Люди с весёлыми лицами
Вспомнят за кружкой меня.

Господи, верую, верую...

Из детства

Из серебряной пряжи,
Из очёсов пурги
Стужа варежки вяжет,
Шьёт ветрам сапоги.
Дышит хрипло, неровно,
Будто сторож ларька.
И висит над перроном
Снеговая мука.
Кочегары «под мухой»,
Уголёк под мукой...
Проводница-разруха
Семафорит рукой.
Черепахою бабка —
Вдоль вагонов пешком...
Мальчик ёжится. Зябко.
Заметает снежком.
И стрелою — до дома;
Чайник — только с огня!..
Запишите в чалдоны
Белоруса — меня!

Надежда Кравченко

И возлюбите друг друга...

Повесть

ГЛАВА ПЕРВАЯ. СУЩЕЕ ОТ НАЧАЛА

В тот день, вторник, пятнадцатого июня 1874 года, у старообрядца-беспоповца, крестьянина села Субботинского Козьмы Берестова закончилось деревянное масло¹. И он решил сначала попроведать могилку новопреставленной супруги Федоры Ананьевны, а затем по дороге домой зайти прикупить полбутылки маслица у церковного старосты. Пока была жива Федора, она рачительно заботилась о домашнем хозяйстве, и масла этого было всегда в достатке у Козьмы Виссарионова. Голова на этот предмет у него не болела.

Занемогла его жена и вдруг слегла от какой-то бабьей хворобы. Зачахла за месяц, и прибрал её Господь. Теперь вот спохватился Козьма, что маслица-то в бутылке зелёного стекла нету. Ни тебе лампадку перед святой иконой возжечь, ни кашу разбавить. Петров пост не строгий, сухую пшённую кашу деревянным маслом разбавить не возбраняется, да и вечер в темноте коротать не хочется.

Маेतно вдовцу одному длинными летними вечерами. Истово молится Козьма за упокой души новопреставленной, перебирая заскорузлыми пальцами сплетённую из овечьей кожи вияльную лестовку². Стоит в переднем углу на коленях, упираясь ладонями в пёстрый лоскутный коврик, кладёт сто глубоких поклонов, касаясь лбом листвяжных половиц. Затем прибирается в избе, сметая мусор голиком³ за порог избы. Моет мочальной вехоткой деревянные чашки и расписные берёзовые ложки. Накрывает перекрёщёнными

-
1. Деревянное масло —оливковое масло вообще (потому как получается из плодов дерева). Но потом так стали называть именно масло низшего сорта, лампадное масло.
 2. Лестовка — распространённый в Древней Руси и сохранившийся в обиходе старообрядцев тип чётков. Представляет собой плетёную кожаную или из другого материала ленту, сшитую в виде петли. Знаменует одновременно и лествицу (лестницу) духовного восхождения от земли на небо, и замкнутый круг, образ вечной и непрестанной молитвы. Употребляется лестовка для облегчения подсчёта молитв и поклонов, позволяя сосредоточить внимание на молитвах. Вияльный — разукрашенный, красивый.
 3. Голик — веник.

лучинами глиняный, с распльвами бордово-синих красок, кувшин с отваром брусничника. Творит молитву, оберегающую питьё от блудного беса. Закрывает дверь избы на щеколду от мирских и идёт проведать Федорину могилку.

Раскольничья могилка находится в дальнем конце общего погоста, на взгорке, заросшем дудками пучек с ажурными белыми зонтиками соцветий, звёздочками чистотела, отцветшими одуванчиками да ветвистой пижмой. Отделено оно от мирского кладбища широкой бороздой. Светлые берёзы, обступив староверческую усыпальницу, опустили обвислые плети ветвей и грустят над свежей могилкой. Лишь лёгкий ветерок слегка шевелит резные пушистые листья тысячелистника, качает жёлтые корзинки цветов. Полуденное солнце печёт знойно. Маревое дрожит над высокой сочной травой. Светло, тихо, покойно, благолепно...

Козьма обмечает веточкой двускатную крышу голубца⁴, бережно обтирает тряпичей запылённую иконку Божьей Матери, двуперстно крестится, читает краткую поминальную молитву по усопшей жене. А как присядет на берёзовый чурбак, замолчит, так начнёт говорить душа. Бередят её, безутешную, горькие и сладкие воспоминания. Не дают покоя...

ГЛАВА ВТОРАЯ. ПЛОТЬ ЕДИНАЯ

Двадцать годков прошло, как сосватали ему из соседнего села Вятской губернии смешливую пухлощёкую кержачку Федору. Сначала, конечно, крёстные устроили будущей невесте основательные смотрины: нет ли изъяна тайного у девки? Заставили несколько раз пройтись по половицам: не хрома ли? Сыпанули ей под ноги иголки, чтоб все до единой собрала: хорошо ли зрит? Крёстная даже в баню девку сводила: ладна ли телом? Порешили, что девка и собою баска⁵, и работяща, пусть и хохотлива. Семейства доброго и веры правильной. В невесты молодцу Козьме гожа.

Зато сама невеста спустя год после свадьбы призналась Козьме: сватовству этому была вовсе не рада. Впервые увидела Козьму — обомлела, слёзы прыснули: о таком ли суженом мечтала душевными июньскими ночами, такого ли жениха выглядывала на петровских гуляниях в хороводе? Крупный, кряжистый, сутулый парнище, с лица совсем непригляден. С виду угрюм, нелюдим. И волосья-то пучками растут на исполосованной шрамами голове. Потупленные блёклые глаза изредка вскидывает на неё. Хотя смотрит стеснительно, по-доброму.

А сваты, пройдя в избу, не особо чинясь, уже садятся на лавку. Дядя жениха растопыривает ноги на полгорницы, чтоб невеста не

4. Голубец — крест с кровлеобразным покрытием; надгробие, напоминающее по форме дом.

5. Баска — красива.

ускользнула. Крёстная украдкой касается рукой печи, чтоб сватовство не сорвалось. И далее по обряду:

— У вас есть невеста, а у нас жених. Нельзя ли их свести вместе? Да нам не породниться ли?

Козьме же невеста сразу приглянулась: девка ладненькая, не толста и не худа, телом бела, как береста берёзова, грудей — полна пазуха.

Родители Федоры польщены: Берестовы зажиточны, часовенное согласие⁶ блюдут крепко. Батькин взор грозно сверкает в сторону потупившейся Федоры:

— Не перечь! Глава семейства, Савва Илларионович Берестов, сам есть благословенный отец. Уставщик! Честь-то какая! А што у жениха голова и лоб порепаные⁷ такие — не бядя! Зато нрава смиренного. Худого слова о нём ни от кого не слыхано. Так што, девонька, стерпится — слюбится!

Девка под гнётом отцовского взгляда трепещет и в знак согласия по обычаю покорно прислоняется к свежебелёной печи.

Утром после бани Козьма наряжается в свадебную атласную голубую рубаху. Накидывает куртку со стоячим воротом, с вышитыми шёлком лацканами, надевает синие самотканые штаны. На ноги натягивает батькины ичиги⁸, на голову — новый картуз. Нетерпеливо поглядывает в окно, ждёт подружек невесты — молчан⁹. Пока батька не шикает:

— Идут!

Торжественно ступают на порог избы две девки-молчаны. Поджаты их губы в ниточку, чтоб слова случайного не сронить. Строго глядят в женихову сторону, стелют к его ногам чистый белый плат. Одаривают молчальниц дружки жениховы и рублёвиками, и пряниками медовыми, и орехами, и конфетами, и лентами атласными, и бусиками разноцветными до тех пор, пока плат не наполнится до краёв. Тогда свёртывают молчаны белый плат и улыбаются из-под стёганных, вышитых разноцветным бисером кичек¹⁰. Наконец размыкают уста: — Дорогой женишок, пожалуй в дом невестушки!

6. Часовенное согласие — управляемые уставщиками старообрядцы, первоначально бывшие поповцами, но из-за гонений, особенно усилившихся при Николае I, оставшиеся на длительное время без священства. Так, вынужденно совершая основные требы и проводя богослужения без церковной иерархии, они сделались беспоповцами. Как и традиционные беспоповцы, они совершали службу в лишённых алтарей часовнях, что позже дало имя согласию.

7. Порепаный — испорченный, потрёпанный.

8. Ичиги — лёгкая обувь без каблуков на мягкой подошве.

9. Молчаны — подруги невесты, которые по обряду должны сохранять молчание до выкупа женихом будущей жены.

10. Кичка — праздничный головной убор замужней женщины.

А в доме невеста, как кукла, разряженная: в кокошнике с узорочьем, в рубашке кумачовой, что оттеняет бледные пухлые щёки. А на кумаче — бусы стеклянные, искристые. Из-под кокошника коса белобрысая, длинная, в руку толщиной. Сама вся зарёванная. В уголках глаз, как на молодых берёзовых листочках, блестят росинки-слезинки. Нижняя пунцовая губка чуть прикушена жемчужными зубками. И всё же дрожит, боязливо трясётся округлый, с нежной ямочкой, подбородок. Пальцы суетливо, слепо перебирают, теребят конец пшеничной косы. На жениха смотреть боится. Стыдно.

«Не бойсь, девонька, не обижу тебя, лапонька! Руки ни в жисть на тебя не подыму, худого слова не сроню и другим не дам», — мысленно не то себя уговаривает, не то суженую успокаивает Козьма, выжидая, когда осмелится невеста глаза оторвать от зашорканных до блеска половиц.

Меж тем родители, крестясь и творя молитву, берут икону, несут молодым:

— Благословение вам Господне и наше тож. Отныне, и присно, и во веки веков...

Прикладываются молодые поочерёдно целованием к святой иконе. Воют молодухи, расплетая толстенную косу невесты, сплетая её на две косы. Обмениваются жених с невестой кольцами, покрывают девичью красу шамшурой¹¹, а потом белым платочком повязывают, да ещё сверху широким платом накрывают.

Спрашивают жениха:

— Узнаёшь невесту свою али не узнаёшь?

— Узнаю.

И стали жить молодые, как дедами было велено: молодая жена тишком, опустив глаза, в мужнином доме ходит да на всякие дела у свёкра и свекрови разрешенья да благословения просит.

Только в первую ночь Федора позволила себе понасмешничать над новоиспечённым мужем. Проводя пальцем по шрамам на голове Козьмы, куражливо спросила:

— Эт за это, што ль, тебя «грызенной башкой» кличут? И кто это тебя так порепал?

— Медведи, — кротко, не осердясь, ответил тот.

— Да ты што! Сердешный, и как это тебя угораздило?

И не хотелось бы Козьме вспоминать, да уж шибко желалось душевного разговору возле мягкого бока жены. Потеплел взглядом и повёл рассказ:

— В прошлый год это было, в августе. Пошёл я в тайгу за ягодой да забрёл в подлесок, он малинистый был. Обираю я с малиннјаины ягоды в торбу, а тут, откуда ни возьмись, катятся ко мне два медвежонка, ну, примерно пятимесячных. Глянь, а недалеке их мамаша

11. Шамшура — головной убор замужней женщины, вид чепца.

малининой себе брюхо набивает. Жрёт, чавкает, едва не хрюкает. А я с подветренной стороны стою, она меня не чувствует. А эти два оглоода лезут на меня, как на дерево. Когтями одежду и кожу дерут, уши жуют, обсасывают, кровь слизывают.

— Страх-то какой, Господи! — ахнула и перекрестилась Федора. — А чо не убёг?

— Какое убёг? Я и шевельнуться-то боюсь, стою столбом, молитву про себя творю. Стряхнуть медвежат не могу. Знаю: пискнет хоть один из них, медведица услышит, учует, на ленточки порвёт. Но обошлось. Подрали меня медвежата, подрали, наигрались, надоело им. Слезли да к мамаше и свалили. А я чуть живой тишком-тишком в сторону да домой.

— Больно было? — пожалела и погладила Козьму тёплой ладошкой Федора.

— Ишо как! Но, слава Богу, сил хватило всё перетерпеть, потому и жив остался. Вот теперь таким красавцем и хожу. Думал, сроду не пойдёшь за меня. Ты не гляди, што я такой... страхолюдный. Может, пообвыкнешься со временем, а?

— Я тебя жалеть буду, — пообещала молодайка, легонько целуя грубые шрамы.

И стерпелось им, и слюбилось. Федора сдержала обещание: жалела и чтала мужа, как Богом было велено.

А год спустя и вовсе отделяются они от родителей и едут подводой из Вятской губернии да в глухую Сибирь. Слыхивали, крестьянину там вольная волюшка, земляца никем не меряна. Бери, хлебороб, её сколь душе угодно да робь в полную силушку. Вот оно, крестьянское счастье! Не один месяц катятся колёса их повозки мимо таёжных заимок да по едва заметным пыльным степным дорогам, пока не докатились до села Субботинского. Здесь и решают обосноваться. Приглядно им сельцо небольшое, всего-то семьдесят дворов. Укладисто ютится оно в укромной ложбинке меж холмов. Вокруг села светлый березнячок хороводится. А сразу за огородами шумит тайга-кормилица. Ягодой изобильна, грибами, лесным зверьём. То-то охотничьей душе раздолье! Так и оседают они в Субботино и живут с Федорой в новорубленной избе почитай годков девятнадцать тихо и благочестиво.

И вот теперь она померла, и остался Козьма один, потому что Бог им детей не дал: не углядели сваты её тайного изъяна, нерожалая девка оказалась. А всё ж никогда не было меж Козьмой и Федорой ни попрёков, ни ругани.

Козьма тоскливо вздохнул, пригорюнился. Не удержался от греха и пожаловался, укорил покойницу:

— Вот вишь, Федора, померла ты зачем-то, оставила меня в сиротстве. Как мне дальше-то? Тебе тут хорошо, а мне без тебя худо стало. Дома толком прибора нету. Корова твоя башкой крутит, не подступиться для дойки. Суседка Болдыниха и та отказываются доить: «И пошто

у вас, Козьма, коровы-то все какие-то дикошарые? То Бурёнка была бодливее чёрта, а теперя и её семя — Зорька. Давеча иду я мимо урёва¹², а эта подлюга рогатая выскочила из него, сбила меня с ног и давай по земле катать». Веришь, Федора, еле палкой отогнал зверюгу. А вот когда у неё вымя пораспёрло невмочь, так и подпустила меня к себе. Пришлось самому приноровляться доить. А мужщинское ли это дело? Хвостом-то, подлюга, так и лупит по ведру. Поверишь, одной рукой ведро держу, а другой за сиськи дёргаю. Да и палку-то на всякий случай рядом держу, того и гляди самого на рога подденет. Ой, чо и говорить-то... Одна поруха без тебя в хозяйстве! Рукав у рубахи порвал, а зашить некому. Прихватил как смог, на живульку, да и хожу так себе. А сегодня, вишь, хватился — и масло-то деревянное кончилось. Раньше ты всё заботилась, а ныне мне придётся идти на поклон к мирским, никонианам поганым, бритобородым. А куды деться? По суседям прошёл — нету. В лавке пусто. До морковкина заговенья будешь ждать, пока привезут, а у церковного старосты оно завсегда есть. А мне вить нож вострый просить у него. Уж больно он важный, ломливый, манерный, а я на поклоны, сама знаешь, малоохочий.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ВАЛТАСАРОВ ПИР

На обратном пути Козьма сворачивает на улицу к большому рубленому дому с четырёхскатной тесовой литвенничной крышей. Окна дома большие, в голубых резных наличниках. Ставни распахнуты настежь. Двор широкий, закрытый, с высокими глухими воротами и утеплёнными хозяйственными постройками.

Он стучится в косяк оббитой войлоком двери. Входит, двуперстно крестится на иконы божницы в красном углу, с достоинством здороваётся.

Церковный староста Никита Афанасьевич Карякин, дородный тридцатилетний мужик, от досады смущённо крикает, увидев у порога широкобородого, с лёгкой проседью, кряжистого раскольника: на дворе пост, а у него, церковного старосты, жирное застолье. Неурочно Козьма припёрся.

Насупившись, тяжело встаёт, пытаясь загородить спиной хмельную компанию: вдребезги пьяного шурина Ивана Григорьевича Бабкина и двух своих работников — Никона Радыгина и Ефимия Загребина. Шурин — гость приезжий, гость нечастый. Ну как тут отставного солдата Гумского егерского полка первачком не уважить? А тот, как нарочно, перед старовером куражится, громко бахвалится своими медалями. Заносчиво топорщится зелёными погонами с белым кантом и золотой пуговкой.

— Во! — хвастливо вертит он на лямбейной суконной походной рубахе наградную серебряную медаль на двойной Андреевско-Владимирской

12. Урёво — стадо.

ленте.— Глянь! Это за войну в Венгрии в тысяча восемьсот сорок восьмом году. Вздуги мы тамошних бунтовщиков. Ишь чо удумали! Австрийский королишка им не по ндраву! Дали мы им по рогам, тока шуба завернулась.

Никон Радыгин, угреватый молодчик, наглые глаза навылупку, почтительно косит осоловевшим взглядом в сторону отставного солдата. — А энта, — Иван Бабкин настырно суёт вторую медальку под дряблый нос старого Ефимия Загребина, — за втору войну в пятьдесят четвёртом году. Мы там за Гроб Господень стояли, за святые места воевали. Штоб проклятые турки не кобенились и не указывали русскому царю батюшке, кому и как надобно чинить купол Вифлеемского храма в Константинополе. Штоб знали малоумные басурмане, што русская православная церковь и вера — самые главные на всём белом свете. А значица, православному царю лучше знать, хде, и как, и каким манером надо крыть крыши и купола... хуть дранкой, хуть тёсом.

От услышанного Козьму скосоротило, но терпит, молчит.

«Сами как басурмане! — мыслит себе. — Сидят без чину, Божий дар — пищу — вилкой колют, да и пища-то без разбору, нечистая. Налим утопленников жрёт, а они — его. Хлеб крошат! Без почтения по столу — престолу Божию — кулаком стучат. Одно слово... щепотники».

Никон Радыгин, раскорячившись, сидит на табурете. Рыгает, смолит цыгарку, пуская дым в потолок. Щурит глаза на старовера.

— Что тебе? — мямлит церковный староста Козьме.

— Да я это... не продашь ли, Никита Афанасьич, мне деревянного маслица, хуть с полбутылочки?

— Ты проходи, Козьма Виссирионов, не толчись у порога, чайку с нами испей.

— Благодарствую, Никита Афанасьич, не пообидься, мы чай не потребляем, нельзя нам.

Козьма достаёт из кармана гаманок¹³ с медной мелочью.

— Ты лучше не манежь меня, продай маслица, да я с Богом уйду, мешать вам не буду.

— Как же, изопьёт с нами чаёк, грызенная башка! Не по чину ему с мирскими за одним столом сидеть, — глумливо ухмыляется Никон Радыгин. — Маслица тебе, длиннобородый? А от мирских-то не побрезгашь?

Он вытирает сальные пальцы о ситцевую заношенную рубаху и складывает их в дулю:

— А вот этого не хочешь?! Афанасьич, не давай! Хрен ему, а не маслица! Давеча я проходил мимо его двора да попросил водицы испить, так он опосля меня кружку аж в нужник кинул, как будто я кыра двуснастной¹⁴ или сифилитик заразный! Он брезгат нами, а ты ему маслица от святой православной церкви оторвёшь?

13. Гаманок — кошелёк.

14. Кыра двуснастной — гермафродит.

Он грязно матерится, а Никита Афанасьич исподлобья бычится на Козьму:

— И то верно, святую церковь не признаёшь, нехристь...

— Пошто обижаешь? Нехристом зовёшь? Погружённый я, — с досадой возражает Козьма.

— Эт как? Вас, как щенят, в проточну воду кидают — и уже хрещёные? — ржёт Радыгин.

«Ишь, мазурик какой!» — сердает про себя Козьма и сквозь зубы цедит:

— Почему только кидают?! Уставщик и крест на головке младенчика выстригат, и читат положенные молитвы. Всё как надобно...

— А правда, што вы, как турки какие, с бабами в блуде живёте? — встречает Ефимий Загребин, мотает в сторону старосты лысоватой башкой с редким венчиком седых волосёнок и угодливо хихикает. — И бабы ваши, как лярвы какие распоследние, под кустом просватаны, без попа повенчаны?

И тут встаёт перед мысленным взором Козьмы дорогая покойница Федора Ананьевна и укоризненно головой качает: «Заступись!»

Берестов багровеет:

— Я со своей бабой честно век прожил с Божьего соизволения и родительского благословения. И узы наши покрепше ваших церковных будут, без блуда, измен и разводов.

Никон Радыгин ещё боле распаляется:

— Што там венчание! У них, у поганцев-раскольников, вместо попов какие-то уставщики исповедуют. У нас бабу, когда у неё поганные дни, и близко к причастию не допускают, а у них уставщиками и бабы бывают. Во как! — и прицельно харкает под ноги Берестову.

— Да и святого таинства причастия нет у них никакого! — вопиёт и топает ногами церковный староста.

Козьма не выдерживает, вскипает в ярости:

— Не тебе, кобелина, судить нас и устав наш! Вон рожа-то от пьянства вся опухла, табачищем наскрозь провонял. Это зелие сатанинское, от срамных истечений пьяной блудницы, что на огороде с псами снюхалась. А ты эту погань в рот свой толкашь! Так разве у вас не табашники исповедают? Нет у нас причастия? Есть, но своё и самое правильное.

Козьма, на миг опомнившись, вертит в руках бутылку.

— А-а, подавись ты своим маслом! Тварь табашная... — и со всей силы жахает бутылкой об пол так, что осколки брызгают в разные стороны.

Хмельной гость падает с табурета, как при взрыве пушечного ядра, а староста и его работники просто столбенеют, выпучив глаза.

А Козьма в бешенстве хлопбьет дверь и твёрдым шагом двигает к себе домой.

Никон Радыгин, опомнившись, с размаху трескает кулаком о столешницу:

—И ты, Никита Афанасьич, стерпишь поносные слова о себе и святой церкви?

—Не, не-е-езя таку хулу клятому раскольнику спустить,— отмирает на полу служивый Иван Бабкин.

Он кряхтя встаёт, отряхивает себя, звенит попутно медальками, стучит себя кулаком в грудь и рвёт ворот. Только медные пуговицы сыплются врассыпную на крашеный пол.

—Мы за веру православную кровь свои проливали! — и заливается пьяной слезой.

—Я... я самому благочинному пожалуюсь,— посулился, заикаясь, вспотевший староста.

А угреватый молодчик, потирая пухлые ручонки, вкрадчиво предлагает:

—Плесли-ка, Никита Афанасьич, первачка. Покумекаем вместе, как бы такое удумать, чтобы Козьма да за такие слова не только слезой горячей умылся, кровавой юшкой сморкался, да штоб заживо в гроб залёг и радовался, што ишо лехко отделался.

И все разом согласно чокнулись стаканами.

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ. ВЛАСТЬ ПРЕДЕРЖАЩИЕ

Чинно ведёт вечерню протоиерей Георгий Бенедиктов. Колокольно гудит его низкий бас над склонённым в пояс народом:

—Безначальный и бесконечный Боже, творец и попечитель всего во Христе, сотворивший день для упокоения нашей немощи... Ты ныне, человеколюбивый и преблагий Владыко, милостиво прими на-аше-е-е вечернее бла-аго-одаре-е-ение-е-е... Поддай нам мирный вечер и безгрешную ночь и сподоби нас вечной жи-изни-и-и... Ами-и-инь...

С расписных церковных стен, из-под богатых окладов, милосердно смотрят на прихожан светлые лики святых. Колеблющиеся огоньки свечей тускло освещают ризу протоиерея с наперстным бронзовым крестом, торжественную бархатно-фиолетовую камилавку¹⁵. На правой стороне груди бликует красной эмалью с золотой вязью узоров орден Святой Анны первой степени. Только сегодня благочинный получил от Священного синода грамоту и благодарность «за обращение в православие девяти человек, совратившихся в секту жидовствующих».

Гордо и просветлённо глядит протоиерей на подошедшего к нему после службы церковного старосту Никиту Афанасьевича Карякина.

—Благочинный, дозволюсь перемолвиться с тобой?

—Кто таков?

—Староста храма иконы Божьей Матери «Казанская» села Субботина,— низко прогибается Никита Афанасьич.— Выслушай, отче, обиду мою на раскольника Козьму Виссарионова Берестова.

15. Камилавка — головной убор в виде расширяющегося кверху цилиндра.

Ябедничает староста убедительно, со слезой и дрожью в голосе. — Старообрядец Козьма Берестов говорил хулительные слова на таинство святого причастия. Ваши священники, грит, на причастии лжицей дерьмо своё подают...

— Что-о-о-о?! — ужасается протоиерей.

И вспоминает, как недавно он со священником Иоанном Серебрянниковым посещал с актом увещевания деревню Иудино. Там, несмотря на сделанное им самое тщательное вразумление, наставление в правилах истинной веры, продолжает махрово процветать секта скопцов¹⁶. Она давно укрепилась и уже взяла в свои руки все торговые операции с зерном по всей округе, а также ловко прибирает в семье осиротевших ребятишек и обращает их в свою веру.

— Сколь упорен сей человек в своём богохульстве? И есть ли словам тем хулительным свидетели? — хмурится служитель Бенедиктов.

— Есть, благочинный. Я и шурин Иван Бабкин да мои работники Никон Радыгин и Ефимий Загребин.

В этот же вечер благочинный протоиерей Георгий Бенедиктов утверждает в намерении оградить от подобной ереси свою паству и отправляет письмо преосвященному Енисейскому и Красноярскому епископу Никодиму. Архиерей гневается и направляет своё прошение о жесточайшем наказании раскольника к самому губернатору: «Благочинный протоиерей Георгий Бенедиктов от 2 ноября № 711 донёс, что крестьянин села Субботинского Козьма Берестов в споре с православными о верах высказал на таинство святого причастия такие слова: „Ваши священники лжицей вам кал свой подают“, — что слышали и письменно показали в присутствии шушенского старшины крестьяне села Субботина Никита Карякин, Ефимий Загребин, Никон Радыгин и отставной солдат рядовой Иван Григорьевич Бабкин. Прилагается при сём письменное удостоверение поименованных Вами лиц. Покорнейше прошу начальственного распоряжения о возбуждении формального следствия о богохульстве крестьянина Берестова».

От губернатора в Минусинское окружное управление незамедлительно следует приказ: «...сделать распоряжение о предоставлении письму данному формального следствия, которое по окончании и послать по принадлежности, а мне о времени окончания этого дела донести».

Так был дан официальный ход делу о богохульстве крестьянина Козьмы Берестова. И покатилося оно, как телега, под горушку...

16. Скопцы — одна из старых русских изуверских сект, выделившаяся из христововерия в 60–70 гг. XVIII в. и получившая первоначально распространение среди оброчных крестьян в ряде центральных губерний России. Основателем скопчества и его наибольшим авторитетом считается К. Селиванов. Аскетизм у скопцов принял крайнюю форму выражения и требовал от верующих «огненного крещения» — кастрации.

ГЛАВА ПЯТАЯ. СКРЕЖЕТ ЗУБОВНЫЙ

А Козьма ни сном ни духом не ведает, что пока он хлопочет по хозяйству, плетёт лукошки из тальника на продажу да дёргает за тугие сосцы коровёнку, его ссора с церковным старостой и нетрезвыми гостями постепенно приобретает оттенок уголовщины. Машина государственного аппарата, встав на защиту официальной церкви, набирает угрожающие обороты, обрастает актами, рапортами, распоряжениями от начальствующих лиц и прочими бумагами. И вскоре перед их суровыми очами уже предстаёт не мирный старовёр-лукошечник, а разбойник с кистнём и топором за поясом. Ни дать ни взять — лихой тать...

Вспоминая этот злополучный день, он досадует прежде всего на себя. Ядрён лапоть! И понёс же его нечистик к замирщённым¹⁷ за деревянным маслом, обошёлся бы и огарком свечи. Ничего путного от этих замирщённых и не жди! Грех рядом с ними ходит.

Козьма заглядывает в стайку и кидает под ноги корове лизунец¹⁸. Затем решает, что пришло время дать пойло из обраты и хлебных крошек летошней телушке Звездуньке. Та взбрыкивает, вертит хвостом, сопит, обсасывая опущенные в пойло пальцы руки. Другой рукой Козьма накрепко придерживает ведро, чтобы глупая телушка от жадности не опрокинула его на землю. От всей этой возни упревает мужик, присаживается отдохнуть на крыльцо. А тут к калитке подходит и сам сельский староста Харин Осип Петрович. Да не один, а с полицейскими. И, вроде как извиняясь и сожалея, вздыхает: — Сбитай, Козьма, манатки в дорогу, велено произвести у тебя обыск и препроводить в тюремный замок, в Минусинск.

Менжуется староста, а полицейские особо не церемонятся: заломили руки за спину — и в телегу. Только и успевает Козьма крикнуть в толпу:

— Балдыниха, пригляди за моей скотиной, Христа ради...

Староста Осип Петрович бежит вокруг телеги, суетится, увещевает: — Што так спешно мужика волокёте-то в Минусинск? Нельзя ли погодить? Хуть о добре своём Козьма позаботился бы.

Полицейский бурчит в ответ:

— Ни к чему оно ему тепереча...

Полдня трясутся полицейские с арестантом по ухабам и колдобинам убродной¹⁹ дороги. Умаялись, все кишки повытрясли. Наконец-то город.

Козьма ещё издали углядывает серебристые купола Спасского собора. Маленький городишко всегда казался ему просто большо-ой деревней! Разницы-то нет: в основном те же приземистые домишки,

17. Замирщённые — православные.

18. Лизунец — комок соли.

19. Убродина — труднопроходимая дорога.

на земле сенная труха и свежие навозные кучи. Рядом понурые лошадёнки сонно ждут, когда расторгнутся их хозяева, чтобы податься к привычному стойлу. Только народу в городе поболее, особо на ярмарках: гужуются, рядятся, бьют по рукам.

И сразу тепло вспоминается, как, будучи новожёном, впервые он привёз Федору сюда, на городской базар, чтобы выбрать и купить телушку на подаренные роднёй деньги: пора было молодым обзаводиться собственным хозяйством. Они бродили меж торговых рядов Гостиного двора. Федора цеплялась за рукав его рубахи, дивилась на белёные стены собора, озиралась на товары в богатых купеческих лавках. В одной из них она даже ойкнула, увидев развешенное на деревянных подпорках разноцветное изобилие бус. Смутилась, прикрыла рот тыльной стороной ладони. И тут же из-под пушистых ресниц метнула в сторону муженька лукавый взгляд: «Догадайся, матанечка²⁰, купи! Вон те коралловые бусики!»

Спрятав в бороду усмешку, Козьма выбрал самую длинную нить бусин и любовно обрядил шею и грудь жёнушки, тут же зардевшейся в цвет кораллам. И, довольные, они пошли приглядываться к телегам с крестьянской утварью, где обычно торговали разной животиной. Тут как раз и заприметила Федора бурую корову с уродливыми рогами. Один рог у неё загибался вверх, другой кривился в сторону. Корова сопела и норовила поддеть на него самого хозяина. Козьма хотел пройти мимо, но Федора прямо-таки вцепилась в него, как клещ: купи да купи!

Хозяин скотины честно предупредил: «Коровка шибко уросливая²¹. Пока энту заразу убобенишь²² подоиться — запаришься! Я уж хотел её на мясо пустить, да жаль: коровка хуть и молодая, да удоистая. Могёт, в добрых руках посмирнееет. А моя старуха с ней умудохалась,— и неожиданно предложил: — А вы рога ей спилите!»

Козьма постоял в сомнении и всё-таки запротивился: «А как ты с этой чертякой управляться-то думаешь?» Но Федора смело подошла к корове, ласково погладила по шее, зашептала нараспев в самое ухо: «Бурё-ё-ёнушка, да ты ж моя хоро-о-ошая. Родна-а-ая моя!»

Корова стояла смирно, моргала коричневыми ресницами, как будто соглашалась взять её в хозяйки. Мужик только руками развёл: «Батюшки святы! Признала! Ну и дела...»

«Что там корова,— усмехается Козьма, сидя между полицейскими и жуя соломинку,— коли я, бугаина, плечи в два аршина, сам, как молосный телок, всю жизнь лип к Федорину теплу?»

Тем временем повозка с арестантом въезжает в город. Стоит жаркий полдень. Солнце одинаково нещадно палит железные крыши

20. Матаня — возлюбленный(ая).

21. Уросливая — упрямая, норовистая.

22. Убобенить — уломать, уговорить.

солидных купеческих домов и тесовые кровли мещанских домишек, каменные здания богадельни, казначейства и твердыни законопорядка — городского суда. Немало перепадает и разномастным хибарам пимокатчиков, кожевников и прочих гончаров. Сушит огороды, вековые уличные тополя.

Козьме напекает голову так, что и рот пересох, будто раскалённым песком набит, и в глазах мутится-ярится... Воды хотя бы глоток!

Осип Харин протягивает ему фляжку, но Козьма упрямо мотает головой. Нельзя ему пить из одной посуды с мирскими. Сельский староста только досадует:

— Ох уж эти старoverы. Твердокаменные...

Уже на следующий день с утра везут арестанта Козьму Берестова из тюремного замка в суд. И он с волнением слышит, как дробно перестукиваются кузнечные молоты, перезваниваются колокола Спасского собора. Их перебивают скрип тележных колёс и быстрых пролёток, голоса прохожих, петушиного крика и собачьего лая. И ни сном ни духом не ведает Козьма, что час-другой — и единственный стук какого-то судейского молотка грянет, как гром, и решит его судьбу. К добру ли? К худу?

И вот оно. В просторном гулком зале Минусинского уездного суда сельский староста Осип Харин свидетельствует о том, что повальный обыск²³ среди крестьян Субботинского села показал: «Крестьянин Берестов поведения доброго, как человека, не замеченного ни в каких дурных поступках: или в пьянстве, или в воровстве, или в связи с подозрительными лицами. Правда, порицает церковные порядки из-за того, что он принадлежит к числу старообрядцев».

— Таким образом, — добавляет Осип, — опрошено было десять человек односельчан.

Вызывают Никона Радыгина. Тот хмур и трезв. Под суровым взглядом судьи сникает, робеет, но когда чует на себе буравящий взгляд церковного старосты, ещё больше хлюздит и вонько потеет под ситцем новой рубахи, подаренной накануне тем же церковным старостой. — Приведите свидетеля к присяге, — требует судья.

— Я, Никон Радыгин, обещаюсь и клянусь всемогущим Богом перед святым Его Евангелием и животворящим крестом, что по делу, к которому я ныне во свидетельство призван и испрашиван буду, имею показать самую сущую правду. Неправды же отнюдь, не для дружбы, вражды, родства, корысти ради сильных лиц, не показывать, в чём мне Господом Богом да поможет душевно, телесно, в том я как перед Богом и судом Его Страшным ответ дать должен. В заключение сей моей клятвы целую слова и крест Спасителя моего. Аминь.

Истово крестится, слюняво лобызает Евангелие и снова частит словами:

23. Повальный обыск — опрос жителей села.

—Подтверждаю, что слышал собственными ушами, как раскольник Козьма Берестов сказал, что «попы вас на обряде святого таинства лжицей дерьмом кормят».

Выпаливает, словно свой ушат дерьма опрокидывает, не побрезговав.

Козьма вскакивает в ужасе:

—Побойся Бога, клятвопреступник! Пошто поклёп на меня возводишь, чёрт угривый? Штоб халипа²⁴ тебя взяла! Да когда ж я такое говорил?

Судейский молоток призывает к порядку. Козьма взывает к справедливости:

—Господин судья, я только сказал: «Разви у вас не табашники исповедают?» И ушёл от греха подальше. А тех срамных слов сроду не сказывал. Истинный крест, правду говорю!

Церковный староста Карякин Никита Афанасьевич и отставной солдат Иван Бабкин под святой присягой, не воротя хари, подтверждают, иуды, показания поклёпщика Радыгина. А неумолимый стук судейского молотка и равнодушный голос служителя закона затверждают несправедливый приговор:

—Суд, рассмотрев показания сторон, следуя Указу его императорского величества, самодержца Всероссийского, вынес решение: кто в публичном месте, при собрании более или менее многолюдном, дерзнёт с умыслом порицать христианскую веру или православную церковь или ругаться над Священным Писанием, подвергается лишению всех прав состояния и ссылке на заводах на время от шести до восьми лет. Когда же преступление совершено не в публичном собрании, но, однако, при свидетелях и с намерением поколебать их веру или произвести соблазн, то виновный приговаривается к лишению всего состояния и в ссылку на поселение в отдалённые места Сибири.

Приговор обухом топора обрушивается на Козьму: сердце сразу обрывается, и белый свет меркнет в глазах. Он столбом стоит посреди зала, хотя полицейские уже давно подталкивают его в спину к выходу. А мимо со злорадной ухмылкой победно шествует Никита Афанасьевич Карякин. За его спиной угодливо шаркает подошвами старых чёботов и заискивает глазами Иван Загребин. Следом шеперится нараскоряку и во весь гнилозубый рот лыбится Никон Радыгин. А шуряк церковного старосты Иван Бабкин выпячивает петушину грудь, гордо звякает наградными медальками и грозитя мосластым кулаком в сторону Козьмы:

—Знай, морда кержацкая, против кого прёшь!

—Вот те раз! — поражается исходу дела Козьма. — Где правда-то Твоя, Господи? Почему Ты не упорчил²⁵ языки-то их поганые? Это ж надоть! Из чужовки²⁶ да на высылку упекачили, щепотники клятые...

24. Халипа — нечистая сила.

25. Упорчить — отсохнуть.

26. Чужовка — камера для содержания под стражей.

Ссутулившись, он бредёт из зала суда под конвоем полицейских к выходу, где у крыльца, залитого безмятежным солнцем, ожидала всё та же скрипучая телега, что повернула вдруг «оглобли» его судьбы самым несусветным образом.

На обратной дороге сельский староста Осип Харин укланял-таки полицейских:

— Пусть Козьма из дома свою посуду да лопоть²⁷ какую с собой прихватит. Што ж человека в таку страшенну дорогу голопупым волочь? Ни ложки, ни чеплажки при ём.

— И то верно, — соглашаются те. — Кержачё — они и есть кержачё. Уж така вера ихна. Такой народ упёртый — не дай Боже! Помню, было, как-то один из них так и примёр в чурьме с голодухи. Ни за што не хотел жрать из тюремной посуды. Наш-то тоже ишо куска во рту не держал. Окочурится в дороге, отвечай потом за него.

При виде родной избы Козьма чувствует, как горький ком подкатывает к горлу и душит его. Шарит глазами в толпе и цепляется взглядом в Балдыниху: как там коровка-то? Та повинно опускает голову:

— Не обессудь, Козьма, испужалась я твоей бодливой «рогатки».

И вот уже сидит он на лавке посреди свой избы и пустыми глазами смотрит в окно, как полицейские за гроши спускают горбом нажитое добро. Так им проще: всё тут распродать, а деньги — в казну государеву. Не гнать же скот в Минусинск! Вот и страдалицу Зорьку с нераздоленным выменем завтра пустят под нож. Нелюди!

Мычит корова, болит опухшее вымя, трубно ревёт, видя, как дитя её, телушку Звездуньку, сводит со двора к себе церковный староста Никита Карякин. От горя у Козьмы всё нутро почернело. А тут ещё слышит, как на пороге Иван Бабкин его добротную избу-пятистенок за полцены прибирает. Глянь, а в самой избе бесстыжий Никон Радыгин вовсю шарится в кованном железом сундуке, растрясает Федорины фартуки, юбки да сарафаны, приценивается к хозяйским порткам да ичигам. Срамота-то какая, Господи!

А когда узрел, как сгребают и скидывают с божнички на затоптанный пол древние образа, бронзовый, с синей глазурью, восьмиконечный крест, особо бережённый Федорой «Семидесятник», а кованые сапоги служивых топчут и мнут пожелтевшие страницы древней, с железными застёжками, рукописной книги, Берестов багровеет, взвивается с табурета. В ярости кидается подбирать «Семидесятник», но натывается на убойную зуботычину от полицейского и валится кулём в красный угол. Негодующе хрипит:

— За што?!

— Притухни, еретик. Не замай улики!

Бессильно стонет Козьма, скрипит зубами. И видится ему, как ещё болящая Федора протягивает книгу и просит: «Христом Богом молю,

27. Лопоть — одежда.

сохрани! Эта книга ещё моей матушке от её бабки досталась. Так из рода в род по бабьей линии и передаётся на великое бережение. И долго, гляди, без меня не холостякуй». Козьма было вскинулся возразить: «Что ты буровишь-то? Оздоровишься, поди-ка». Жена спокойно улыбается: «Погодь, не балабонь попусту. Не оздоравлиюсь уже! А без бабы в доме одичаешь! Вот женишься, так жонке и передашь. А там, глядишь, детки пойдут. Не совсем старой ишо... Пусть дальше по родове и хранят бабы. А сейчас прибери-ка список понадёжней. Вишь, кожа на створках почти совсем иструхла».

И плачет Козьма, вспоминая, как тем же вечером бережно перетянул деревянные створки домотканым тёмным полотном и вложил в бледные руки жены. Лицо Федоры озаряется неземной улыбкой.

И снова тянется его рука к заветной книге во исполнение последней воли усопшей. Однако полицейский упреждает его и со всей силы припечатывает кисть жёстким каблуком юфтевого²⁸ сапога....

К вечеру полицейские управляют со всем добром. Умудоживаются. Пусто стало — что в избе, что во дворе. Оставляют Козьме только торбозок в дорогу да лавку, чтобы ночь перебедовать. Приставляют к дверям молоденького часового и сматываются к церковному старосте обмывать магарычом его даровое приобретение. Когда ещё такое обломится?

Стоит сопливый охранник у порога, неумело держится за ружьишко и сам себя жалкует: «Ишь, хитрованы какие! Раз молодой, так, значит, крайний? Сами, небось, первачок хлебают да солёненькими груздочками хрумкают. А я — справляй службу! Чай, моё брюхо тоже к хребтине присохло! И подушку придавить не прочь. Вон арестант и тот уже давно дрыхнет без задних ног. Один, как пень, торчу. А вот хрен вам всем».

И служивый садится на корточки, прислоняется спиной к стене и, прижав ружьё к щеке, беспробудно дрыхнет.

А Козьма лежит на широкой лавке, притворно смежив веки, закинув руки за голову, и виноватит себя, что не выполнил наказ супружницы, не сберёг завещанную книгу. Горько на душе — нет мочи! Будто и её повытоптали грязные сапоги, отутюжили всласть пинками да кулаками! А с утрева и вовсе бросят в телегу, как мешок с дерьмом, поволокут неведомо куда, к чёрту на кулички.

Слыхивал он про те края: не взрывается плуг там мёрзлую почву, не осеменяет хлебобор её хлебным зерном. Не знает «тундряная» земля родовых мук урожая. Скудный мох, да тучи едкого гнуса, да твякающие песцы, да шаманисты, что мажут оленьей кровью костяные губы идолам да порют их драной кожей, коли глухи к мольбам их. Ужель там мыкаться?

Негромко всхрапывает и постанывает во сне молоденький солдатик. Лениво шуршит за окном холодный ночной дождь. Украдкой скребёт

28. Юфтевые сапоги — сапоги из юфти, мягкой дешёвой кожи.

корявыми сучьями о тёмное стекло расхристанный тополь. Беззвучно, крадучись, из-за чёрной тучи подглядывает в окно бледный осколок луны. Сторожко ловит Козьма каждый звук, особо прислушивается к храпу. Вот уже в полную силу храпит служивый. Пора! Арестант бесшумно встаёт, прихватывает с крюка свою расшитую шёлком свадебную куртку, суёт под мышку стоящие под лавкой ичиги, тенью на цыпочках крадёт к двери. Торбозок прихватить опасается: брякнет посудинкой, поднимет часового. Радует, что не скрипят предательски половицы, скидывается беззвучно крючок с двери. Родная изба помогает, хоть и сиротит её... И Козьма решительно ступает за порог, в слепой мрак ночной неизвестности.

ГЛАВА ШЕСТАЯ. В ДЕБРЯХ ТАЙГИ

Тихо шелестит волглая²⁹ листва. Пламенеет рясными ягодами и листьями рябина. Не ворохнутся под лёгким ветерком сизые от утреннего холодного тумана ветви кедрача. Юрко шныряет по ним запасливая пушистохвостая белка. Изредка замирает и смотрит вниз, в просвет ветвей, на небольшую прогалызину в лесу. Любопытствует...

Внизу, под елью, на крошечной чистинке³⁰, ерошит, распускает веером смоляно-чёрный хвост и запоздало токует краснобровый косач. Только напрасно он кружится и чиркает растопыренными крыльями по пожухлой траве. Не срок его любовной песне. Копалуха лишь невозмутимо клюёт хвойные кончики сосёнок. Бесшумно в траве крадёт к ним молодая рысь. На гольцах³¹ злобно рывкает, фыркает и тревожно свистит горный козёл. Что-то почуяли...

«Як-як-тррр-тррр-тррр!» — гневно оповещает таёжных жителей о появлении чужака сторожая кедровка.

Уже не первый день бредёт, шатаясь, по тайге человек в изодранной в лохмотья куртке и холщовых штанах. Вот он останавливается, наклоняется и нашаривает заскорузлыми пальцами край подошвы ичига, подмётка которого наполовину оторвалась и теперь подворачивается под стопой, мешая и без того не шибкому ходу. Беглец измождённо опускается в траву на пень, хмуро разглядывая подошву. Потом он скидывает с плеч хламидку с потёртыми лацканами и резко отрывает низ заношенной напроочь рубахи. Проверяет оторванный лоскут на прочность и привязывает им ошмётки подошвы к чёрной босой ступне. Приладил! И теперь заморённым взглядом шарит по земле в поисках хоть чего-нибудь съестного. В последний раз аж ещё на гольцах пожевал он немного заячьей капусты да нащипал

29. Волглая — насыщенная влагой, сырая.

30. Чистинка — небольшая полянка среди леса.

31. Гольцы — распространённое в Сибири название гор, поднимающихся выше верхней границы леса, для которых характерны голые вершины и каменистые россыпи.

пригоршню ягод с чахлого брусничника. Бродяга отдирает отставшую от трухлявого пня кору и жадно выковыривает мелкие личинки короеда. Под негнушимися пальцами они давятся в бледную слизь, но он смачно слизывает её с грязных ногтей, ничуть не испытывая никакой гадливости. Но сильнее, чем голод, его изнуряет жажда. И тут же, возле того же пня («Слава Те, Господи!») зрит перезревшие дудки, с треском ломает их, дерёт жёсткие стебли и с силой вытягивает скудный живительный сок.

«Совсем дело яман!³² — невесело думает нищеврод и тащится дальше, срывая на ходу кислую листовничную хвою. — Скоко дней, точно псина битая, харчуюсь? Уж и счёт потерял. Чевой-то посытней бы раздобыть, до речной водицы добраться. Иначе трындец тебе, страстотерпец. Окочуришься...»

Он обессиленно прислоняется к пушистой ёлке. Глянь, а совсем недалеко на светлой опушке русачишка притаился. Вжимается в землю в укромности стеблей тысячелистника, таращит выпуклые янтарные глаза по сторонам, трясутся на горбатой спинке чёрные кончики ушей. По-звериному загорается взгляд Козьмы. Да толку-то: зрит око, да зуб неймёт. Совсем мелкий ушканчик, а голой рукой не взять. Стриганёт — только его и видели! Вдруг из зарослей боярышника к зайчишке метнулась тень приземистого зверя с большой головой и мощными широкими лапами. Промахивается, однако! Русачок взвивается прыжком в воздух и порскает в сторону.

Беглец, не мешкая, бесшумно сползает вниз по стволу в траву. «Эвон-ка, росомаха! Значит, не я один скрадывал длинноухого. И, окромя меня, есть и ещё охочие до зайчатинки!»

Он слглатывает обильную слюну и замирает. А крупная тёмно-коричневая росомаха с золотистой полосой неряшливой шерсти, раздражённо рыкнув, гоняет и гоняет ушкана по поляне свойственным только ей стелющимся по траве махом. Но зайчонок, пружиня вверх, мечет свои мудрёные петли и лихо улепётывает с чистовины в кустарник.

«Всё, углызнул зайчишка! — сокрушается об упущенной еде Козьма — Ну, теперя спаси, Христос, и мя, грешного! Хотя пока ишо не учуяла. Така зверина злюща и меня цапануть может!»

Крестится и тут же немеет. Из кустарника вымётывается росомаха с обвисшей в челюстях тушкой и юркает в яму под кедровый выворотень. Бродник завистливо думает: «Обхитрила-таки косого, зверина. Скараулила, видать, когда несмышлёныш по своей петле назад ринулся». И человек понимает, что лучше бы и ему не рисковать да убраться от греха подале. Но теплится слабенькая надежда: вдруг прожорливая зверина оставит кусок про запас, зароет, а когда уйдёт, тут-то он и отведёт душу. Силой отнять добычу у такой свирепой твари даже и умысливать нечего.

32. Дело яман — дело плохо.

Росомаха меж тем сгрызает добычу: такая мелкая дичинка ей на один перекус. Облизываясь, бежит дале шерстить свои охотничьи уголья.

Расстроился Козьма. Но как только зверюга скрывается из виду, он, дрожа от того, что снова повезло и зверь его не учуял, а ещё боле — шатаясь от слабости, всё же упрямо тащится к росомашьей лёжке, судорожно обшаривает, карябает пальцами каждый бугорок. С отчаянием убеждается: пусто. Ни косточки, ни шерстинки. «Всё подчистую! Проглотина ненасытная! Шоб тебе подавиться, подлюка!»

С тяжёлым сердцем убежник волокётся по тайге дальше. Но вдруг словно спотыкается взглядом. На бугре, под густой ёлкой, светло-коричневыми пятнами — обильный птичий помёт. Понимает, что наткнулся на «купальницу»³³ рябчиков. Здесь их днёвка и ночёвка. «Ну, ядрён лапоть, вот теперь и разговлюсь!» Бросается вперёд и сноровисто роет на том месте яму-ловушку. Ловко прикрывает решёткой из тонких прутьев, надёжно присыпает сухими листьями, травой и песком. Неторопливо обтирает о бока замаранные пальцы и выдыхает сам себе:

— Ну, теперь притухни, волчара кержацкая! Не спугни удачу!

Мужик отползает подальше от «купальницы». Караулит-скрадывает добычу всю ночь. Вслушивается, вглядывается в темноту. Там, на бугре, не спят, хлопают крыльями, взлетая на хвойные ветви, рябчики. И только под утро слышит: хрустнули сухие прутки над ловушкой, загрохотало, пытаюсь выбраться, бьётся в яме птица. Бешеной зверюгой бросается он к ловушке, наспех сворачивает рябчику шею, сдирает перья вместе с пупырчатой кожей. Кровожадно рвёт зубами сырое белое мясо и, давясь, заглатывает с остатками пуха и обрывками кожи. «Харé! Набил требуху!»

Отвалился «трапезник». Теперь от солёного привкуса крови его подташнивает, а от сытости сильно клонит в сон. Чужак лениво обламывает несколько волглых еловых лап, ладит подстилку, сворачивается клубочком, нагребает на себя остатки лапника и проваливается в бредово-мутный сон. Всё же худо в куртяшке коротать промозглую ночь. И лапник не спасает. Прозяб до последней жилочки.

А утром душит сухой свистящий кашель. Ломит жаром виски. Чугунные ноги не слушаются, подкашиваются. Но он через силу встаёт и снова бредёт по глухой тайге — долго и мучительно, напролом, через и сквозь буреломы и болотные топи, пока не улавливает вдруг спасительное журчание воды по каменистому дну. Выхватив себя из таёжного плена, бродяга падает на мокрую гальку и жадно черпает, черпает бугристыми ладонями студёную воду. Пьёт и напиться не может.

33. «Купальница» — место, где рябчики купаются в пыли, чистят перья от насекомых.

— Всё... — хрипит блаженно воде. — Отсрочка от лютой смертушки.

Медленно встаёт во весь рост, расправляя сутулые, но когда-то могучие плечи. Подставляет свежему ветру измождённое лицо, блаженно ловит его ноздрями, ртом, всем истомившимся телом и закрывает глаза, что невольно застятся слезами радости. Прильнув заново к живой воде, плещет на себя пригоршню и усаживается на тёплый валун. Оглядывая окрестности, прикидывает: «Теперь, если вверх по течению, авось да встренутся местные охотники. Нехристи, конечно, но народец милостливый! Пропасть не дадут. Им без разницы, щепотью али двуперстием ты крест кладёшь... Ну, с Богом!»

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ

В верховьях гор на каменистых порогах гремит река Сочур и промывает себе путь через ледниковые морены. В сторону от неё ветвится речка Безымянка. От высокого курумника³⁴ под угор³⁵ несёт она неторопливые воды мимо бесконечных песчаных кос, длинных закоряженных плёсов и мелких перекатов. У полуострова Монашки Безымянка совсем тишает и безмолвно крадётся до кержацкого скита, что стоит на высоком берегу. Со стороны реки, за увалом, скит огорожен каменной стеной. От часовни к воде ведёт узкий проход, выложенный потемневшими ступенями из тёсаных лиственничных кремлин³⁶. Сразу за стеной начинаются обветшалые постройки с множеством внутренних переходов, тёмных боковушек, тесных чуланчиков с подклетьями и подпольями. Все эти постройки перекрыты одной сплошной крышей из берёзового корья. Благоговейное и одновременно безотрадное зрелище.

На левом берегу Безымянки в буреломе глухой тайги едва проглядывают из-под лишайников надгробные плиты старого кладбища. С появлением скита начали там хоронить староверов. Второе, новое кладбище расположено на правом берегу речки. Здесь пока сохранились кресты и ограды. Особо обихожена могила почитаемого среди староверов святого старца Зосимы, чудотворца и целителя. Недалеко от кладбища — выложенный камнем глубокий колодец со святой водой. Весь окрестный люд знал, что вода в нём имеет большую целебную силу, ибо годами в крытой посудине не портится.

Когда-то исстари тянулся народ в этот скит залечивать душевную и телесную хворь. А сейчас стоит он в запустении, потому что путь к нему заказан вывороченными комлями³⁷ сгнивших вековых кедров да густым, непроходимым валежником. И все тропки до единой позаросли колючим татарником да жгучей крапивой.

34. Курумник — насыпь камней.

35. Под угор — под горку.

36. Кремлина — твёрдая древесина.

37. Комель — нижний конец дерева.

И всё же здесь живут, по слухам, три старицы, что скрылись в глухомани от посторонних глаз. И строгий чин там держит матушка Секлетекея.

И вот неведомо откуда прибивается к скиту пришлый человек, кряжистый сутулый лохмач с исполосованной шрамами башкой. Одет худо, не по погоде, в руках — сучковатый бадок. Мужик двуперстно крестится, кланяется и в беспамятстве сваливается прямо у порога молельни. Стало быть, совсем залиховал. То ли добрый человек, то ли разбойник — кто его знает? Матушка Секлетекея, уповая на Божью волю, пристраивает его в окраинную избу, даёт «поганую», для мирских, посуду да приставляет сестру Феодосию для обихода за нищеводом. Третий день в горячке мечется пришлый мужик на широкой лавке, покрытой потёртой оленьей шкурой. Мотает лохматой башкой по расколотому полену, подложенному в изголовье вместо подушки. Надсадный кашель рвёт исхудавшую грудь. Изредка вскидывает воспалённые веки, и сквозь мутную пелену блазнятся³⁸ ему белёсые волосы и родные зелёные глаза.

— Федора-а-а... — шарит он руками по бревенчатой стене, но его пальцы нащупывают только лохмотья иссохшего мха между пазами тёмных брёвен.

— Феодосия я, а в миру — Фёкла, — мягонькие ручки старицы заботливо подносят к запёкшимся губам деревянный жбанчик. — Накось, глотни травяного взвару. Да испей, испей, не артачься.

Напоив, кутает его в козью доху. Вся сама такая мягкая, сдобная, улыбчивая, несмотря на прожитые почитай семь десятков горемышных лет.

Хлопнула входная дверь. Перешагнула порог долговязая, под потолок, сухопарая старуха с подпорченным оспинами лицом и чистыми, почти прозрачными глазами. На ней очень опрятный халадай из тёмного ситца, на голове небольшая чёрная шапочка, с виду как бы повязка. Старуха приставляет к порогу бадажок, ставит на скамью берестяной туюсок. Степенно поворачивается к святым иконам. Двуперстно крестится, низко кланяется Феодосии:

— Здорóвы бутте!

Та навстречу ей сияет улыбкой сморщенных губ, играет лучиками мелких морщинок, дряблыми ямочками на щеках и пухлом подбородке. Ярче голубеют её незабудковые глазки. Она смиренно складывает округлые ручки на животе, кланяется в ответ:

— Буть жива-здорова!

— Я вам снедь принесла. В трапезную не ходи, заразу-то не таскай.

Секлетекея испытующе вглядывается в лицо незнакомца. Вздыхает: — Господи, страхолюдный-то какой! Не очурался³⁹ ишо?

38. Блазниться — чудиться.

39. Очураться — опомниться.

— Да нет, матушка. Только што уторкался, а то кавкает⁴⁰ да кавкает без останову. Ажно в груди всё хрипит. То бунчит⁴¹ всякий вздор. Всё бабу какую-то поминат. То ли жонку, то ли сестру.

— Бабу?! Эт хорошо! Значит, не отбился ишо от семьи, не варнак какой лихой. Накось! — Секлетекея вытаскивает из туеска свёрнутую тряпицу и суёт Фёкле. — Я тебе трав лечебных захватила, сама взвар для болящего делать будешь.

Феодосия разворачивает тряпицу и в сомнении мнёт пахучие пучки трав:

— Христос с тобой! Обиходить хворого я ишо могу, а вот в травках разбору не ведаю, тумак тумак. Разви я знаю, какую из них и как следоват запаривать? А хде это наша лекарка-то Лукерья? Хитрулишна кака, опять от послушания отлыниват?

— Да эти травки я в Лукерьиной келье и взяла. Запаривай в чугушке всё подряд и пои недужного. Господь сам разберёт, каку из них на пользу употребить. А с Лукерьей беда опять вышла. Как увидела чужника, так враз и сомлела. Опять исполох⁴² на неё напал, опять худоумная издалася, — Секлетекея сокрушённо вздохнула.

Фёкла огорчённо развела руки и звонко шлёпнула ладошками по бокам:

— Вот напасть-то кака! Глаз да глаз за ней теперя надо. Того и гляди стриганёт в тайгу, опять искать священно Беловодье. Кабы укараулить её, дурничку-то нашу!

— Так я её в избе заперла, дверь закрыла снаружи и в накламку⁴³ шпепку воткнула да чуркой припёрла, пока она в разум снова не войдёт, — обнадёжила её старица. — Стеречь-то мне её недосуг, в огород надоть итти робить. Ох-ох-ох! Огород — вся наша надёжа нынче. Упустим время — с голодухи примрём. Ну дык я пойду. А ты мотри мне тут. Обихаживай справно.

— Благослови, матушка, на служение болящему!

— Благословляю!

ГЛАВА ВОСЬМАЯ. ПРИТЧА О СВЯЩЕННО БЕЛОВОДЬЕ

Всю ночь недужный тревожно мечется, но к утру жар начинает спадать. Наконец опаматовался. Он затравленно оглядывается: тусклый жировик на приоконье еле тлеет и едва освещает келейку из коричневых брёвен. Тусклая лампадка теплится у икон. На лавке напротив — улыбчивая старушонка в коричневом сарафане, поверх которого топорщится заношенный сатиновый фартук. Седенькие жидкие волосёнки выбиваются из-под чёрного в белую крапину

40. Кавкать — сильно кашлять.

41. Бунчать — болтать чепуху.

42. Исполох — испуг.

43. Наклямка — вид дверного запора.

платочка. Сидит бабулечка, поджав под лавкой толстые коротенькие ножки в тёплых чунях, носочек шерстяной вяжет. Увидев, что болящий приподнимается с одра, охает, всплёскивает руками и мягко толкает его назад на тёплую шкуру, приговаривая:

— Не шугайся⁴⁴, хворобушка, не вздумай даже шарабориться ишо. Шибко ты хлибый. Очурался наконец-то, а то всё бунчал да бунчал в жару.

— Хде я? — сипит бродяга.

— В скиту. Уже вовсе и не чаяла, што оклемаешься-то. Сам-то хто таков будешь? Не дай Боже, варнак или убивец какой. Испужалась было за душеньку твою грешную, што так, без покаяния, и преставится Богу.

— Беглый я, мать, — признаётся бродяга. — Только не убивец и не разбойник. За веру пострадал. От царских слуг убёг.

Фёкла недоверчиво таращится на него:

— А ты не брешешь? Наложил крест святой.

— Святой крест, истину говорю.

Приблуд двуперстно крестится трясущейся рукой и тут же роняет её на жаркую доху.

— Какого толка-то будешь? — обласкивает его лукавыми глазами Феодосия.

Бегут по лицу лучики-морщинки, играют-смеются дряблые ямочки. — Часовенного, мать, — осторожничают Козьма.

— Не пужайся, страдалец, — гладит спутанные лохмы мягкой ладошечкой-оладушкой, — у нас как у Христа за пазухой будешь. Скит наш давно уж запустелый. Така глухомань, што сам чёрт ногу сломит сюда добирацца. Повернись-ка на живот, я те спину-то барсучьим жиром натру, — и закатила глаза в потолок: — Господи, исцели немощи наша имене Твоего ради.

Она ласково втирает пахучую мазь в кожу, потом тычет в лицо пришлого деревянной ложкой, словоохотливо бормочет:

— Допрежь сглотни-ка жира вовнутрь да вдень голову в кабатуху⁴⁵, тебе как следоват пропаритца нада. Да сам, сам приподнимись, мне ведь с тобой не управитца одной. Вишь, какой ты могутный, ровно мой муженёк был.

Пришлый, с трудом приподнявшись, путается в рукавах толстой шерстяной рубахи. Старушка помогает ему вдеть голову в ворот. Снова плотно кутает его в доху.

— А хде твой мужик-то? Помер, што ли?

— Да давно уже. Почитай, годков этак двадцать. Мор скосил. Сначала мужика, а потом младенчика Ванюшку, челядинушку⁴⁶ мою. Одна я зачем-то уцелела.

44. Шугаться — пугаться.

45. Кабатуха — толстая шерстяная рубаха.

46. Челядинушка — ребёнок.

Феодосия жалобно всхлипывает, сморкается, снова присаживается на лавку.

Пришлый дивится: старушка вроде и дремлет уже, и глазоньки вон совсем прикрыла, а спицы в её пухлых пальцах мелькают быстро-быстро. А слова, как мелкий бисер из дырявого мешочка, так сами собой и сыплются:

— Так тошнѣхонько мне стало жить на белом свете, так пусто. Вот и подалась я в скит. Мне што, я хоть замужем побыла, потому она к тебе на обиход меня и приставила. Мне мужика телешом зрить не в новину, а матушка Секлетекея так девой и осталась.

Убежник смущенно кряхтит и поддёргивает вверх доху.

— Да ты не совестись, хворобушка, — успокаивает она сконфуженного Козьму. — Не сильно-то я тебя и разглядывала. Больно мне это нужно теперя. Не молоденька уже любопытничать-то. А шабалы-то⁴⁷ твои матушка Секлетекея велела пожечь. Куды ж деваться, коли вошь в их шипко развелась? Оздоровишься — нову лопоть тебе сыщем.

Феодосия зевает, перекрещивает рот и оживляется, обращаясь к Козьме:

— Да ты, чай, зрил её, матушку-то? Поди-ка, глазоньки слегка приоткрывал? Как жа, заходила тебя проведовать. Не упомнишь? Така жарова⁴⁸ оря-я-ячина! Дрынношшепина корявая, и всё тут!

Она качает седенькой головой, взглядывает на Козьму. Видит, слегка придремал, болезный, а поговорить душевно так хочется. С наставницей, поди, язык так не почешешь. Уж больно сурова. И Феодосия знай себе бормочет дале:

— Ишо челядѣнком Секлетекея переболела оспой. Так батюшка её, сам купец Сизинцев, и grit допрежней настоятельнице: «Не желаю, мол, женихов богатым приданым к дому приваживать, начѣтисто будет. Мне и других моих дщерей к месту прилаживать надоть. Те хоть рожей поприглядней, не в таку копейку обойдутся. А этой, зная, сам Господь повелел Христовой невестой оставаться. Нá тебе, матушка Тавифа, расти и учи разные там полезности писать, да по крюкам петь⁴⁹, да бисером вышивать. А за то на скит тыщцу жертвую!» Так и спровадил дитѣнка в скит, прости Господи! А теперя Секлетекея настоятельницей. Свеча наша негасимая! Уж така из неё матушка характерна получилась. А к сирым да убогим шибко милостлива. Вот и тебя велела вѣходить сердобольная наша.

Старица складывает морщинистые ручки на животе и, ещё раз глянув на Козьму, замечает:

47. Шабалы — старые вещи.

48. Жаровая — поджарая, сухощавая.

49. Пение по крюкам — знаменное пение, т. е. пение по особым знакам-крюкам. Крюки — знаки русского старинного безлинейного нотного письма.

— Да ты сомлел ужo. Ты дремли, дремли, а вот тебе ишо один сказ на утешенье души. В далёких странах, за озерами великими, за горами высокими, есть место священо, Беловодьем зовётся. Там благодать Божья и справедливость вечна. И в дивных тех обителях пребывают старцы. Страсть как лучезарные и прозорливые. Мудрецы великие. И живёт в них дух Божий, как в храме своём. Много людей отовсюду ищут путь-дороженьку в страну ту заповедную. Труден путь туда. Коли не заплутаешь в тайге, то придёшь к солёным озёрам. А от них путь только через непролазны топи болот. Самое гибельное то место и есть. А коли не утопнешь, то путь твой дале будет через часты горы с глыбокими пропастями. И за каждые сто лет проникают в святыне обители токмо семь позванных небом. Шесть из них возвращаются в мир и уносят с собою сокровенны знания. И только один остаётся. Но это редко случатся, потому как не все гожи познать мудрое сиянье высшей справедливости.

Певучий, журчащий, как ручеёк, говорок и тепло дохи клонят Козьму в глубокий сон. И уже снится ему, как бредёт он непролазными болотными топами, карабкается по скалам, взбирается к горам, окутанным облаками. Но слаб позванный, изнемог и слёзно просит Бога дать ему силы одолеть эти горы. И даёт Господь ему чудную силу Птицы. Странник воспаряет и переносится через острые пики гор в священную долину Беловодья. И выходят к нему навстречу шесть старцев в белоснежных одеяниях. Мудрые глаза сияют, как солнца. И глаголет мудрейший: «С чем пожаловал, добрый человек?» Падает страдалец перед ними на колени и молит о праведном суде над лжецами из села Субботина. Те согласно закивали: «Будет тебе по справедливости!» И вот уже святыне, опираясь на посохи, входят вместе с ним в село. Гневно призывают на суд праведный и церковного старосту Никиту Афанасьевича Корякина, и всех его приспешников — Ефимия Загребина, Никона Радыгина и отставного солдата Ивана Бабкина. Воют клятвопреступники, валяются в ногах у святых. Лобызают им руки, молят о прощении. Но неумолимы старцы. Властно изгоняют бесов из гнилых душ, гонят в пекло ада, дабы лживым языком своим лизали там раскалённые сковороды. Затем оборачиваются к Козьме: «Раз пострадал ты за истинную веру и не отступился от неё, то вот тебе награда: возвращайся с нами в священное Беловодье. Будешь седьмым избранным. Но сначала пройди ещё одно послушание в глухом скиту, коему спасением своим обязан».

Проснулся Козьма, и стало ему благостно от того, что привиделось. И жить захотелось, и служить дале вере своей, дабы постичь высшую истину как благо.

Однажды утром Феодосия приносит Козьме серые льняные низники⁵⁰, косоворотку и поясok-«телешок».

50. Низники — лёгкие широкие льняные штаны.

—Примерь, голубь. Сама Секлетекея сшила для тебя. Вот заутреню отслужит, самое время к ней на поклон да на исповедь иттить. Айда со мной, дорогу-то укажу.

Она ведёт его к молельне — старой покосившейся избе, стоящей наособицу от других келий и хозяйственных построек. Козьма, нагнув голову, входит в просторную горницу, освещённую несколькими сальными свечами. Секлетекея, стоя на коленях, уткнув корявое лицо в руки, а руки — в вышитые подручники⁵¹, усердно молится около древних икон. Слабый огонёк колеблется на боковой стене, где укором несправедливой жизни висит икона с картиной Страшного суда. И померещилось ему, что в кипящем котле корчатся чёрные души его обидчиков. Он быстро крестится и шёпотом творит молитву, пока Феодосия не подталкивает в спину навстречу Секлетекее, стоящей в молитве перед иконой Спаса Вседержителя. А сама спешно удаляется из избы.

Настоятельница, перебирая узлы лестовки, принимает поклон прихожанина:

—Ты, Козьма, не серчай за задержку. Образ сей особый, чудодейственный. Святые старцы сказывали, что никогда не даётся он в руки поганных никониан, сколь ни пытались снять её с этого места. Каменеет прямо в срубе избы. И топором не вырубается, и огонь её не жжёт. Вот особо и чту её.

—Прими исповедь, матушка,— застенчиво спрашивает Козьма,— облегчи душу, наставь на путь истинный.

После исповеди низко кланяется старице:

—Дозволь, матушка, остаться в скиту.

—Что ж, человек ты, видно, глубокой веры, но в сам скит пока не пущу,— она покачала головой.— Прими допрежь послушание, стань трудником, а там позрим, што делать дале с тобой. Но место для жия я тебе определю. Ступай за мной,— смиловилась Секлетекея.

И ведёт его старица по чёрным ступеням узкого прохода из скита за каменные стены, к поросшему диким смородишником холму, до самой реки Безымянки. Не сразу углядеть постороннему взгляду врытую в склон холма, сложенную из необработанного камня, заброшенную крохотную келью. Матушка с усилием толкает осаженную в землю щелеватую дверцу на ременных петлях и, пригнувшись, осторожно ступает вовнутрь. Козьма тоже нагибается и заглядывает в полутьму келейки. Видит в стене только небольшую нишу для икон, крохотную печурку да сложенный из камней одр, покрытый грубой шкурой. Пахнет затхлой сыростью и плесенью.

—Келейка самово праведника Зосимы,— поведала старица.

—Это ево тополёвый крест на могилке у холма?

51. Подручники — коврики, на которые кладут ладони во время коленопреклонённой молитвы.

—Ево...

Обметает травным веником нишу и ставит икону русских святых заступников. Крестится, благословляет место на житьё. Серые глаза её слегка увлажняются.

—Выйдем на свет Божий, поведаю тебе, каким необыкновенным человеком был святой чудотворец.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. ЖИТИЕ СЯТОГО ЗОСИМЫ

—Бают, был он когда-то писарем волостным. Дал Господь дар Зосиме — писать чётко, свободно и красиво. И любовь к чтению святоотеческих книг в него вложил. Но вот беда: телом был худ, маломочен⁵² и хром к тому же. А ещё с годами стал писарь так худо зрить, што перестал различать буквы печатные и писанные. Со службы Зосиму прогнали, и впал он в нищету, христарадничал, бродил от деревни к деревне. Беднота отдавала ему последнее, а богатеи жмотничали, да ещё и галились⁵³. Вот и пришлось ему взять посох да пуститься в путь до дальнего села, где «важничал» старшиной его молочный брат. Слышал писарь, что живёт братец справно, жирует даже. Вот и надеется, что молочный брат поможет ему горе перебедовать, к делу какому-никакому в земской избе на прокорм пристроит.

Еле доплёлся Зосима до земской избы. А брательник стоит на крыльце чучкодровом⁵⁴, пялится чванливо на лохматьё⁵⁵, притворствует, не признаёт Зосиму. Не с руки ему, старшине, да с нищетой вожжаться! Много чести! И через губу роняет своё слово, как собаке швыряет чёрствый кус в дорожную пыль:

—Много вас тут, лямочников, побирушничает. Чикилай себе с миром дале, бродяжник. А то шумну куды надоть, заарестуют за нищесбродство.

Горько стало убогому. Ну да делать нечего! Смиренно ползёт он прочь из села и слёзы точит.

—Сколько, Господи, мне ишо маяться на белом свете? Мало того, што я слепотьё, так ишо и кулявый⁵⁶, еле хожу! — и уже за околицей падает ниц и молит: — Господи, дай мне исцеление телесное либо прибири к себе наовсе!

Нет ответа. Тогда примечает Зосима глухой овражек, в изнеможении валится под кусток, складывает руки на груди и ждёт смертушку свою. Пока ждал избавления от мук, сморился и заснул. И тут является ему во сне светолепный муж в сияющем облачении. В левой руке держит святое Евангелие, а десницею указывает на важный документ.

52. Маломочный — слабый.

53. Галиться — издеваться.

54. Чучкодров — бесчувственный человек.

55. Лохматьё — беднота.

56. Кулявый — хромой.

А документ тот — государственные «Привилегии». В старозаветные времена подписал их главнейший из венценосцев — сам Иосиф Второй⁵⁷. Этот добрый император всем староверам даровал полную свободу исповедовать свою веру и разрешил безбоязненно отправлять необходимые таинства. И глаголет тогда сей муж Зосиме: «Зри на мя и виждь яко же аз есмь!»⁵⁸ И велит сделать список с этого документа и хранить его как зеницу ока. После этого святитель преображается, словно светлосиянный ангел, возносится с Зосимой под небеси и указывает писарю то место на земле, где тот найдёт своё исцеление.

Понимает Зосима, что зрил во сне Николая Чудотворца. И происходит невероятное: силы возвращаются, дух укрепляется. Встаёт убогий и идёт, просветлённый, с великим желанием исцелиться, в глухую тайгу, в то место, что указал Чудотворец.

Наконец, обессиленный, падает на колени у холма, поросшего крапивой, и начинает копать землю руками, и ликует, и благодарит Бога, когда вдруг бьёт вода живительной студёной струёй. Допрежь оmyвает Зосима очи и чувствует: прозревает. Спасибо, Господи! И решает тогда писарь, што останется отшельником у целебного источника. И даёт обет вырыть колодец. Да не просто так. А укрепить каменным плитняком на веки вечные, чтоб исцелял сырых и убогих животворной водой долго, во веки веков. И идёт отшельник рыть рядом с целебным источником ещё и пещерку для жилья. Из камней складывает келью. Думает: «Теперь не придётся печалиться о пропитании. Ибо сказано: „Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить“».

И Господь действительно не оставляет Зосиму в своей милости и посылает на каждый день скромну пищу. Потому как главный зарок, данный Николе Чудотворцу, выполняет: пишет своими чёткими буквицами берестяну книгу, тот самый список с «Привилегий» из вещего сна. Чернила праведник изготавливает из ягод бузины и крушины. Берестяные листы скрепляет кожаным шнурком. И баско изукрашивает страницы пурпурными заглавными буквицами. И хранит потом рукотворную книгу весь свой век как зеницу ока. Идёт молва о чудотворце по окрестным деревням. Тянутся к нему люди за духовным советом и исцелением от болезней. А вскоре рядом с кельей начинают селиться другие инокы. Вот так и образовался наш скит.

Старица благоговейно крестится в сторону могилы праведника и повествует дале:

57. Иосиф Второй — император Священной Римской империи. В 1781 году издал знаменитый Указ от 13 октября о веротерпимости. С 1782 года отступление от господствующей веры перестало считаться уголовным преступлением.

58. «Смотри на меня и видь — это я!»

—Тихо и благочестиво прожил свой век Зосима и с чистой душою преставляется Богу, а тело его остаётся нетленным по сей день. А по ночам на его могилке Господь являет две негасимые свечи, што указуют во тьме путь к скиту тем страдальцам, што жаждут исцеления телесного и духовного.

Секлетекея указывает на сырое место у заваленного колодца:
—Глянь, то в Федулово разорение нечестивцы угробили. Возродить бы. Да окунуть в святую воду старицу Лукерью — враз бы бесноватость-то как рукой сняло.

—Што тако за Федулово разорение? — любопытствует Козьма.

—Эт я тебе другой раз скажу. Делов ишо невпроворот. Пока отдыхай, а завтра я тебе послушание назначу. Ну, оставайся с Богом! А как в било⁵⁹ загремим, так приходи в трапезную повечерять. Только к крайней избе во дворе не подходи. Не дай Бог, на глаза старице Лукерье попадѣшься — бяды не миновать. Тока-тока в разум входить стала.

Старица встаёт и кланяется чудотворной иконе святых заступников.

Вдруг кто-то зашебуршился в кустах смородишника. Видят, а это, пыхтя, отдуваясь, ломая сучья, сквозь кустарник прорывается взопревшая грузная Феодосия. Ещё издали она всплѣскивает пухлыми ручонками, голосит:

—Бяда, матушка-а! Лукерья-то сбѣ-ѣгла-а... Пока я в трапезной-то колготилась, кашу варила, она в дверь-то торкалась-торкалась и наклепку вышибла-а-а, сиганула через ворота — и айда в тайгу!

—А ты што не задержала бесноватую? — попрекает её Секлетекея.

Феодосия жалобно всхлипывает:

—Да рази я за ней, быструхой-то, угоню-юся? У ей ажно пятки за-сверкали. А я вить совсем обезно-ожила-а-а. По тайге я не ходок, в трёх соснах заблукую-ю-ю...

Мрачнеет матушка:

—Хде её теперя сыщешь? У ей, малоумной, семь дорог. Поди угадай, по какой она теперя блукает! Сгинет, бедная, либо зверь задерёт! Сколь нас, старушья-то, осталось? Ране мужики скитские её из тайги отловют и домой оттартают⁶⁰. А теперя я и ума не приложу, што делать-то!

Козьма встаёт и кланяется старицам:

—Дозволь, матушка, послужить... Как-никак я мужик таёжный, по следкам вашу Лукерью, поди-тко, сыщу.

Секлетекея с сомнением зрит на него:

—Маломочный ты ишо, а она ведь добром назад не идёт. Прийдётся на себе волокчи. Ране было: она знай себе вижжит, ногами упираться.

59. Било — огромная железная труба, по которой, раскачиваясь, бьёт столь же большой камень, издавая глухой, но сильный звук. Призывом била сопровождают все соборные действия.

60. Оттартать — оттащить.

А иноки тащут и молятся, помочи себе просят. Так ухряпаются, так изопреют, пока до скита оттартают. Справишься ли ишо один-то?

— С Божьей помощью, матушка!

— Поспешай, сынок, поспешай!

В скиту Феодосия сует мужику за пазуху изрядный ломоть чёрного хлеба и шепчет:

— На-ка, в дороге пожуйкаешь маненько, — крестит ему спину: — Храни тебя Господь!

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. БЛУДНЯ ВАВИЛОНСКАЯ

Размашисто шагает по тайге Козьма. Цепким взглядом примечает: вот мох примят и взрыт носком обуви. Вон сыроежка сломлена и брошена. Червива. Вон бабья баретка⁶¹ оследилась на мокрой земле. Вёрст пять так уже отмахивает мужик. Хмарно небо. Сеет, сеет мелкий колючий бус сквозь волглый сосновый лапник. Радует послушник, что хоть и спешно собирался, а успел накинуть шабур⁶². А то б давно иззяб. Вон как отсырели ичиги в мокрой траве. Дивится Козьма: уже смеркается, а «ветхую» старушку ещё так и не нагнал. Прыткая какая-то бабулька попалась. Наконец поднимается на увал, заросший седым кедрачом с серыми лохмотьями лишайника на чёрных оголённых ветвях. Спускается по пологому склону курумника и выходит на полянку. А там на пенёчке щупленькая старушонка сидит и сыроежку в сморщенный рот крошит. Как зыркнула в его сторону чёрными бусинами глаз! Как завизжала! Как ящеркой юркнула в малоросник! Забилась под густо-зелёную ёлочку в сырой траве, притихла. Через раз дышит. Сидит Козьма на пожухлой траве у ельничка и размышляет: «Силком Лукерью из ельника тащить? Ишо больше старушечка испугается. Враз сердце от страху лопнет!»

Сидит, не шелохнётся. Терпит, выжидает неизвестно чего. Нашпиривает в кармане шабура ломоть чёрного хлеба. Кумекает: «Хлётко же я за Лукерьей гнался, ажно перекусить забыл. Пожевать с устатку не помешает. Скоко ишо тут годить придётся? Да и старушечка, поди, тоже проморилась? Попробую-ка прикормить её, токо б юзжать⁶³ не взялась с перепугу. А-а! Испыток — не убыток!»

Смачно жуёт Козьма и искоса поглядывает в сторону малоросника. Тихо там. Затаилась Лукерья. Отломил маленький кусочек и положил угощение на пенёк. Подождал. Высунулась коричневая лапка из густой травы. Цап-царап хлебушек с пенёка — и снова всё затихло в ельничке. Усмехается мужик: «Голод-то не тётка, сильнее страха».

61. Баретки — закрытые туфли на шнурках или пуговицах; полуботинки.

62. Шабур — род верхней одежды из особой ткани, где использовались и шерстяные, и полотняные нити. Надевали её в дождь.

63. Юзжать — визжать.

Скукожилась в траве Лукерья, сосёт-мюслил мякиш беззубыми дёснами. Кажется ей, что высокая трава надёжно укрывает её от глаз страхолюдного мужика со шрамами по всей башке. И блазнится ей, что это его шершавая ладонь зажимала ей когда-то рот. Это он со звериным оскалом смрадно вонял в лицо самогонищем. Это он шипел: «Ты ишо подрыгайси мне. Ножонками-то не сучи-и»,— и кулачищем — хрясть! Хрясть! До черноты в глазах. До беспамятства.

Украдкой выглядывает Лукерья из-под лапника: нету-ка, вроде не тот вовсе. У этого взгляд из-под лохмов иной. Нету от него никакого вреда старице.

Выхватывает старушка очередной кусочек хлеба, жулькает его, вспоминает, как слубилась в девках с Харитоном и как порушилась их любовь.

Тогда весь рудник гудел, разговоры разговаривал, сплетни на заборы вешал. Сначала радости золотые горы намывали. Красавец писанный был парень! Золоты кудри кольцо в кольцо, глаза-васильки, ласкова улыбка. И она ему под стать — басненька! Очи — ночь чёрна, смоляна коса до пояса. Как пройдут вместе по улицам — народ любитесь: какá славна пара подобралась! Гордится Харитон своей невестой, пылинки с неё сдувает:

— Сахарёнка ты моя единственная!

Да только тучка чёрная, не чая, зацепилась за чистое золото да омрачила первое сияние счастья.

Вдруг стала тянуть Лукерья со свадьбой. Боится. И как встренет в селе приказчикова сынка — обидчика, так сердце в пятки и ухаёт. Пьяным перешёл ей дорогу в укромном месте и насильничал, порушил девство. А ещё и стращает:

— Вздумаешь пожалиться жениху, сочиню таку побаску про тебя — век не обелишься!

А повиниться Харитоше о сотворённом над нею грехе надобно. Нельзя, чтоб их семейную жизнь подпортили враки и попрёки. Улучила момент, когда одни гуляли за околицей, призналась, что нечистой идёт за него. Тот сначала ушам своим не поверил, а потом ощерился:

— А эт мы щас проверим! — и грубо завалил Лукерью на землю.

А потом встал злее чёрта и зубами заскрежетал:

— И впрямь порчена! А я гулял с тобой по-чесному. Берёг. Хотел, штоб всё как у людей было: свадебка да брачна ночь. Эх ты, шмарёха голопузая, едино што у тебя и было-то — девья честь, и ту не уберегла!

В ногах ползала у жениха Лукерья, молила покрыть венцом её позор от людских пересудов. Но тот брезгливо оттолкнул наречённую от себя, как паршивую собачонку:

— А на кой ляд ты теперя мне нужна-то, лярва гуляща? Я, поди-ка, себе теперя богатую да непорчену девку сыщу.

Харкнул ей в лицо и осрамил уже сам бывшую невесту на весь рудник.

И текут у Лукерьи невольные слёзы, хотя прошло с того дня почитай полвека. А для неё как вчера всё было! И кукожится в сырой одежонке старица, и трясётся, как осиновый лист на ветру. Слава Богу, дождь на убыль сошёл. Зябко в плохонькой шальке. А тут ещё этот страхолюдный мужичище её улещает:

— Пойдём, баушка, домой. Там старица Феодосия чваню⁶⁴ для нас сварганила.

Старица колеблется: кашки-то хочется, живот от голода урчит. А выйти жутко. Мышонком пищит из-под пушистых ветвей низкорослого ельничка:

— А ты не ссильничаешь мя?

Ухмыляется страхолюдный детина:

— Бог с тобой, старушечка! И не умысливал такого сроду.

— Осени чело! — недоверчиво требует Лукерья.

Крест незнакомец кладёт правильный, старообрядческий. Но сильна в ней опаска. Мнится, это змей лукавый её обольщает, выманивает, чтоб накинуться и терзать тело белое. Кукиш показывает старица терпеливо сидящему у пенька мужику и клубочком сворачивается в своём убежище. Под шалёнкой угревается и чутко вздрёмывает. А мужик меж тем сам тоже готовится к ночёвке, разжигает на поляне костёр.

Лукерье же снится, что Харитоша идёт ей навстречу по руднику с богатой жёнушкой и глумливо пальцем тычет: «У-у, чухонка⁶⁵ подзаборная!» А Лукерья грозит ему: «Ужо! Вот дойду я до заветного Беловодья, так призовут ты старцы к ответу. Спокаешься ишо, што зря виноватил и порочил свою сахарёнку!»

К утру распогодилось, и заря заиграла рубиновыми искорками на мокрой листве, россыпью заискрилась в сосновых хвоинках и засеребрила паутину мизгири⁶⁶, раскинулась в проясневшей голубизне семицветной Божьей дугой. Золотой короной жарких лучей воссияло светило над кудлатой с проседью головой чужака. Глянула на него Лукерья и обомлела: сидит перед нею лучезарный старец. Сам до неё снизошёл. Нет более нужды Лукерье добираться до Беловодья. Доверчиво выползает она из малоросника к старцу. Припадает к его святым коленям, слезами обливается и горько-горько жалуется: — Заря люди обижали. Ни в чём ни перед людьми, ни перед Харито-о-ошей не виновата-а-ая!

Жалеючи, гладит мудрец отческой дланью по жиденьким волосам. Поднимает с колен:

64. Чваня — овсяная каша на воде.

65. Чухонка — женщина лёгкого поведения.

66. Мизгирь — паук.

—Пойдём-ка, болезная, домой, в скит.
—Совсем я околела, ноженьки гудут, не ходют,— скулит старушка.
—А ты с пенёчка-то взберись мне на кукорочки, я тебя и сволоку.
Взопрел Козьма, пока ташил на горбу старушонку. Она вроде и невеличка, а с каждой верстою всё тяжелее. И солнце в зените не по-осеннему жарит макушку. И пот со лба солонит и щиплет глаза. Не раз останавливается он в пути. Ссаживает Лукерью на траву. Та ищет что-то, щиплет какие-то целебные травы в передничек, воркует себе под нос. Вроде недалеко уже. С надеждой смотрит он на старицу: может, своими ногами дойдёт до скита? Но та уже привычно вскарабкивается ему на горб, нетерпеливо ёрзает. Кашки ей очень хочется!
—Ты, старушечка, не шибко понужай меня коленочками-то. Ты ж не фунт, поди-ка, вешишь. Чи жало ведь мне. Да и не мерин я — скоком до скита бежать,— мягко ворчит Козьма.

Но вот наконец-то и завиднелись каменные скитские стены.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. ПОСЛУШАНИЕ

На следующее утро из своей кельи, услышав глухое бряканье скитской трубы, Козьма идёт в молельную — на службу отправления полунощницы⁶⁷. Секлетекея встречает его скупой улыбкой. Феодосия навстречу сияет незабудковыми глазами. Из-за их спин исподлобья зыркает чёрными бусинами Лукерья. После общей молитвы Секлетекея приказывает: —Я с Лукерьей — картошку копать, а ты, Феодосия, келарьскую обиходь да снедь изготвь. Да в обед в било побрякаешь, шток Козьма услышал. А тебе, Козьма, дрова к зиме готовить. У нас ведь поленницы-то кончаются, дров, почитай, на одно истеплье и осталось. Топор и пилу в сарайке у моей кельи возьмёшь.

Козьма, согласно уставу обители, смиренно просит настоятельницу: —Благослови, матушка, потрудиться.

Секлетекея по нраву такая услужливая почтительность в голосе, она размашисто крестит мужика:

—Аминь. Бог благословит.

И все идут работать по установленному порядку. Козьма уходит от скитских стен недалеко, почти сразу за воротами — глухие дебри. В тайге выбирает для рубки сухостой, а потом пилит изъеденные древесным червём стволы на чурки и в крошнях⁶⁸ на горбу таскает их в скит. Во время работы он помнит, что должен неизменно пребывать

67. Полунощница — одна из служб суточного богослужения. Совершается в полночь. В состав утреннего богослужения входят полунощница, утренняя и 1-й час.

68. Крошни — приспособление для переноса грузов, лома. Представляют собой две дуги, соединённые под прямым углом; одна из дуг обтягивается берестой и плотно кладётся к спине, на вторую дугу кладётся груз. На крошнях возможно унести до 50 килограммов.

в молитве. Время от времени отдувается, оттирает рукавом едучий пот, опускается на чурку, крестится на восток и бурчит:

— Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного.

Истомлённое тело радо кратковременной передышке. К обеду совсем убухался. А ему ещё рубить да рубить, таскать не перетаскать. Поэтому колку чурок решает оставить на предзимье. Глухому бряканью трубы радуется: вчера поужинать не довелось, а на завтрак Феодосия дала только ломоть хлеба с взваром из чаги и смородишника. Впрочем, как и всем. А мужицкое тело и тяжкий труд требуют сытной пищи. В скит возвращается голодный, усталый. Но не сразу они идут трапезничать, сначала все отправляются в моленну избу. Секлетекея крестится и неторопливо читает «Начала»⁶⁹, Феодосия и Лукерья, опустившись на колени, бьют частые поклоны. Козьма поясно кланяется иконам и терпеливо внимает молитве. И вот наконец-то — в трапезную.

А там уже всё изизготове. Феодосия накрывает длинный, ишпорканный вехоткой стол. Чаруша⁷⁰ полна духовитой щавелевой похлёбки⁷¹, из чугунка от горячей картохи — сытный пар, на деревянном блюде хлебушко бережно порушен на ломти. Секлетекея крестит пищу и первая из хлёбальной чашки⁷² пробует варево. Одобрительно кивает. — Благослови вкусить трапезу, матушка, — пищит из-за стола Лукерья.

Потом уже садятся на лавки и благоговейно вкушают, а сытая Феодосия нараспев читает «Житие святого Зосимы». Когда она замолкает, Козьма осторожно спрашивает Секлетекею:

— Отчего так скудно ядите, матушка? Чай, не пост на дворе.

— Душа и речечкой напитается, — отшучивается старица, отхлёбывая из деревянной ложки.

А Феодосия шумно вздыхает:

— Да-а-а, до разорения мы и кедровое молочко, и сметану вкушали, а по праздничкам пироги с грибами и брюсником я пекла. Да и рыбица на столе бывала. А теперяча и хлебушко к концу идёт, а крупы на кашу пригоршни осталось. Из чего готовить? Ума уже не приложу. — И худой квас лучше хорошей воды, — ворчит Секлетекея, — дай только брюху волю.

Но Феодосия неуступчиво поджимает пухлые губы, дряблые ямочки на её округлом лице углубляются:

— Только ангелы с неба не просят хлеба, а лучше бы суп, да нет-ка круп. А главное дело — соль на исходе, — и вскидывается на Секлетекею: — Ты-то много на себе утарташь? Лукерью в лес допушшать

69. «Начала» — краткая молитва, состоящая из молитвы мытаря. Эта молитва предваряет и завершает все богослужения.

70. Чаруша — берестяной сосуд круглой формы, не пропускающий воду.

71. Похлёбка — разновидность супа из овощного отвара. Приготовление настоящей похлёбки требует незаурядного поварского мастерства.

72. Хлёбальна чашка — чашка величиной с большую тарелку.

пока ишо нельзя. А я, сама знашь, не ходок. Может, Козьму сам Бог в помочь нам прислал, штоб нам, старухам, безголодно век довековать?

Секлетекея, насупившись, жуёт молчком. А Феодосия не унимается: — Покажь, матушка, Козьме дорогу к лабазу⁷³, пока ишо реку льдом не схватило. Глянь, как он чурки на себе тягат, ровно бугай какой. Ты очами-то, матушка, на меня не сверкай! Человек из еды живёт. — И то, — помрачнев, вдруг неохотно соглашается Секлетекея, — ртов у нас прибавилось, одним огородом зиму не проживёшь. Думать буду. А шас, сёстры и братия, помолимся святому Зосиме, штоб ниспослал нам своё благоприятствование в сём деле.

Почти всю ночь мечется старица по молельне. В смятении обращает взоры к иконе Спаса Вседержителя: «Помоги, Господи! Вразуми! Как доверить-то пришлому великую тайну „Круга благодетелей“? Вить туда не токмо моя купеческая родня вхожа, но и многие богатейшие уральские заводчики. За их вспоможение скиту — государева опала! А путь к тайному лабазу мне одной заповедан покойной матушкой Тавифой. С другой же стороны, нету-ка и другога хода. Вон как сердце порой стискиват. Не дай Бог, неурочно примру! Околеют девки без меня с лютой голодухи. Тож грех будет на душе».

Рано утром сама является к Козьме в келейку за каменную ограду. Торкает в спину:

— Вставай, Козьма! Сбирайся в путь, одевайся-ка потеплей.

Ведёт его в моленную избу, грозит сухим перстом и указывает на икону Страшного суда:

— Побожись, што в тайности сохранишь путь, который укажу тебе! Што во благо употребишь знание о нём! И токмо для пользы скита или людей старой веры!

Затем откидывает дверцу в лаз подполья. Манит за собой рукой и напоминает:

— Крошни прихвати.

В темноте Козьма брякается затылком о половые лёжи. Старица, хмыкнув, запаливает сальную свечу:

— Вишь, за бочкой-то полог — отодвинь-ка.

Открывается круглый лаз в черноту. Старица сгибается и проползает внутрь, Козьма ползёт следом.

Чавкает и скользит под коленями сырая глина. С потолка, где в трещинках скапливалась сырость, хлюпают и обрываются вниз ледяные капли. Через некоторое время старица разгибается, отряхивается. Узкое колеблющееся пламя едва освещает каменные ступени вниз и осклизлые стены коридора. Секлетекея, прислонившись к стене, переводит дух. В глазах у старицы вовсе темнеет. Стоит шум в ушах. Под левой лопаткой сильно ломит. Она присаживается на ступеньку, машет Козьме рукой:

73. Лабаз — постройка на деревянных столбах-сваях.

—Присядь-ка маненько. Што-то задохлась я.

Память мечет чёрные молнии. Вспышки её выхватывают из темноты обрывки прошлого. Вот, шаркая ногами, пыхтит под грузом узла со святыми книгами и иконами ещё молодая пухлощёкая Феодосия и шёпотом ругается, когда обопнётся на склизких ступенях. А она, Секлетекея, тоже ещё молоденька, на ощупь цепляется пальцами за скользкий плитняк и что есть силы тянет, волокёт визжащую Лукерью. А та извивается и дрыгает ногами. Одно слово: пришло чумой-холерою страшное Федулово разорение...

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. ФЕДУЛОВО РАЗОРЕНИЕ

—Покуда передохну, послушай, Козьма, про то горе чёрное.

Давно это было, Федулово разорение. Настоятельницей в скиту в то время была матушка Тавифа. Мудро она ведёт душеполезную службу и скитское хозяйство. И обитель процветает. Окрестные богомольцы скрытным ручейком стекаются в моленную матушки Тавифы и несут щедрые пожертвования. По сердцу им златоустые служения настоятельницы скита. И вот уже тесна моленная для прихожан, и они прирубают к ней алтарь, а перед входом — паперть. Верх избы украшают медной маковкой купола с крестом и гулким колоколом. Для удобства же проживания матушки Тавифы пристраивают отдельную комнату.

А между тем у священника волостного села Шушь отца Якова Федулова приход редееет, хоть и не мал: три богатых села и четырнадцать деревень. Скудеют доходы каменной церкви. Тускнеет её величие. В ярости кропает священник донос преосвященному Енисейскому и Красноярскому епископу: «В таёжном скиту ширится и растёт гнездо осиное, гнездо раскольников. Самовольно выстроили они моленную и незаконно ведут воровские богослужения в ней». И в полицейское управление поступило соответствующее распоряжение. В канун Успеньева дня нагрянули в обитель полицейские и солдаты во главе с приставом и батюшкой Яковом Федуловым. Грозным явился пристав в моленную, где творили моления старoverы, и строго приказал матушке Тавифе:

—Прочь из этих мест! К утру чтоб и духу вашего не было!

А батюшка Яков в это время исполнял свой духовный долг: ходил по кельям инокинь и уговаривал их принять единоверие. Но инокини упорствовали и двуперстно от него открещивались. Покорно молились и слёзно выли:

—У нас моленны подобны раю. У нас звон удивлённый подобен грому. О, прекрасный ты наш раю, прелюбезный драгой скит, нам в тебе уж не живати, святые службы не стояти, тихие радости не видати.

Солдаты их тычками гонят из келий во двор. До моленной они ещё не добираются, а туда уже грузно вваливается Феодосия. Она захлопывает за собой дверь и задвигает щеколду. Матушка Тавифа,

отваживая святой колодезной водой бесноватую Лукерью, торопливо бормочет:

— Изгоняем тебя, дух всякой нечисти, всякая сила сатанинская, всякий посягатель адский, враждебный. Именем нашего Иисуса искоренись и беги от души, по образу Божьему сотворённой.

Секлетекея с трудом удерживает в руках худенькую инокиню. Лукерья корчится, изо всех сил лягает черницу в колено. Та вскрикивает и морщится от боли. И тут Феодосия голосит так, что у матушки кружка из рук выпадает:

— Вы тут, а они-то там! Костёр во дворе запалили. Святы книги, иконы в огонь бросают. Плоты сколотили, инокинь вяжут да на плоты, как мешки с картохой, швыряют! Я еле убёгла от их.

Феодосия закатывает глаза под потолок и заполошно крестится: — Господя! Чо деется-то, чо деется? А черноризцев-то, срам и смотреть, раздевают, стегают верёвьями да так и, нагишом, гонят к реке! Хотут на плотях вниз по воде весь скит спровадить! Сюда, матушка, идут, в моленну, разбойники.

Растерянная Секлетекея выпускает из ослабевших рук дурничку, и та плюхается на пол и сама вдруг утихает, только глаза лупит на всё.

И тут матушка Тавифа срывает с себя вязаную шаль, спешно стелет её на пол, мечется по горнице, снимает образа, бесценную икону Спаса Вседержителя, складывает и заветную книгу старца Зосимы. Суёт узел Феодосии и прикидывает на Секлетекею:

— Ну што столбом стоишь? Живо в подвал, там подземный ход есть. Сидитя там, пока солдаты не уйдут! И дурничку за собой тащи-те! — топает ногой на Лукерью. — Нишкни! Мотри у мя, штоб тише мыши!

Настоятельница открывает створку в лаз подпола:

— Ну, не мешкайте, Господь с вами!

— А ты, матушка? — взрыдывает по новой Феодосия.

— А я... — Тавифа строго выпрямляется. — А я вместе с паствой приму крест. Тебе же, Секлетекея, передаю свой посох!

А в дверь моленной уже колотят солдаты. И матушка захлопывает за беглецами створку схрона, застилает поверх него тканые половики и, вытянувшись во весь рост, истово молится. Ожидает супостатов. Гордая, непреклонная, безбоязненная.

Козьма, затаив дыхание, благоговейно внимает рассказу Секлетекеи.

«Вот кто настоящие преблагостные страстотерпицы древней веры. Горько моё житие, а всё одно не след мне ровняться с этими богомученицами», — думает он.

И кажется Козьме, что мучительные воспоминания ещё более осветлили прозрачные глаза старицы и их лучистый свет прямо-таки осиял неказистое корявое лицо.

«Да, давно это было,— вздыхает Секлетекея.— Вот с тех пор скит и захряс. Видно, права Феодосия: Господь нам прислал Козьму в помочь». Она искоса взглядывает на широкоплечего кряжистого Козьму: силен ишо мужик, зараз мешок с продуктами упрёт и не охнет. А она уж скоко может поташшит.

Обхватив руками больную поясницу, тихо поднимается. И они снова идут к просвету в конце подземного коридора. Выходят на свежий воздух, на заросший кустарником берег Безымянки. Секлетекея машет в сторону голубеющего в тумане увала:

— Щас как поднимемся вдоль по этой релке⁷⁴, так в мендраче⁷⁵ начинай затеси на деревьях для памяти делать. Другой раз уж один ходить будешь. Не сегодня-завтра падера⁷⁶ падёт. Пока лёд на реке не станет, надо припасов натаскать! А мы с огородом доуправимся да грибов-ягод, скоко ишо успеем, пособирам. На тебя теперя вся наша надёжа.

Вёрст десять отмахали путники по кедрачу, пока не узрели стоящий на трёх сваях с односкатной кровлей лабаз. Секлетекея указывает Козьме на лежащую под ним трёхметровую лестницу:

— Приставь-ка её к низу пола, пошараборься. Там серединна доска выниматца. Через проход энтот и лазить внутрь будешь. Щас я слажу, наберу всего из лагунов⁷⁷ помаленьку на первое время. Круп разных, мучицы да сольки. А потом ты слазь следом да посмотри для себя разну лопоть на зиму и охотничью справу. Глянь хорошенько, там у самого потолка-то полочка есть маленька. Будешь списки оставлять о всякой скитской надобности.

— Кто те писульки-то подбирать будет? И все ли нужды сполняться будут? — любопытничает мужик.

— Все не все,— уклончиво отвечает старица,— а внимлет мольбам «Круг благодетелей». А то б мы, старухи, давно загнулись от голода и холода. Тебе же большего знать нет нужды. Знай себе складывай листки, а Господь позаботится о страждущих и воздаст по необходимому.

На обратном пути матушка поучает мужика:

— Как путь хорошо вызнашь, то затеси-то замажь и ходи туда разными путями, штоб тропки не стоптать.

Следующие полмесяца Козьма таскает на крошнях припасы к зиме. Потом ворочает в тайге срубленные на дрова брёвна. Бьёт орех, ловит рыбу. В воскресенье Секлетекея после отправления «Начала» учит его петь по крюкам. Учение это даётся ему туго: крюки запоминаются тяжело, гудит он молитвы фальшиво. Но Секлетекея неумолима и терпелива.

74. Релка — гряда, возвышенность.

75. Мендрач — редкий лес.

76. Падера — первый снег.

77. Лагун — кадка с двойным дном.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ. ПОЖАР

Ликует душа Козьмы: и выжил, и выдержал все горя-испытания, и от веры не отступился, а больше укрепился, глядя на мытарства стариц. Потому сегодняшний день «накрытия» для него — как ступень лестницы к Божьему престолу. И день славный как по заказу: с утра сыплет мелкая снежная крупа, и грязные лывы подёргиваются ледяной плёнкой. Хрусткие тонкие забереги окаймляют и сковывают Безымянку. А к вечеру чистый снег уже покрывает весь скитский двор и ложится толстым пушистым слоем на крытые тёсом крыши келий. Торжественно, светло, благолепно...

Сорок дён прошло с тех пор, как он ходил на поклон к матушке с просьбой о «накрытии». Но как сейчас стоит перед глазами тот волнительный день: Секлетекея собирает на совет старух в моленую. Принарядившаяся по этому случаю Феодосия поощрительно лучится Козьме улыбочками, играет ямочками дряблых щёк, лукаво подмаргивает незабудковым глазом. Приткнувшаяся к ней Лукерья доверчиво смотрит на него чёрными бусинами и напряжённо перебирает пальцами лестовку. Секлетекея важно обращается к ним: — Сёстры, этот прихожанин, что в миру прозывается Козьма Берестов,— она тычет в сторону Козьмы посохом, и её рябой лик принимает непроницаемое выражение, точно она впервые видит его,— хочет принять на себя иноческий чин и просится в наш скит. Есть ли возражения к тому? Феодосия?

Феодосия дробненько частит:

— Худого о Козьме не скажу. Послушание несёт чесно. Истошник⁷⁸ тот ещё. Робит уёмисто⁷⁹, дай Бог каждому мужику так робить. Я и тесто на пироги по сему случаю сотворила,— заканчивает она путано. — Очёсливый⁸⁰ он,— пискляво заступает за послушника Лукерья,— слова худого от него не слыхивала.

— Послуханный он прихожанин,— соглашается с ними Секлетекея,— все службы исправно посещат. По знакам-крюкам,— она смотрит в его сторону и слегка кривит душой,— петь выучился. И хоть не срок ишо принимать тебя, Козьма, надобно бы не мене трёх годов выдержать трудником, да делать нечево, холода подступают. В келье Зосимы шибко зябко становится, кабы не свалился ты опять от простудной болести. Что ж, благословляю тебя, сын мой, встать на сорокадневное оглашение. А для этого вселяйся в крайну от ворот избу. Аминь!

Долгих сорок дён Козьма сидит взаперти. И молится без устали. И усердно бьёт низкие поклоны, не зрит и не слышит никого. Только принимает в маленькое оконце скудную пищу: кружку воды да кусок хлеба.

78. Истошник — трудолюбивый человек.

79. Уёмисто — много.

80. Очёсливый — вежливый.

И вот сегодня счастлив он: наконец-то посвятили в чин. Теперь он уже не крестьянин Козьма Берестов, а сам одухотворённый отче Климент Боголеп!

С лёгкой душой трудится новоположенный старец на колке дров. С улыбкой зрит в будущее, как будто не было за спиной чёрного горюшка. Вспоминает свою дорогую Федору, и кажется ему: не держит боле сердца на него упокойница за утрату своего «Семидесятника», а смотрит с небушка с ласковым одобрением.

В ранние сумерки, по окончании малой повечерицы и отпуста, Козьма уже сотый благодарственный поклон отбивает у икон. И вдруг неурочно и заполошно гремит било во дворе. Глядит в подслеповатое мутное оконце и ахает: полыхает зарево над моленной! Выскакивает в чём есть — низники да рубаха. В било гремит камнем и голосит простоволосая Феодосия. Около неё в припадке бьётся на снегу в тёмной сорочке Лукерья. Старица Феодосия вцепляется пальцами в рубаху Козьмы, утробно вое:

— Спаси-и-и за ради Христа! Секлетеее приспичило нынче в моленной ночевать. Поди-ка, разжигала кадило да сронила уголёк под половицу. Сгори-и-ит жа-а-а!

Он вышибает плечом дверь в моленную. В избе задымлено, пламя подбирается к иконостасу. В соседней комнате удушливо хрипит и ползает по половицам матушка Секлетекея. Козьма нашаривает её на полу, перекидывает через плечо, тащит к выходу. Но старица вдруг дёргается и с силой отталкивается от него, тянет руки к образам. Её рябое лицо кривится, глаза мучительно выпучены. Она сипит: — Спа-а-ас Вседержи-и-итель! Берястяна-а-а книга за ни-и-им...

Тогда он бросается в клубы дыма. Выхватывает, обжигая пальцы, древнюю икону и книгу Зосимы. Волокёт угоревшую старицу из избы. Старухи с воем семят за Козьмой до ближайшей Федосьевой кельи.

Неподвижно лежит матушка Секлетекея, отчего её сухопарое тело в льняной сорочке кажется ещё долговязее. Голые жилистые ноги торчат через край одра. Тусклые серые глаза смутно зрят на окруживших её плачущих старух. Она останавливает блуждающий взгляд на Козьме, слабо шевелит пальцами руки, подзывает к себе: — Подойди, отче Климент... оставляю... тебе. Береги... как зеницу ока. Посох передаю... боле не на кого уповать...

И завещает Козьме осиротевших подруг, чтобы в своё время он достойно предал земле их. А как иноку Клименту Боголепу наказывает возродить былую славу разорённого скита.

С тем и отдаёт Богу чистую душеньку непорочная агница Божия. И гаснет ещё один неопалимый светоч старой веры.

Эпилог

Много ли, мало ли прошелестело над тайгой невозвратных лет. Но, говорят, и сегодня в тех местах, где течёт неторопливая речка

Безымянка, есть земля обетованная — полуостров Монашки. А со стороны реки, за увалом, и сейчас стоит старый скит, огороженный каменной стеной. От новой часовни, срубленной без единого гвоздя, к воде ведёт тот самый узкий проход с почерневшими от времени ступенями из стёсанных лиственничных кремлин. А строгий чин там держит лучезарный прозорливец — старец Климент Боголеп. И не скрытым ручейком, а широкой полноводной рекой течёт в скит люд с окрестных деревень на поклонение к святому месту, ища сострадательного и милосердного слова.

В новой часовне стоит там страдальца-икона — неопалимый образ Спаса Вседержителя, что так и не дался в руки никонианам поганым. Тако же хранится здесь берестяна книга, дарующая староверам право на древнюю свою веру. Плачет над скитом оплавленный колокол, сзывая прихожан на службу. И очищен и полон живой ключевой воды чудотворный колодец, дающий телесное и душевное здравие. Путь же к нему даже по ночам освещают две негасимые свечи на могиле святого старца Зосимы.

Тако же говорят, что на скитском кладбище похоронены три старицы. А в их могилах запрятаны несметные богатства. Разрыли одну из них лихие корыстные люди и увидели только долговязое тощее тело, не тронутое тленом, с оловянным крестиком на жилистой шее. В страхе кладоискатели разбежались в разные стороны. Что случилось далее с телом — неизвестно. Только у разрытой могилы остался валяться деревянный крест с выжженной надписью: *«Возлюбите друг друга — и возлюблены будете Богом»*.

Сергей Кузнечихин

Морозов

Морозов я. Павел Морозов. Если угодно — Павлик. Да, нарекли в честь героя. Старшая сестра придумала. У нас в школе пионерская дружина была имени Павлика Морозова, и она решила, что братику с таким именем будет легче отличиться. Когда я родился, она в пятом классе училась, а уже соображала, что к чему. И не ошиблась. Председателем совета отряда выбрали. Кто выбрал? Одноклассники, разумеется. Может, им и подсказали, я не знаю, но какой-то авторитет среди ребят у меня всегда был. Учился средне, но в деревне это не главное. Рос в работающей семье, сноровки поднахватался и за себя всегда мог постоять. Самостоятельным был, а это заставляет уважать. Имя, конечно, помогало, но и обязывало. Особенно в молодости. Гордился своим именем. Когда с кем-то знакомился, представлялся не просто Павлом, а Павлом Морозовым.

Но наступила пресловутая перестройка с переоценкой ценностей. Павлик Морозов из героя превратился в предателя. Не скажу, что мне это повредило. Какой может быть вред? Я взрослый человек и крепко стою на ногах. Могу твёрдо сказать, что жизненную программу выполнил: воспитал сына, построил дом и посадил дерево. Сын поступил в институт, не пьёт, не колется, У меня четырёхкомнатная квартира почти в центре города, недалеко от работы, и дача. Не какой-нибудь щитовой домик, в котором дует в щели и капает с потолка, а добротная изба, в которой можно жить круглый год, крыльцо высокое, рядом жаркая баня и теплица на фундаменте, чтобы не гнила. Всё своими руками, в отличие от соседа, который пригнал работяг с завода, а чужое на совесть строить никто не будет. Я бы тоже мог студентов запрячь, всё-таки проректор, а не рядовой преподаватель, но переделывать после них — себе дороже.

Соседство у нас двойное. Дачи на одной улице, мои окна против его окон, но мои в резных наличниках, а у него стандартная вагонка. И живём в одном доме. Мой пол является его потолком. Познакомились на строительстве дач. А через год въехали в один дом. Не сговаривались. Получали от разных организаций. Он у себя на заводе зам по сбыту. С директором, по его словам, вась-вась. И, скорее всего, не врёт. Умеет он держаться в компаниях, а чем берёт — непонятно, хвастовством или грубостью; анекдоты похабные при женщинах и евреях позволяет, и никто не обижается. Верхушек нахватался и за умного сльвёт. И артистки у него в любовницах, и журналисты

в собутыльниках. Пить, конечно, умеет — не потому, что знает меру, а не берёт его ни водка, ни коньяк, ни «рассыпуха» (он и ей не брезгует). Сколько бы ни выжрал, а лишнего по пьянке не сболтнёт, хоть и балаболит без умолку, ни с кем не поскандалит, анекдотиками отделяется: расскажет и первый начинает хохотать. Случалось, и зацепит кого-нибудь глупой шуточкой, но на него почему-то не обижаются — всё сходит с рук любимцу публики.

А я обиделся. Не хочу притворяться: что есть, то есть. Наверное, просто назрело. Терпел, терпел — и лопнул нарыв.

Хорошо помню, что был вторник. В институте случился неприятный разговор. Преподаватель принёс заявление и сказал, что надоело вкалывать за гроши «на дядю» и он уходит в кооператив. Молодой толковый мужик, и возразить ему нечем, и пообещать нечего. А вечером позвонил сосед, сказал, что статейку интересную обо мне прочитал, и предложил спуститься к нему. Моя услышала про статью и тоже засобиралась, даже бутылку вина прихватила: дескать, неудобно в гости с пустыми руками. Я засомневался: с какой стати появится статья, если ни с какими журналистами я не встречался? Но мало ли... В газетах обо мне никогда не писали — любопытно всё-таки. Пришли в благостном настроении. Бутылку дорогого вина выставили. И на тебе — по роже. Читал он, что называется, с толком, с чувством, с расстановкой. При моей жене. И при его. А это, как бы поправильнее выразиться...

В общем, у меня с его женой роман. Нет, ничего такого позорного, без всяких пошлостей. Платонический роман. Она мне нравится, и я почти уверен, что нравлюсь ей. А почему бы и нет? Мы с соседом ровесники, но я выгляжу намного моложе, я намного выше, я не разжирел, а у него пивное пузо. Единственное его достоинство — густые кудри с благородной проседью, а мои волосы изрядно поредели. Я укладываю их, стараясь прикрыть длинными прядями, но всё равно заметно. Это у меня наследственное. Я почти не переживаю. Его жена — умная и добрая женщина, глупых намёков на мою причёску не позволяет. Она всегда ставит меня в пример: и то, что я держу себя в спортивной форме, и то, что на даче у меня порядок, шланги для полива смонтированы удобно и надёжно, дорожки между грядок аккуратные, каждый куст смородины огорожен, малина вырезана. И всё сам, в одиночку. Не люблю беспорядок. Моя на дачу почти не ездит, у неё аллергия на цветущую смородину или черёмуху — она сама толком не знает; короче, не любит в земле копать, и все мои старания ей до лампочки. А его жена откровенно любит моим участком. Я не слепой, не глухой, не идиот какой-нибудь, чувствую, что нравлюсь ей, но она порядочная женщина, мучается, наверное, но допустить, чтобы между нами произошла физическая близость, она не может, не в состоянии она переступить черту. Даже если узнает, что муж изменяет налево и направо. Подонкам и бабникам почему-то

достаются верные жёны. А вот моя бы, подозреваю, не удержалась бы. Нет, я не ревную к нему. Он её терпеть не может, хотя она полностью в его вкусе — высокая, с богатым телом. Получается, что я влюблён в его жену, а он на мою не обращает внимания, почти презирует и не очень скрывает это. Конечно, если бы я узнал, что между ними какие-то шашни, даже подумать боюсь, что бы я с ними сделал, но и его безразличие к моей почему-то злит меня.

Ну, зачитал он грязную статейку из жёлтой газетёнки, где пионера-героя называют предателем. Мне-то, казалось бы, что с того? Не на меня же помои льют. Подобная грязь рекой текла. Дорвались журналюги до дешёвой кормушки. Если им верить, то и героев-панфиловцев не было, и Александра Матросова, и Зои Космодемьянской. Дай им волю, они всё обгадят.

Огласил сосед газетную пошлятину и объявил тост: «За то, чтобы наши дети нас не предавали!» Выпили, а на закуску предложил повеселиться и начал зачитывать из той же газеты объявления «Службы знакомств»: «Мужчина, сорок пять лет, рост — сто шестьдесят, вес — восемьдесят, хочет познакомиться для создания семьи с девушкой не старше двадцати пяти лет, с проживанием на её жилплощади». Потом ещё одно зачитал, третье, четвёртое, давясь смехом и подпуская комментарии. Жёны хихикали, особенно моя, потом завелась и стала громко возмущаться глупостью и самонадеянностью мужиков. Они веселятся, а мне как-то не до смеха. Злюсь, мрачнею, но всё-таки понимаю, что защищать или оправдывать перед ним Павлика Морозова бесполезно, ничего ему не докажешь, жёлтая газетёнка для него авторитетнее. Сидел и чувствовал, как во мне разрастается ненависть. Если бы можно было измерить её давление, то прибор бы наверняка зашкалило. Я не стал хлопать дверью. Мы досидели положенное время, допили наше вино и то, что выставил он, почти допили. Продолжили, что называется, дружить семьями, но ненависть моя густела с каждой встречей. Я понял, что не успокоюсь, пока не уничтожу его, не представлял, как это сделаю, но верил, что обязательно что-нибудь придумаю.

В тот день у меня была назначена встреча со строителями, надо было порешать кое-какие вопросы по ремонту в институте. На работу я не поехал и вышел из квартиры за час до встречи. Дом у нас большой, аж на одиннадцать подъездов, а я живу в среднем. Спустился с крыльца и увидел во дворе милицеские машины — штук шесть, не меньше. Первое, что пришло в голову: приехали брать серьёзную банду, иначе бы зачем столько техники пригнали? Спросил у мужчины, стоящего на тротуаре. Он огрызнулся: «Проходи, не создавай толпу». Он был в штатском, но я ошибся, принимая его за обыкновенного зеваку. Товарищ из органов, и при этом явно нервничал. Я решил, что операция достаточно серьёзная, и, не имея привычки путаться

под ногами у людей, выполняющих свою работу, пошёл на остановку. Милиционеры стояли не только вдоль дома, но и вдоль дороги. Один даже на крышу автобусной остановки забрался. И тут я вспомнил, что в город приезжает Ельцин. Трасса из аэропорта проходит по нашей улице, вот и забили все дворы милицией, чтобы снайпер не занял удобную позицию. Видимо, чувствовали большую любовь к всенародно избранному президенту. Сосед мой потом острил, что подобной милицейской опеки не было со времён визита Чан Кайши. Откуда у него такая информация — не знаю. Лично я ни разу не слышал, что Чан Кайши бывал в нашем городе. И сосед в те годы жил в своём зачуханном леспромхозе, в стороне от наезженных дорог. Сам я подобное представление видел впервые. Глядя на вереницу сосредоточенных мужчин, выставленных вдоль трассы, я почему-то подумал не о Ельцине и Чан Кайши, а о том, что улицы, удалённые от президентского маршрута, предоставлены ворами и бандитам в свободное и безнаказанное пользование: грабьте, убивайте и ни о чём не беспокойтесь, внутренним органам не до вас, они заняты более важным делом. И, можно сказать, накаркал. Когда вечером вернулся домой, жена обрадовала новостью: парня, живущего на четвёртом этаже, расстреляли в собственной машине. Его не любил весь подъезд за наглость и манеру парковаться впрытык к крыльцу. Самоуверенный сопляк, называющий себя генеральным директором какой-то компании. Новые русские падки на громкие титулы. Сейчас много развелось всяческих шарашек. Подомнут под себя два-три филиала по торговле порнухой — и уже синдикат или холдинг, которым управляет генеральный директор, а то и президент, с криминальными советниками и заместителями. Расстреляли его из автомата возле речного вокзала, совсем рядом с нашим «белым домом», но уже за пределами охраняемой зоны. Убийц, разумеется, не нашли.

И сосед мой сам подсказал мне план действий. Для того чтобы покрасоваться, показать свою крутизну, высказался, в надежде на сочувствие, что и его могли бы так же изрешетить из «калашника», у него тоже за последнее время накопилось много врагов.

А если могли бы, значит, не исключено, что смогут. Почему бы и впрямь не найтись какому-нибудь обиженному или обманутому со слабыми нервами? Подкараулит и убьёт. И на меня уже точно никто не подумает: мы с ним вроде как в дружеских отношениях.

Где достать автомат, я понятия не имею. Да и зачем он? Лишний риск, лишние расходы — полагаю, что стоит он не меньше пылесоса. Самый подходящий вариант — бейсбольная бита, чтобы создать иллюзию бандитского заказа. Но и её надо где-то искать, а это лишние свидетели. Я остановился на обыкновенной монтировке: надёжно, удобно и, если завернуть в газету, не бросается в глаза, особенно когда потребуется избавиться от неё. План придумался очень легко. Вырубаю предохранитель на его лестничном счётчике и жду.

Он выходит на площадку посмотреть, что случилось. Я спускаюсь к нему, бью монтировкой по голове и быстро поднимаюсь на свой этаж. На всякий случай, если он вдруг услышит мои шаги и оглянется, можно сделать маску из старого чулка. Нашёл у жены чулок, примерил, посмотрелся в зеркало — смешное зрелище, но узнать в таком наряде невозможно. И место, куда сбросить оружие убийства, придумал. Через дорожку от нашего дома стоит продуктовый ларёк, а за ним железные гаражи; если бросить монтировку возле стенки, обязательно найдётся хозяйственный мужичок. Всё продумал, всё приготовил и, не откладывая, пока не подступили сомнения, дождался вечернего сериала и вышел на площадку с монтировкой, завернутой в газету. На лестнице никого не было. Нажал все три рычажка на предохранителях, быстро поднялся на верхний пролёт и уже там натянул маску. Дверь у соседа скрипучая, так что услышал сразу: сначала противный жалостливый скрип, потом шлёпанье тапок и ворчание. Но голос был женский.

Если бы вышел он. Если бы...

Можно сказать, что она его спасла.

Когда вбежал к себе, сразу же достал из холодильника недопитую бутылку водки. Руки дрожали. Да какое там руки! Всего трясло.

Разве мог я подобное просчитать? Знал, что он ничего не делает по дому, но послать жену разбираться с электрическим щитком? Это за пределами моего понимания. На какое-то время я даже забыл, зачем развёл эту канитель. Пил рюмку за рюмкой и хохотал над собой, над своим тщательно продуманным планом. А когда просмеялся, понял, что на вторую попытку я уже не способен. Удивительное дело, но водка протрезвила горячую голову. Стыдобище. Помрачение какое-то. Серьёзный мужчина, на солидной должности... Надо же было додуматься вообразить себя бандюганом. И всё он: не похвастайся обилием врагов, желающих с ним расправиться, мне бы и в голову подобная глупость не пришла.

Успокоился и стал искать для себя оправдания: дескать, смерть от неизвестного с чулком на лице — слишком легко для него. Надо разрушить его сытое благополучие.

И тогда я вспомнил, как три года назад он приехал ко мне на работу в институт и попросил перепечатать на машинке письмо. Я предложил отнести черновик машинистке, но он сказал, что это не для посторонних глаз. У меня в кабинете стояла машинка, которой я почти не пользовался. Но и он печатал одним пальцем, подолгу отыскивая нужные буквы. Даже сам я извёлся, глядя на его мучения. Больше часа потел над страницей. А закончив, спрятал бумагу в портфель и достал оттуда коньяк и пару красных яблок. Любимая тема его разговоров — бабы. Ему не терпелось похвастаться новой подругой. Неделю назад случайно подвёз тренершу из плавательного бассейна, взял телефончик и на следующий день подъехал встретить

её с работы, а у неё оказался свой отдельный кабинет с кушеткой для отдыха, крепкая грудь и накачанная задница, даже душ имелся, чтобы чужие запахи в семью не тащить. Рассказывал взахлёб и радовался удаче, как мальчишка.

Уговорили бутылку, потом хватились, что пора домой. Я на работу хожу пешком, а он, как всегда, был на машине; он частенько позволял себе выпить за рулём и как-то не попадался, везунчик, разъезжал по всему городу, а тут всего пару кварталов проскочить. Когда шли в гараж, он предложил заглянуть к нему на кухню. Продолжать пьянку не хотелось, но я согласился, чтобы лишний раз увидеть его жену. Успел поздороваться, и только: не пожелала она присоединяться к нашей компании, сидела перед телевизором и вязала, не могла без дела. А утром я увидел у себя на столе его черновик — забыл по пьяни, увлёкся рассказом про тренершу. Я, грешным делом, полюбопытствовал. Это была анонимка на его начальника. В ней подробно описывалось, каким образом часть продукции реализуется налево, описана схема и названы конкретные люди. Я сложил листок вчетверо и положил в карман, намеревался отдать, если спросит, но он не спросил — вопрос-то щекотливый; наверное, решил, что бумага ушла в мусорное ведро. А я на всякий случай сохранил: вдруг пригодится, чтобы пристыдить его, если начнёт сильно зарываться?

Черновик улёгся в мою папку с дачными документами, а печатные экземпляры дошли до адресатов. На заводе устроили проверку, начальнику моего соседа пришлось уволиться. Обошлось без лишнего шума — видимо, были замешаны серьёзные люди, но цель была достигнута. Сосед занял должность своего начальника. Только никто не мог предположить, что нагрянет шальная волна выборов. Стали выбирать не только президентов, губернаторов, но и директоров. Уволенный выставил свою кандидатуру и вернулся на родной завод с повышением. Вернулся героем, бывшие грешки превратились в достоинства, голосовали за предприимчивого хозяина.

При таком раскладе случайно залежавшаяся в папке с дачными квитанциями бумажка могла сломать жизнь моего самоуверенного соседа. И то, что у меня оказался всего лишь черновик с вычеркнутыми и вставленными словами, без точек и запятых, усиливало достоверность бумажки. Ну и почерк, конечно, узнаваемый. Отпираться бесполезно. Но я решил подстраховаться и на обратной стороне листа написал фамилию автора анонимки. Оставалось передать. Отправлять по почте не рискнул, могло затеряться. Тогда я, не мудрствуя лукаво, выбрал самый надёжный способ: приехал на завод, передал запечатанный конверт секретарше и сказал, что просили передать лично директору.

По дороге с завода я подумал о повороте, который не учёл. А что, если взбешённый директор начнёт трясти анонимкой перед мордой автора, и тот, естественно, догадается, каким образом она воскресла?

Как себя вести? Да никак. Высказать в лицо всё, что о нём думаю. Мне бояться нечего. Я чист.

На другой день я заглянул к соседу после работы, рассчитывая увидеть его пьющим от расстройства и рычащим на меня. Ни того и ни другого. Был весел, рассказал, что в автобусе услышал забавное объявление: контора принимает на работу водителей, мужчин и женщин, с возможностью переучивания с категории С на категорию В. Я поправил, что категория не В, а D. Он только отмахнулся. А я сразу же подумал: с какой стати он оказался в автобусе? Неужели началось, да так круто, что пришлось пересесть на общественный транспорт? Спросил его, с какой стати он оказался в автобусе. Но ожидания мои не оправдались. Сосед буркнул что-то про ремонт и снова к своей хохме: «Представляешь, с категории С на категорию В!» Я даже не сразу понял, что в этом смешного, и снова уточнил, что категория D. Он заявил, что я не понимаю тонкого юмора. Предложил выпить, но я отказался.

И через месяц наши отношения не изменились. Тогда я позвонил директору и спросил, дошёл ли до него конверт со старой анонимкой. Он поблагодарил и сказал, что давно знал, кто её писал, но этот человек ему пока нужен. Даже не поинтересовался, кто звонит.

Владимир Ярош

И аз воздам

Уткин рассчитывал затеряться, покемарить на вокзале, но, ступив под высокие своды, не узнал бывшей ночлежки, превратившейся за его срок во дворец с «малахитовым» пластиком, «мраморными» колоннами и балясинами под слоновую кость. Нарушавшие тишину покашливания растворялись в рисованных небесах с голубями, где-то едва слышно шипели кондиционеры.

Да и публика не та. Приметив местечко, Уткин приземлился так ловко, что застигнутые врасплох сонные соседки прозевали пустое кресло меж собой и теперь боязливо ощупывали застёжки сумок. Одна из них не выдержала и покатила свой чемодан от греха подальше. Вторая морщила нос и нервно шуршала пакетами, пока не освободилось место в другом ряду.

Если бы не нововведение в виде подлокотников, он сладко вытянулся бы на лавке во весь рост, а так оказался как ворон на проплешине, ловя на себе косые взгляды.

Слиться с толпой не помогли ни «модные», как у Хоттабыча, туфли, ни штаны с нашлёпкой «Levi's». Сутулая спина, измождённое землистое лицо, а главное — беспокойные, как шарики ртути, глаза выдавали с потрохами.

Завидев дефилирующего полицейского, он машинально накинул башлык кожаной куртки, о чём тут же пожалел: «Чего задёргался? Теперь точняк подвалит». И не ошибся.

— Документы, — услышал он, но поднял голову лишь от тычка резиновой палки.

Годами накопленная на людей в форме злость готова была выплеснуться на патрульного. Тот вздрогнул, но, преодолевая природную робость, приказал встать.

— Зачем? Я свободный человек, — протянул Уткин справку об освобождении.

— Надолго ли?

У сержанта на этот случай было припасено немало прибауток, но сейчас было не до них. «Свободный человек», по его мнению, представлял угрозу общественному порядку на вверенной ему территории, и он искал повод, чтобы избавиться от неё.

— Куда путь держим, Уркин?

— Уткин я.

— Не важно. Здесь зал для транзитных пассажиров.

— Я только с поезда.
— И что дальше?
— Домой поеду, как кассы откроют.
— Кудысь?
— В Енисейск.
— Ничё не напутал?
— Дык автобусом.
— Дык иди на автовокзал.
— В ночь-то?
— Здесь не отель, — вернул сержант бумаги и, постукивая для уверенности дубинкой по ладони, добавил: — Хотя могу предложить номер до выяснения личности. У нас тут бутылку водки из ларька украли, тоже в кожаной куртке.

Канючить было бесполезно. И унизительно. Он закашлялся.
— На чувства не дави, неча тут бациллы разводить, детей вон сколько.

В открытую дверь кольнуло снежной крупой. Уткин оглянулся в надежде, что сержант отстанет, но тот подтолкнул его и прикрикнул:
— Двигай ходулями, я что сказал!

Уткин съёжился и цыкнул сквозь зубы струйку слюны.

От привокзальной площади отъехал последний троллейбус.

У него были адреса корефанов, где можно перекантоваться, но беспокоить кого-то ночью не хотелось. Точнее, видеть никого не хотелось.

Город, где в последний год свободной жизни учился Уткин, изменился, но не настолько, чтобы не найти автовокзала. Вдоль улицы мерцали стеклярусом опавшие деревца. Едва он попробовал погреть руки в их холодном свете, как услышал:

— Эй, отойди от дерева! Я тебе сказал.

Уткин покрутился, не видя, кому ответить, и побрёл дальше.

Общественный транспорт уже или ещё не ходил, но движение не стихало. Чувство времени пропало. Машины, машины... Светофоры сонно хлопали жёлтыми глазами, отдав улицы в их абсолютную власть. И ни одной живой души. С рычанием проносились приземистые спортивные тачки; в ритме рэпа бухали басы, искрами рассыпались на асфальте окурки, и скакали жестяные банки. По-хозяйски шуршали шинами катафалки-паркетники и стильные седаны, чьи двигатели работали так тихо, что, зазевавшись на манекены в купальниках, Уткин едва не угодил под колёса. От визга шин втянул голову в плечи. Из открытого окна натопленного салона парень в расстёгнутой до пупа белой сорочке прокричал:

— Урод! Из-за тебя половину покрывок на асфальте оставил. Ещё увижу, тормозить не буду.

Ярость, забившаяся от холода в самое нутро, цепной собакой рванулась наружу, но обидчика и след простыл. Уткин давно научился отключать чувства голода, холода, боли. Только злость не покорялась.

Ударив по почкам, адреналин заставил его согнуться, и он замер посреди проспекта, как раненый защитник Севастополя против «Тигров». Объезжая его, машины сигналили на разные тона. В раскрытое окно одной из них он услышал девичий смех.

— Сука, — всё, что нашёлся сказать, сбрасывая с плеча прилетевшую от неё банановую шкурку.

Последние годы на зоне он привык к уважению не только от сокамерников, но и от начальства. А тут вдруг почувствовал себя ничтожеством.

Мороз прижал без прелюдий. Застывшие листья обрезанных тополей шуршали на ветру ржавой фольгой.

Площадь, где раньше был автовокзал, Уткин нашёл. Пересёк туда-сюда: ни касс, ни автобусов. Вместо них перемигивались россыпями иллюминаций названия пабов, саун, клубов. Термометр на башне с часами показывал минус семнадцать. Подобно бездомному псу, искал он подворотню, куда забиться. Но подъезды были оборудованы домофонами, арки зарешечены. Словно издеваясь, плясали над ним голые фигурки индейцев с перьями в головах. «Ирокез. Night Club». Подгоняя стеклянную дверь-вертушку, он ввалился в тамбур с полированным «Харлей-Дэвидсоном». Синтетическая музыка, запахи духов и туалетного дезодоранта.

— Ты далёко? — появился перед ним парень в чёрном костюме с конфетти на плечах.

— Я просто постою, п-погреюсь.

— Нельзя, здесь люди ходят.

— А я кто?

— Вот и я о том.

— Братан, задубел я, — с трудом выговорил он, сдерживая приступ кашля, — очочурюсь.

— Тока не тут. Найди другое место. Давай, пока!

— Не надо со мной так, — поднял на него Уткин глаза, от взгляда которых у того дрогнули поджилки.

— А то что? — подтолкнул он бродягу, но тот проворно вывернулся, веером раскинул синие от наколок пальцы и прошипел:

— Не лапай, мозг выгрызу!

— Так ты урка? Обратно на парашу захотел? — и уже в рацию: — Денис, Антон, быстро к выходу, у нас тут клиент.

Обработанный дубинками, Уткин поплыл, но выстоял. «Падать нельзя, — кричало всё его существо, — забьют».

Из дальнейшего он помнил только холод и боль. Зыбкое сияние золотых куполов принял за видение. Окованные медью листовые двери не дрогнули под его плечом и безнадежно глушили удары кулаков. В бессилии он сполз на колени и, глядя в глазок видеокамеры, впервые

за много лет перекрестился, прощаясь с жизнью. Но тут изнутри клацнул засов. Не вставая с колен, он налёг на дверь и провалился в темноту, которая не пугала, но обволакивала животворным теплом и миррой. Впереди слабо мерцало распятие.

— Помилуй мя, Господи, — шептал он чёрными разбитыми губами, чувствуя, как с головы его и до пят волнами побежало блаженное тепло, подтапливая глыбу льда в груди.

Он застонал по-детски беспомощно и жалко, подползая к ногам Христа, и впервые захотел заплакать, ощутив Его боль сильнее, чем свою. Но горло свело судорогой, а сухие глаза словно остекленели. В забытии он долго стоял перед распятием на коленях.

Призраками скользнули тени монашек, по углам высветились суровые лики святых. Лишь в одном он прочёл сострадание. «Пресвятая Богородица, заступница!» В бликах красного стекла лампы образ её ожил, края одежд зашевелились, и она заговорила с ним голосом с клироса. Когда ей вторили певчие ангелы, Уткин подумал, что возносится, и боялся шелохнуться, чтобы ошибка не обнаружилась и его не скинули обратно в преисподнюю.

Столь отчётливо и ясно доходил до него смысл псалмов, что, с блаженством повторяя и растягивая последние слоги, он изумлялся простоте, красоте непонятных ранее слов и очевидности открывшейся истины.

«Отврати лице Твое от грех моих и вся беззакония моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи мене от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отыми от мене. Воздаждь ми радость спасения Твоего и Духом владычним утверди мя. Избави мя от кровей, Боже, Боже спасения моего...»

«Про меня!» — холодея от прикосновения к таинству, догадался он, полагая совсем не случайным, что слова эти именно сейчас пролились в душу его. «Избави меня от кровей, Боже», — несколько раз повторил он.

Оглянувшись, Уткин увидел за своей спиной тени богомольцев. Бочком, по стеночке, двинулся к выходу и испугался, когда к нему подошла крупная женщина в монашеской рясе.

— Мужчина, вас как зовут? — опустила она его с небес вполне светским сочным голосом.

Он растерялся и не сразу вспомнил:

— Серёгой.

— Сергей, вы не сможете у нас дворик почистить?

И хотя руки и ноги его дрожали от слабости, как он мог отказать?

— Пойдёмте со мной.

За воротами всё было бело. За пару часов словно саваном покрыло всю грязь и грехи земные. Женщина проводила его в подсобку, дала суконные рукавицы, широкую лопату и вывела во двор.

— Всё чистить?

—А по желанию, в охотку. Сколько сможете — и то хорошо. А я за вас, Сергей, помолюсь. Бог в помощь.

Едва он начал, как почувствовал прилив сил и даже некий азарт. Вначале было зябко, но вскоре разогрелся и задышал паром. К концу начал уставать, но пересилил себя и убрал весь церковный двор. Снова появилась та же женщина и поклонилась аж в пояс.

—Пойдёмте со мной, Сергей,— позвала она его и привела в комнатку, где пахло воском и вдовьей чистотой.

Ему было чудно, что к нему обращаются на «вы» и по имени. Оставшись один, окинул взглядом скромную обстановку и тиснёные картонные иконки. Она появилась с подносом, поставила перед ним тарелку горохового супа и кусочек варёного минтая с пюре. Пришлось снять верхонки, обнажив исколотые пальцы.

От голода и слабости по телу его выступил холодный пот. Но, отвыкший от еды, он долго ворочал ложкой в супе.

—Жить-то есть где?

Он неуверенно пожал плечами:

—Да вроде.

—Далёко?

—В Енисейске.

—Он чё! У меня там подружка, сестра Нина в Покровском монастыре. Я ей варежки связала, давно уж, да оказии всё нет. Можно, с вами передам? Там, наверное, уже зима вовсю.

И ушла за добавкой. Когда вернулась, он спал на двух сдвинутых табуретах.

—Обутки каки-то бусурманские,— покачала головой, поднимая его свесившиеся ноги на третий табурет.

А потом всё заглядывала в каморку: не проснулся ли? Но он так и проспал без движения до вечера.

В автобусе было тепло и мягко. Последний ряд оказался свободным, и Уткин переметнулся туда. Мотор под ним урчал убаюкивающее — спать, да и только, но сон приходил урывками. За городом вызвездило, и небо виделось таким же, как из барака. Бледное сияние половинки луны едва серебрило верхушки елей вдоль дороги. Когда не спится, хорошо закрыть глаза и вспоминать что-то приятное. Или мечтать. Но мечтать ему было поздно, а воспоминания лишь терзали душу. Оттого он нервничал, вскакивал и ходил по проходу. Хотел поговорить с водилкой, но тот наглухо заперся в кабине.

Чем дальше на север, тем сильнее затягивало узорами окна, пока не осталось и просвета. Шестым чувством он ощутил, что приближаются его места, и оттого разволновался, дыханием растопил лёд на стекле, чтобы видеть, как рассеивалась мгла на востоке, расплывались в чёрных чернилах фиолетовые, лиловые и сиреневые, пока, наконец, в малиновом мареве не показался краешек золотого диска. И тут под

обрывом открылся свинцово-серый Енисей, подёрнутый рваными клочьями тумана, с обледенелым буксиром на якоре. Кромка ледостава неумолимо напознала с севера. Загребайся капитан, и зимовка судну во льдах обеспечена. Из глубин памяти прорезались картины про дрейф «Седова» в Арктике, собачьи упряжки из затёртых до дыр книг Каверина, Голованова. Дом Уткиных стоял в ста метрах от Енисея. Мальчишкой, провожая взглядом суда, Серёжа видел себя за штурвалом во льдах Ледовитого океана. Поступлением в речной техникум он никого не удивил. Других вариантов для него просто не было.

На каникулы после первого курса приехал домой. На первой же дискотеке встретил одноклассницу Катю. Танцевали, гуляли, целовались. Недалеко от своего дома она встретила подружку и сказала, что дойдёт сама.

Утром его взяли с постели. Оказывается, грибники нашли Катю мёртвой в лесу.

Его допрашивали, выколачивая признание в изнасиловании и убийстве. Он так и не взял на себя вину, но при наличии «неопровержимых доказательств» суд приговорил его к лишению свободы. Веря в справедливость, он до последнего верил в оправдательный приговор. Но уставшая судья в застиранной мантии, не дрогнув, вырвала десять лучших лет из его жизни так же спокойно, как могла убить муху на столе. Как плохой хирург со стажем деловито воспринимает смерть своего пациента на операционном столе.

Зона, куда попал, славилась беспределом. Он и не надеялся, что дотянет до освобождения. Умереть годом раньше или позже стало ему безразлично. Куда важнее было не прогнуться. Пройдя жестокие побои и вынужденное убийство, он выстоял. Правда, получил ещё трёшку за превышение пределов самообороны.

Ближе к концу срока, когда на проталинах под колючкой зацвели подснежники, случай подвернулся. Глупо, но не удержался. Варили бак для бани какого-то начальника, в нём и спрятался. Сварной шов сделали хлипким. За проходной он выдавил крышку и дал дёру. Жаль, местности не знал. За попытку к бегству получил ещё два года. Собственно, побег удался. Взяли в сотне километров. В расположение ракетной части, куда муха не пролетит, он прибыл, того не ведая, в вагоне с углём. А выехал уже в автозаке с наручниками. Смешно.

К тому времени он приобрёл среди своих авторитет и всё, что с ним приходит. Чем меньше оставалось до окончания срока, тем нестерпимей хотелось на волю, какой бы страшной её ни рисовали. Его нетерпение дружки объяснили по-своему: «Не терпится счёты свести». И, напутствуя на дорогу, обещали, в случае чего, сохранить место на нарах.

Когда он сел, ему было восемнадцать, освободился в тридцать три. Целая эпоха прошла. Нынче и обычным людям трудно найти своё

место под солнцем. А что умел он? В послужном списке одни болезни: туберкулёз, отбитые почки и селезёнка, артрит, микоз, потеря зрения в травмированном глазу на восемьдесят процентов. Да страшный груз, который будет давить до самой смерти: злоба. Вытравить её трудней, чем лагерный запах и наколки.

Родной город за десять лет постарел сильнее, чем за четырёхста предшествующих. Переросли и надломились тополя, зияя чёрными дуплами. Дом пионеров стал приютом престарелых.

— «Победа»! — прохрипел водитель, удивив Уткина неожиданным мажором.

Оказалось, так назвали остановку в частном секторе — в честь одноимённого старого ДК. А больше ничего не изменилось. Умилял пастельный лубок с подсинённым снегом и нежно-розовыми от холодного солнца берёзками. Запорошённые деревянные дома кержацкой постройки соединены узкими тропками; и ни души! Суббота. Белые кисейные ниточки из труб подвязали дома к небесам. Лёгкий запах дыма от берёзовых дров пьянил и волновал иссохшую душу.

Не хотелось ни с кем встречаться. Чтобы пройти незамеченным под чужими окнами, старался поменьше скрипеть снегом. Плохо получалось.

Хорошо возвращаться на родину с гордостью за прожитое, когда тебя ждут и любят. Когда прохожие с радостью узнают, расспрашивают и зовут в гости. Когда можно прямо глядеть им в глаза, а не прятать взор под капюшоном...

Отчий дом Уткин узнал не сразу: столетние кондовые брёвна до сорока сантиметров в диаметре зачем-то обшили пластиковым сайдингом, который в морозы трескался, а в жару скручивался. Посмотрел на новые ворота из профнастила, толкнул калитку и вошёл на крытый двор, в стайку. К старым сеням пристроили новый тамбур, где на самотканой половице валялись войлочные чуни и кроссовки без шнурков.

Не разуваясь, шагнул в прихожую. В горнице истошно верещал телевизор голосами мультяшных уродцев. Девочка в кресле обернулась лишь после того, как он тронул её за плечо.

— Привет, — сказал он.

— Привет, — ответила она и снова уставилась в экран.

— Что смотрим?

— А чё кажут, то и смотрим.

— Мамка где?

— Поросей кормит.

Он огляделся: после перепланировки от старого дома остались только наружные стены. Хлопнула дверь, и раздался знакомый — незнакомый голос:

— Катька, дров принеси!

— Час, мультик досмотрю.

— Я выброшу этот телик, ей-богу. Замуж скоро, а те всё мультики... — шагнув в комнату, замерла сестра на полуслове.

Наморщила вмиг покрасневший нос и кинулась обнимать брата.

— Серёжка! — заплакала она и вдруг стукнула его кулаком в грудь. — Ты почему не сообщил? Я ведь замаялась, ожидаючи.

Застеснявшись слёз, вдруг закричала на дочь:

— Да выключи ты, на хрен, свой ящик дебильный!

В наступившей тишине стало слышно, как тикают часы на стене.

— Ещё ходят?

— А чё им сдеется? Тикают, — вытерла она нос. — Ещё и кукуют, заразы. Всю жизнь прокуковали. Чё осталось-то? Ты там всё у себя, рассчитался?

— За что?

— Ну, в смысле, совсем приехал-то?

— Не, на побывку.

— Не шути так, я ведь совсем тупая стала. И седая. Вишь? — приподняла она шаль.

— Да брось прибедняться. Красавица, хоть на выданье.

Она снова стукнула его кулаком в грудь и шмыгнула.

— Насовсем, насовсем. Жильё надо подыскать, — поспешил он успокоить её. — Да работёнку...

— Небось, наработался. Поживи просто.

— Где?

— Здесь.

После смерти матери, по-хорошему, ей надо было разделить дом с братом. Да только... двое маленьких у неё уже росли. Она и правда хотела всё честь по чести. Полгода ждала, что он заявит о своих правах. А он ждал, что она напомним. И уже ответ в голове сложил: дескать, живите, вам нужней. Но напоминание не пришло. А спрашивать ни о чём не стал. И вообще писать расхотелось...

Чтобы прервать тягостное, но понятное обоим молчание, он сказал:

— Прости, что не предупредил. Сглазить боялся. Незванный гость...

— Типун тебе. Мы ведь давно ждём. Жаль, Вовка вчерась тока уехал. Он час на Ванкоре робит, по вахтам. Две недели там, две тут. Подфартило, одноклассник у него мастером. Помог устроиться.

— Нормально?

— Да как сказать? Шаг вправо, шаг влево — штрафуют не по-детски. Иной раз вся зарплата на штрафы уходит. Капитализм, ити его. А оборудование ещё с советских времён. Только и делают, что латают.

— А ты как?

— Да, — махнула рукой. — У Вачика в кафешке. Тошниловкой зовут.

— Официанткой?

— Официанткой и посудомойкой. Он ещё просит бухгалтерию освоить.

Ага, чтобы потом за него посадили? Сам-то отмажется, а я? Сколько

мне доставалось за его палёный «армянский» коньяк! А ему всё как с гуся вода. Там сунет, тут подмажет — пизнесмен, короче.

— А чё не уйдёшь? Или деньги большие?

— Правда что! Куда уйдёшь-то? ЦБК банкрот, ЛДК на ладан дышит. А тут хоть котлет домой притащу или ещё чего. Тем и живём. Ой, давай-ка быстренько подогрею. Свежие, вчерась принесла. Перекуси, а я баню затоплю. К вечеру уж капитально отметим. Пригласить кого?

— Нет.

— Как скажешь.

Сестра подогрела в микроволновке кафешный ломтик форели под толстым слоем майонеза и лука, разлепила нарезку колбасы и выставила сало.

— Сало своё?

— Конечно. И чеснок, и огурчики.

— Вот его и настрогай. А это, — отодвинул он тарелки с рыбой и колбасой, — убери. У меня и так желудок как решето. Дай-ка, — протянул он вдруг руку к разделочной доске, на которой сестра резала дольками розовое изнутри сало.

— Мало? Ещё принесу.

Но Уткин взял у неё доску, перевернул другой стороной и узнал печальные глаза Богородицы.

— Что, больше не на чем?

— Дык старая уж, облупилась совсем. Всеми ведь свой срок. Вовку давно прошу: выпили нову доску-то, — да толку! А эта лёгкая, просохла. Ешь, что ты сало-то отодвинул, из-за ёй, что ли? — показала она на изуродованную икону. — Ну прости, не знала, что ты у нас такой...

Сестра разлила из початой бутылки «Русский стандарт».

— Ну, за встречу долгожданную! Давай-давай, враз полегчает. Дома ведь наконец-то, — бодрилась она.

— Дома, — тихо повторил он, заметив, как она опустила глаза. — Только я не пью.

— И я не пью. Но по такому случаю-то!

— Какому такому? Не с войны пришёл.

— Как хочешь, а я выпью. За тебя, Серёженька, что выдюжил. Теперь ты должен жить долго-долго.

— Зачем?

— Должен, и всё, — зажмурилась она и, задержав дыхание, опрокинула в себя содержимое хрустальной рюмки. — Понял?

— Люсь, а Димка где? На сверхсрочную остался?

Со звоном выпала вилка из её руки. Лицо окаменело, словно парализованное.

— А Митеньки нет.

— А где?

— Нигде.

Она вскочила и, убегая из комнаты, обронила:

— Не могу...

— Как получилось? — спросил он Катю.

— Так и получилось, — потупила та глаза.

— А, ё... — стукнул он кулаками по столу.

«Чем же наши предки так нагрестили, что мы за них должны рассчитываться?»

— Ты правда дядя Серёжа? — помолчав, спросила племянница.

— Не похож?

Она медленно покачала головой и посмотрела на чёрно-белую фотографию за стеклом серванта, с которой улыбался красивый парнишка с есенинскими волнистыми волосами, едва старше её.

Вечером, когда сели ужинать, сестра вроде бы овладела собой и даже улыбалась впопад, но лицо её оставалось бледным, а узкие губы — бескровными. Видно было, что всё делает через силу.

— Ходила за хлебом, Юрку встретила. Так он уже знает, что ты приехал.

— Откуда?

— Видел, поди.

— И чё?

— Привет передаёт. Говорит, «писец» теперь им.

— Кому им?

— Спроси. Может, ждёт, что ты рассчитаешься. Все ведь знают, кто тебе жизнь сломал.

— Ладно, что знают, вам хоть не так стыдно.

— Я всегда в тебя верила.

Не съев и половины, что выставила сестра, и не выпив ни капли, Уткин поднялся.

— Ну всё, я спать.

— Что так? Не робить ведь завтра. Я думала, посидим, поговорим. Сколько всего мимо прошло.

— Успею, ещё надоем. Устал я, Люся.

Уснул он быстро, но в полночь проснулся от тишины и долго мерил комнату шагами. Не выходили из головы мысли о племяннике. Зачем он так-то? А может, прав? Цепляемся за «жестянку» из последних сил, не соизмеряя, стоит ли она того. Не в силах одолеть смутной тревоги и беспричинного беспокойства, накинул тулуп зятя и вышел во двор. Мелькнула и растаяла звезда, но загадывать было нечего. Казалось, ничего, кроме расстояния, сейчас не отделяло его от Бога. Но ни говорить с Ним, ни просить было не о чем. Вместо мыслей — одни видения и тягостные предчувствия.

В бараке, напротив его лежанки, висела репродукция из разворота журнала: на опушке леса, по крышу занесённая снегом, притулилась избушка. Узенькая тропка вела к двери, перед которой лежала лайка, щурясь на восходящее холодное солнце. Эта картинка помогла ему

выжить. И вот, казалось бы, мечта сбылась. А дальше? Так и подмывало взмолиться: Господи, заberi меня!

Под утро, когда сестра, выходя, звякнула подойником, он спросил, будто и не спал:

— Покровский монастырь жив ещё?

— А что ему сдётся? Звонит.

— Не хóдите?

— И без того делов,— и перекрестилась,— прости, Господи!

— А я схожу.

За домами кончились и фонари. Но и половинки луны хватало, чтобы не сбиться с пути. «Abbey road» — так пацанами они называли эту дорогу. Накинув башлык и ссутулившись, он смотрел себе под ноги, пока не уткнулся в старинную кирпичную кладку. Калитка оказалась открытой. Никто его не остановил. Монашки вереницей следовали с молитвы в трапезную. В чёрных клобуках, телогреечках поверх ряс они походили на эчек. Не хватало только часовых на вышках и лая овчарок. — Сёстры, где найти матушку Нину?

Монашки ещё ниже опустили головы и ускорились. Одна даже сплюнула из-под руки и перекрестилась. Уткин тоже плюнул и хотел уйти, но варежки надо было отдать. Перед храмом он снял шапчонку и перекрестился. Запахи ладана, воска и старины. В прихожей молодая монашка торговала свечками, крестиками и церковной литературой. Более миловидное, нежели красивое, лицо её, не знавшее солнца, контрастировало с чёрными бровями и чёрным головным убором. На вопрос о матушке она поджала высушенные постом губы, будто он мысленно вождедел её, и опустила глаза.

— Зачем вам?

— Письмо ей. И гостинец.

— Давайте, я передам.

— Да ещё спросить кой о чём хотел.

— Идите на проповедь, она подойдёт.

Церковь была почти пуста: четыре безликие согбенные фигурки, включая трясущуюся старушку и олигофрена. Священник сразу обратил взор на нового прихожанина и повысил голос:

— Вот говорят: Русь святая. Не святая она — грешная!

Бабулькина голова при этих словах ещё сильнее затряслась.

— И чего только не претерпела она: и цареубийства, и христопродавство. А сколько крови православной во искупление пролито? Век молить — не отмолить. Сатана в храм рвётся, а бесы — в души людей. Бога потеряете — неизбежно диавола обретёте. Вот, сами посудите, всего пятеро пришли на проповедь. И ладно бы будни — работа, дела житейские. Но ведь воскресение сегодня, сам Бог велел прийти помолиться... Конечно, и мы, служители церкви, в этом виноваты — может, даже в первую очередь...

Уткин заслушался с интересом, как вдруг услышал за спиной тихий голос:

— Вы мне привезли письмо от матушки Марии?

Это и была сестра Нина. Прямо при нём она развернула листок, прочла его и внимательно посмотрела на Уткина.

— Нам как раз нужны сторож и дворник. В одном лице. Вы непьющий? — Нет.

— Ну да. Все так говорят, — дрогнули в горькой улыбке её губы. — А хватает до первой получки.

— Тогда зачем спрашивать?

— Обиделся никак? Ладно, ты же с рекомендацией. Сразу должна предупредить: зарплата у нас небольшая.

Уткин пожал плечами. У него и в мыслях не было проситься на работу, но раз уж так вышло, решил не перечить судьбе.

Одна из сестёр, видимо ключница, объяснила, что надо делать, выдала инструмент и кой-какую одежонку. Спецовка мало чем отличалась от той, что он носил совсем недавно. А вот «почивальня» ему приглянулась: обитая изнутри пенопластом, оклеенная обоями строительная бытовка с печкой годилась и под жильё. За две ходки он перевёз в неё на санках необходимую утварь, обустроился и к вечеру, довольный собой, ужинал, размачивая сухарики в кружке с крепким чаем. Впервые в жизни у него было отдельное жилище.

Вскоре появился и первый гость. Пришёл Юрка Барбатунов. Он учился на два класса младше. Отсидел за грабёж и по возвращении давно, но безуспешно претендовал на роль главного местного уркагана. Уткин ещё не успел вспомнить его имя, а тот уже полез обниматься:

— Серый, братан! Наконец-то мы вместе! Чуешь вкус свободы? Дым отечества, мать его...

По своим каналам Юрка знал об авторитете Уткина на зоне и, чтобы достойно выглядеть в его глазах, принялся жонглировать именами паханов, бугров и воров в законе, произнося их в уменьшительной форме. Уткин не сдержал улыбки, представив, что упомянутые граждане сделали бы с Барбарой, услышь его бахвальство.

Юрку же распирало:

— Серый, я запарился тут один. Комбинатовские совсем поляну потеряли, оборзели, суки. Смотри, — задрал он куртку, обнажив свежий шрам на боку. — Вместе мы им такой кипеж устроим! И ментовку подомнём. Там одна шелуха осталась. Нам только первичный капитал натрясти, а там попрём в бизнес, дялян увозьмём, лес в Китай погоним. — Кто тебе дялян даст?

— И просить не будем, сами возьмём. Так все и делают. Бичей наберём, работать заставим. Я уже всё продумал...

Юрка выставил две бутылки водки и консервы:

— Отметим — и в клуб. Развлечёшься хоть. Душа просит, по себе знаю. Заодно представишься. Народ мелкий пошёл, всех построим. Давай, — протянул он чарку, чтобы чокнуться.

— Бери. А я чаёк, — шокировал Уткин друга. — Налить?

Тот восхитился:

— Ну ты реальный мэн! Как этот, в фильме, забыл название, триллер! Там киллер-филер перед тем, как на дело пойти, тоже не пил, не курил, не е... Так, что ли?

— Не знаю, у нас таких фильмов не показывали.

— А-а-а! — пригрозил ему пальцем Юрка. — То-то ты к богадельне пристроился. Типа осмотреться. А я как откинулся, месяц торчал, на уши тут всех поставил. Чё, и на баб не тянет? Всё, молчу. Дела поважней. Понял, не дурак. Ладно, постись пока, а я хряпну. Слышь, Серый, я ведь знаю, что ты задумал. Если не в падлу, можешь на меня рассчитывать. Вот две краги — считай, твои. Без п...ды.

— Спасибо, брат, — Уткина одолел приступ кашля.

— Тубик? Профзаболевание. Ничего, крепись, что-нибудь придумаем.

И придумал. Притащил на цепной удавке колченогого пса, суку о трёх ногах.

— Тебе. Первейшее средство от чахотки. Чтобы поправиться, нужно три собаки съесть. Начнёшь с этой.

— Ну и волчара!

— Не скрою. У охотника взял. Он волка держит спецом для вязки. Щенки потом и на лося, и на медведя идут. Бывает, что и на людей. А эта аж на снегоход кинулась. Вот и кандыбает теперь. Колян хотел её пристрелить. Но не тащить же на горбу? Своим ходом привёл. На, ешь на здоровье.

Уткин присел перед собакой на корточки и положил ей на голову ладонь между ушей.

— Красавица.

Она спрятала клыки и подняла на него миндалевидные глаза. Оценив нового хозяина, тоже села, поджав к груди культю. По-собачьи, наверное, это означало не рабскую преданность, а доверие.

— Пальцы-то оттяпает, — остерёг Юрка. — Черенок лопаты перекусила, пока ловили.

— Как звать?

— В супе не всё ль равно? Помочь?

— Не надо.

— Шкуру не выбрасывай, на унты возьму.

Уткин назвал собаку Ладой. Сколотил конуру. Кормить её остатками монашьей трапезы — значило уморить с голоду. За небольшую услугу он договорился на скотобойне, и раз в неделю ему нагружали мешок лыток, бычьих хвостов, гениталий и прочих отходов производства,

которые можно было давать собаке сырыми или варить шурпу с крупой. Оттого шерсть её скоро залоснилась и заблестела на солнце. Поначалу обзолённая на весь мир и своенравная, от хорошего ухода она успокоилась. Впервые в жизни почувствовала себя в безопасности. Дожидаясь хозяина с работы, ложилась на снег и вытягивала голову на переднюю лапу, устремив взор к воротам монастыря. Едва в них появлялся знакомый силуэт, она вскакивала и с лаем начинала рвать привязь. Каждая их встреча умиляла, как эпизод из голливудской мелодрамы.

Раз в неделю Уткин грузил в сани мусор и вывозил на свалку. Зимник шёл по лесу. Тишь и благодать, душа радовалась! Старая кляча едва плелась, так что Ладка на своих троих не только за ней поспевала, но и ни одного заячьего следа не пропускала. Или, воткнув голову в снег, вынюхивала мышинные следы под сугробами. Когда выныривала, счастливая морда её блестела на солнце снежинками. Если уставала, Уркин подсаживал её в сани, к явному неудовольствию коняги, которая косила глаза, натягивала поводья и хрипела, чуя волчий дух за спиной.

В тот ясный день собаку в санях было не удержать. Спрыгнув, закандыбалась она в гору к лесу. Боясь потерять её, Уткин направил по следу Сивку, но вскоре доходяга увязла, и пришлось догонять собаку пешком по сугробам.

На пригорке, среди берёз, где снег выдуло, он увидел торчавший из-под земли знакомый хвост: псина его забурилась в широкую нору — лисье логово, судя по следам вокруг и жёлтым пятнам. Ходы у них под землёй длинные, разветвлённые, так что потерять в них собаку было вполне реально. Кое-как просунув руки в нору, Уткин ухватил её за задние лапы и с огромным трудом, несмотря на рычание, выволок на свет Божий.

— Ну чё ты к ним привязалась?! Там лиса, такая же собака. У неё детки. Их и так нелегко прокормить, а тут ты ещё. Пошли давай!

Оказалось, что нор таких в окрестности несколько, и пока она не обследовала их, не успокоилась.

Позже им довелось наблюдать, как мышкует лиса: издали — будто мечется огонёк по белу полю.

Ещё задолго до свалки вдоль колеи начали встречаться кучи мусора, вываленного ленивыми горожанами. Каждый раз кулаки Уткина сжимались при мысли, что встретит на пути такого засранца. Вздыхал и подбирал из куч хотя бы пластиковые бутылки, канистры из-под машинного масла и пакеты, что не сгниют до скончания веков. Однажды не выдержал и написал: «Люди вы или свиньи? Не бросайте мусор!» и забил кол с картонкой в мёрзлую землю.

Ближе к свалке всё чаще встречались тяжёлые, заматеревшие вороны. Нажравшись отбросов, они с трудом перелетали короткими

отрезками от кучи до кучи. Ладка не любила их и злобно лаяла, когда они шуршали над ней жёсткими крыльями.

В тот день, опорожнив сани и повернув в обратный путь, Уткин увидел мчащуюся к ним свору собак. Ладка замерла, наливаясь яростью. Шерсть на загривке встала дыбом, нос наморщился, а верхние брылы приподнялись, обнажив волчьи клыки. От её утробного рыка у коня задрожали бока. Не слушаясь хозяина и не соизмеряя опасности, она рванулась навстречу дикой стае. От неожиданности собаки на миг умолкли, рассыпались кру́гом и, подзадоривая друг друга, вновь затаивались, захлёбываясь слюной. Уткин вспомнил, что совершенно такие же глаза видел у блатных, сбившихся в круг, чтобы запинать, затоптать свою жертву. Не уговоры, только сила могла остановить их. Он озирался, не видя среди мусора ничего, что можно было использовать как оружие. А собаки уже по одной и парами выскакивали из круга и кидались на Ладку, которая распоролла клыком шею одной, бочину другой. Не в силах прокусить её толстую шкуру с боков, одни дразнили её, а другие кусали сзади под хвост. Подобрал бутылочный осколок, Уткин обрезал постромки и кинулся с оглоблей на собак в тот момент, когда озверелым клубком они свились вокруг Лады. Уткин, не размахивая оглоблей попусту, бил прицельно. Рыжая дворняга с разбитым черепом остались на снегу, остальные бежали, задрав хвосты. Ладка с окровавленной мордой сидела, прижав покусанный зад к красному снегу. Налитые кровью глаза её уже не разбирали, кто свой, а кто чужой. Молниеносным движением, она прокусила рукав Уркину, когда тот хотел её погладить.

— Да свой я, свой, Ладочка, — успокаивал он её. — Умница ты моя, заступница. Уделала кобелей позорных. Тебе бы ещё одну лапу — порвала бы всех.

Ладонью он чувствовал её дрожь. Рычание постепенно переходило в надрывный утробный плач. «Совсем как у людей», — подумал Уткин.

— Всё хорошо, всё, успокаивайся. Сейчас домой поедem.

Но она упиралась, и Уткину пришлось поднять её на руки, чтобы дотащить до саней.

— Ну и здоровая же волчара, — кряхтел он.

Обычно от неё ничем не пахло, а тут от шкуры несло звериным запахом, волчьим адреналином. Всю обратную дорогу он гладил её запачканной кровью ладонью и говорил ласковые слова.

На обратном пути он иногда делал круг и заезжал на кладбище. Здешних обитателей было куда больше, чем городских. Поговорив с родителями, которые так и не дождались его, торил тропинку дальше, к голубой оградке в дальнем ряду. Отапывал вокруг, сметал снег с забуревшего листовенничного креста и, подышав на стекло, протирал заиндевшую фотографию. Он отчётливо помнил, как приезжая впервые появилась в их девятом, «неблагополучном» классе

и с обескураживающей милой улыбкой непосредственно произнесла: «Здравствуйте, я Катя. Я буду с вами учиться...»

И когда сквозь иней ему отвечала та самая улыбка: «Здравствуйте, я Катя», — и глаза с искринками, на него волнами, до слёз, накатывало забытое волнение.

— Здравствуй, Катя...

А потом от нестерпимой ярости кровь прилиwała к лицу, скрипели желваки под щетиной, и щёлкали сжатые в кулак суставы пальцев. Всю обратную дорогу он еле сдерживался, чтобы не отхлестать ни в чём не повинную скотину, и сшибал кнутом верхушки чертополоха. Горе встречному, который недобро взглянул бы на него в тот момент или сказал что не так.

Дома для успокоения хватал нож и принимался строгать очередное распятие, чтобы потом так же, как и предыдущие, отправить его в топку.

Размеренная жизнь, работа на свежем воздухе, молитвы на ночь, да и окружающая природа должны были помочь обрести спокойствие и умиротворение. Но не было их в душе Уткина. Опынение свободой прошло, убогое жилище уже не казалось хоромами. По ночам он плохо спал, от худых мыслей раскалывалась голова. Измаявшись, выходил посреди ночи на улицу. Звякнув цепью, выглядывала из конуры сонная заиндевелая волчья морда. Он садился рядом на скамеечку, а собака пытливо вглядывалась ему в глаза, чтобы заглянуть в душу. И тогда он тихо затягивал:

Выйдем ночью в поле с тобой,
Ночкой тёмной тихо пойдём,
Мы пойдём с тобой по полю вдвоём,
Мы пойдём с тобой по полю вдвоём.
Ночью в поле звёзд благодать,
В поле никого не видеть,
Только мы с тобой по полю идём,
Мы с Ладушенькой по полю пойдём...

Собака подвывала ему, закинув голову. А потом, чтобы подбодрить, тыкалась мордой в колени, стаскивала зубами рукавицы с рук.

— Ах ты, сучка такая, — улыбался он, а она, довольная, начинала прыгать и трепать рукавицу с притворным рычанием.

Он ловил её, падал в снег, она лизала его в лицо тёплым шершавым языком. Такие игрища среди ночи помогали. Но ненадолго. Собака не панацея.

Иногда, проворочавшись, одевался и уходил в церковь. Он любил разговаривать с Христом один на один, во мраке пустого храма. Никто не знал о чём. Любил рассматривать иконы. По сибирским меркам это был старый храм, восемнадцатого века. И иконы — соответственно.

Некоторые до того потемнели и потрескались, что лики святых едва угадывались. Тут в голову ему пришла мысль...

От скуки мастер на все руки, на зоне он делал лубки для души, для начальства, а то и на продажу. Вырезал на досках по фотографиям пейзажи с куполами, дюжинами красавиц. Особенно ему удавался Георгий Победоносец, копьём поражающий змея.

Попросив у монахов красок, он, как мог, восстановил икону Божьей Матери, которую забрал у сестры. К счастью, лицо её сохранилось, а одежды, младенца и фон он написал заново по отпечаткам старой краски. Необыкновенный подъём и умиротворение во время работы вдохновили его на новый труд.

Задумал изобразить Иисуса. Начал с воодушевлением. С фигурой и фоном трудностей не было. Но долго не давался лик Его. Всё откладывал на потом. Замучился совсем, похудел. Одни глаза на лице горели.

Что должно выражать лицо человека, взошедшего на Голгофу? Верующему в вознесение муки физические легче претерпеть, чем сомневающемуся. Знал он или верил? Вера спасительна и губительна в своих крайних проявлениях. Безумство фанатиков творит чудеса. Здесь не то. В глазах боль. Более от страданий нравственных, нежели физических. Это ли не величайший грех — увлечь на муки род людской, посулив ему рай небесный? Когда именем Его будут пытать людей на дыбах, сжигать и уничтожать целые народы и континенты. Святая ложь. Представьте глубину отчаяния предвидевшего сие! Тогда зачем Он пришёл в этот мир? Такого натворил за свои тридцать три года... Должно ли всё это читаться на Его челе? Не кроткая улыбка и не мудрость, а отчаяние и боль. Когда жизнь — ошибка. Если не Ему, так откуда нам-то знать, зачем мы пришли в этот мир? Вот и плутаем в потёмках.

А может, не мудрствовать? Истина, как и красота, приходит внезапно, сама собой. Или она есть, или нет. Как Он даст. Мудрствование только в тупик заводит.

Уткин посмотрел на себя в зеркало и снова взялся за карандаш.

Злополучный тот день с утра выдался хмурым. Снежные тучи, казалось, давили всем своим весом, вызывая общее беспокойство и нервозность. Недаром ночью псы выли. Уткин подумал, что в лесу ему полегчает, и, хотя мусора накопилось мало, повёз его на свалку.

Тут и там зимник пересекали следы снегоходов. Кто-то порезвился накануне. Собака по привычке побежала навестить лис. Пришлось идти за ней.

Страшную картину увидели они, выйдя к норам: снег вокруг был отутюжен гусеницами и вытоптан. Вороны трепали окоченевшие выпотрошенные лисьи тушки и клевали растерзанные рыжие комочки детёнышей. Один ещё попискивал, но, увидев его пустые глазницы, Уткин поспешил прекратить страдания кутёнка. Возле

нор валялись гильзы от дымовых шашек. Уж насколько Уткин был чужд сентиментальности, и то у него прошибло слезу. Пустая бутылка «Чиваса» говорила о том, что это дело рук не заурядных браконьеров.

— Суки,— прошипел он.

Новые кучи мусора пуще прежнего злили его, тем более что Ладка так и норовила покопаться в каждой из них, рискуя отравиться или поранить лапу стеклом.

— Тебя дома не кормят?! — кричал он, отгоняя её палкой, которую после той драки с собаками всегда теперь брал с собой.

Картонка с его призывом к чистоте была вдавлена в снег гусеницами.

Он возвращался, когда навстречу показался старый японский пикап, груженный мешками со строительным мусором, поверх которых покачивался обшарпанный холодильник. Поравнявшись, Уткин успел хлопнуть ладонью по кабине. Из приоткрытой двери высунулось розовощёкое лицо.

— Чё ты, дед?

— Хотел сказать, чтобы мусор не вываливал у дороги. Довези до свалки.

— А тебе-то чё?

— Как чё? Весь лес засрали. Не дело.

— Да воняет там, на свалке.

— Хочешь, чтобы везде воняло?

— Ладно, посмотрим,— захлопнул парень дверцу.

Что-то подсказало, что он не послушается, и Уткин повернул обратно. За первым поворотом увидел, как здоровяк, на голову выше его, разгружает кузов на обочину. Уткина как обожгло. Внутренне подобравшись, он подошёл к нему и как можно спокойней сказал: — Придётся обратно загрузить.

— Да ты чё? — парень, паясничая, сделал вид, что испугался. — Может, тебе холодильник надо? Дарю. Он рабочий.

— Я тебя предупреждал.

— Пошёл ты на..., достал уже,— сел парень в кабину раньше, чем Уткин взялся за берёзовую палку.

Спиленная от живой берёзы, она была ещё сырой и тяжёлой. Только осколки полетели от лобового стекла. Отряхнувшись, парень хотел вылезти из машины, но, посмотрев в глаза ненормальному доходяге, передумал. Вдавил педаль и, объезжая сани, завалился было в сугроб на обочине. Взревев всеми лошадьми, пикап вырвался на дорогу прежде, чем Уткин догнал его. Ладка с яростным лаем кинулась за машиной, норовя цапнуть колесо.

Удовлетворения и близко не было. Чем дальше, тем меньше. В горле стоял привкус крови. Уткин дёрнул вожжи, и застоявшаяся коняга понесла. «Надо было как-то не так», — понимал он. Но как? Мирной дипломатии его не обучали. Снегопад усилился настолько, что в метре

от лошадиной морды ничего не было видно. Лёжа на спине, он ловил ртом влажные хлопья снега.

Дома накатила жар. Нездоровилось с утра, но думал — расходится. А тут едва ноги приволок. Заварил чаёк с монастырской травкой, закутался. Да, видно, переусердствовал: так пропотел, что приснился себе рыбой. Налимом, выброшенным на берег. Напрасно глотал он воздух, кислород в кровь не поступал. Смирившись, перестал биться в ожидании конца. Но расслабиться мешал назойливый собачий лай. Вдруг он узнал его: ведь это Лада! Открыл глаза, но ничего не увидел, лишь почувствовал едкий до слёз запах дыма. Соображения хватило, чтобы сползти под полати. Несколько глотков холодного воздуха из щели в полу привели в чувство. Задержав дыхание, Уткин кинулся к двери, но она не дрогнула, подпертая снаружи. Пришлось подсунуть под неё кочергу и сдёрнуть с петель. Упал лицом в снег и долго, как тот налим, глотал больными лёгкими холодный воздух. Вокруг него прыгала собака и пыталась поднять его за загривок. На шее у неё болтался огрызок удавки, второй конец которой был привязан к полозу передвижного вагончика. Вздравшись на крышу, Уткин снял металлическую конфорку, плотно прикрывавшую отверстие трубы. Других уликов не осталось: пурга замела все следы. Но догадаться, чьих рук это дело было нетрудно. Ещё пара минут — и гнусная затея могла бы осуществиться. Собаке и хозяину была уготована одна судьба.

От угара давило в затылке. Да и температура снова поднялась. В ознобе Уткин едва дождался, пока проветрится жилище, навесил дверь и снова отключился. «Здравствуйте, я Катя. Я буду с вами учиться. Здравствуйте, я Катя...»

Сон то и дело прерывался кашлем, и оттого ночь показалась бесконечно длинной. Когда, наконец, он попытался выйти, дверь снова не поддавалась. Вначале подумал, что её опять подперли, но оказалось — просто замело. До самой крыши. Судя по завываниям, вьюга не стихала, и, оставив попытки выйти, он принялся за печь. Дрова кончились. Табуретки на растопку не хватило, и он отправил в огонь заготовки для своих лубков. Последний вариант распятия не вошёл в печную дверцу. Но и без него потеплело. А потому, проснувшись в очередной раз, почувствовал себя лучше.

Завывания стихли, в голове прояснилось. Космический свет слабо пробивался сквозь толщу снега из окошка. Почудилось, будто что-то хрумкает снаружи. Стук в стенку. Полиция? Закрыв глаза в надежде, что всё это сон. Но нет. Голубое сияние в оконце вспыхнуло магниевым, а потом и ослепительным солнечным светом прямо в лицо. Уткин зажмурился и чихнул.

— Слышь? — сквозь лёд на стекле проступило неясное очертание лица матушки Нины, обрамлённое ладонями. — Ничего не вижу! Темнотища. Есть кто живой?!

Своим появлением матушка Нина вдохнула жизнь в жилище Уткина. Один вид её разом вытеснил умствования на тему смысла жизни. Радости бытия, что она излучала, хватило бы на нескольких таких, как он. Уткин ещё подумал: не будь она монашкой, лучшей жены и желать не надобно.

— Собака там моя жива?

— Откопали. Сам-то как?

— Да вот прихворнул.

— Вижу. Глаза какие-то мутные. Не натворил чего? — перекрестила она его.

— Я на ноги подняться не могу, а вы говорите.

— Скажу Настасье, барсучьего жира тебе принесёт да мёда. Что это? — углядела она зорким взглядом распятие, подняла и протёрла рукавом. — Как же ты такую святость в грязный угол запихал?

— Не получилось.

— Сам ты не получился, — переводила она взгляд с Уткина да на распятие. — Это какими глазами смотреть. По мне, так хоть сейчас на иконостас! Заберу-ка я. Отдам Василиychу, он оклад подберёт.

— Не, матушка! Дай срок, доделаю, тогда уж.

— Ладно. Твори, раз талантом не обижен. А говорил, ничего не умею. Премию тебе выпишем. Новые валенки. А то что за пимы? Страх Божий. Ты ведь человек мирской, невесту присматривать надо, а ходишь как бирюк. Крещёный хоть? Сразу-то забыла спросить, как на работу брала.

— Да вроде.

— Как это?

— Говорят, бабка крестила, пока родители на работе были.

Лицо матушки посуровело:

— Не дело. В Бога веруешь?

Уткин вздохнул:

— Сам не знаю. Когда верю, когда нет.

— А по ночам в храм ходишь.

— Да я больше на иконы посмотреть.

— Тянет. Видать, покоя нет душе. Причаститься бы тебе. А до того поговеть да исповедаться.

— В чём исповедоваться-то?

— От те и на! Ты что у нас, святой? Так и у них при жизни грехов хватало.

После Крещения, когда паломничество в монастырь прекратилось, Уткин, вняв совету матушки, надел новые валенки и отправился в церковь.

Не зная, куда податься, спросил диакона, бренчащего кадилом. — Сейчас батюшка на исповедь пройдёт, к нему и обратись, — посоветовал тот.

На исповедь собралось немного. Уткин решил переждать всех, тем более что редко кто задерживался более двух минут. Не было тут никакой исповедальни двухкамерной, как видел он в кино. Всё таинство свершалось на виду: к батюшке с хвостиком, стянутым на затылке резинкой, подходили по одному и шептали на ухо. Он накрывал им голову парчовой тряпочкой и крестил; просветлённые прихожане целовали ему руку и с чистой от грехов совестью спешили навстречу новым.

Отойдя в сторонку, Уткин пытался вспомнить, отчего лицо батюшки кажется ему знакомым. Будто из того, прежнего мира. И чем ближе он подбирался к нужной ячейке памяти, тем больнее ему становилось. — Исповедоваться? — поторопил его священник, когда уже никого не осталось.

Уткин подошёл и склонился над крестом, как это делали другие.

— Имя?

— Серёга.

— Сергей. Богом данное имя твоё, не коверкай его в храме. Говори, в чём согрешил.

— Грех мой тяжёлый, не вынести одному.

— Всяк сам несёт крест свой покаянный.

— Тебе лучше знать, батюшка.

— Ты каяться пришёл или бременем поделиться?

— Не знаю, как и сказать.

— Скажи, как можешь. Господь всемилостив, поймёт.

— В помыслах грех мой.

— В безбожии и благие помыслы в ад ведут.

— Был я там. Мне бы пред собой определиться.

— Здесь перед Богом ответ держат. Пред собой всегда ответишь. В нерадивости и гордыне порой не ведаем грехов своих, Он лишь видит. Очисти душу, не молчи.

— Мечь и злоба меня сжигают, да так, что на худшее готов. Боюсь, не устою.

Священник растерялся и изменился в лице:

— Ты что же? На душегубство благословения просишь? Православная церковь впрок грехи не отпускает.

— Кроме меня, некому зло наказать.

— Всегда есть кому, — поднял палец поп, — не нам судить. Судей тьма, а за себя ответить не все могут. Так будешь исповедоваться или как?

Разволновавшись, Уткин не сразу вымолвил:

— Больше не в чем.

— Ой ли? Лукавые слова с трудом даются, — отложил поп епитрахиль. — Рано тебе к причастию, не готов ещё. Иди, да убережёт Господь. А нет — придёшь за отпущением.

— Почему не готов?

— У нас вон книги церковные продают, подойди к сестре Зинаиде, попроси по причастию, она подберёт тебе. Там всё найдёшь. А я что скажу? Сам грешен.

— Да я знаю.

— Вот и ступай с Богом.

— Капитана-то получил? Не зря старался?

Священник пристально взгляделся ему в глаза, стараясь не выдать смущения. Сквозь сивые с перхотью волосы предательски заалела кожа на голове.

— Как, ты говоришь, тебя?

— Серёга я, Уткин. Хотел вот освятить, — полез он за пазуху и вынул оттуда замотанный в тряпицу предмет, показавшийся опасным священнику; он невольно отшатнулся, выискивая глазами охранника, колченого мужичка в казацкой форме.

— Да не бойсь, — размотал Уткин распятие.

— Краденое, небось?

Сергей хмыкнул и мотнул головой. Священник покосился на него, на наколки и потянулся было к распятию, но, словно обжёгшись, отдёргнул руку:

— Не могу.

— Почему?

— Не могу, и всё. Не каноническая она, самоделка какая-то. Да и глаза не Его, — глянул он на Уткина.

— Тебе видней, какие глаза у оклеветанных, — усмехнулся Уткин и добавил с издёвкой: — батюшка.

С наступлением у Ладки брачного периода женихи набежали со всей округи. Разномастные гибриды: пятнистые, вислоухие, шакалоподобные, — но все наглые и невероятно настойчивые. Уткин гонял их как мог. Тщетно: кобели повылазили изо всех углов и подворотен. Впору было подивиться их воле к продолжению своего захудалого рода. И когда появился принц на белых лапах — Айк, ездовая лайка с широкой грудью и такими же, как у Лады, умными глазами, Уткин стал его прикармливать. Да и Ладка оказалась ещё той привередой, только его одного подпускала. Уткин про себя отметил изящество и благородство их отношений.

На ночь, от греха подальше, брал её к себе в вагончик. Не привыкшая к человеческому жилищу, она долго осматривалась и обнюхивала всё вокруг. Потом улеглась на старую телогрейку, постеленную для неё в углу, провожая внимательным взглядом каждый шаг своего хозяина. Улёгшись, он долго с ней разговаривал. Говорил, что скоро у неё появятся детки. Нужно готовить место для всех. Она будет кормить их своим молоком. Хлопот много, но вырастут они красавцами и защитниками от злых собак и людей. Глядя в её умные глаза, Уткину казалось, что она всё понимает и, соглашаясь, кивает головой. Жаль,

что не могла говорить. Сколько интересного могла бы поведать о своей собачьей жизни!

Но вскоре псы потеряли к ней интерес. И даже Айк, подлец, перестал навещать. Это задело её, пару раз Лада даже убегала в поисках любимого, но потом зарождающаяся в её чреве новая жизнь затмила иные чувства. Она перестала ввязываться в дворовые разборки, стала более послушной и прожорливой. Уткин не успевал варить для неё. Не устояв перед её просящей мордой и виляющим хвостом, угощал бананами и даже солёными огурчиками.

На Масленицу, едва люди, птицы и животные почуяли неуловимый, но будоражащий запах далёкой весны и нежное тепло солнечных лучей, ударили последние морозы. Напугать они уже не могли, лишь подзадоривали.

— Ого, сорок шибануло!

— А у тестя в низинке поутру аж сорок три показало!

— Жмёт, смотри-ка.

— Тётяшка, у тебя нос белый! Оттирай, а то отпадёт...

Безумные девицы в лайкре приводили в дрожь прохожих:

— От дуры-то, прости Господи! Чем потом рожать будут?

Уткин в своей хибаре устал от холода. Непрестанная борьба с ним вытягивала силы. Ночью не раз приходилось вставать, чтобы подбросить дров. В один из таких подъёмов Уткин услышал, как тявкнула собака. На чужого, определил он. Но вместо того, чтобы облаивать, неожиданно смолкла. Уткину показалось это подозрительным, и он выглянул наружу с фомкой в руке. Незнакомая, в короткой песчовой шубке, блондинка, покачиваясь на корточках, кормила его собаку шоколадом из хрустящей обёртки. За лакомство Ладка готова была душу продать, поэтому на хозяина и не обернулась, предательски виляя в его сторону хвостом.

— Это ваша красotka? А почему без лапки? Дядя, пусти погреться!

Он хотел было шугануть её, но, вспомнив, как сам замерзал на улице, отворил дверь:

— Давай быстро, не то выстудим.

Девушка принесла с мороза букет волнующих запахов и на его глазах вдруг покрылась инеем, как латунная статуэтка, внесённая в тепло.

— Двигай к печке.

Хлопнув заиндеветыми ресницами, она слабо улыбнулась, не в силах шевельнуться.

— Эх тебя... — и, заметив с копеечные монеты зрачки, покачал головой.

Забитая доверху печурка загудела и раскалилась докрасна. Тепло накатывало волнами, вызывая в теле девушки судорожные содрогания.

— В-во кол-басит, — через цоканье зубов призналась она.

Ей было двадцать с небольшим. Столь ухоженные экземпляры Уткин видел только на картинках, поэтому не воспринял её реально.

— Ты чё тут?

— Хотела в монастырь.

— Ух ты!

— Честно! Не берут. Я им: «Б...ь, замёрзну же», — а им по...р: «Чур тебя, чур». Твари, сиповки! Одной я успела фейс разодрать. Ноготь вот обломилась, — взяла она палец в рот, — здесь таких не купишь.

Всё ближе и ближе придвигалась она к печи.

— Шубку запалишь, сыми.

— Может, и раком встать за спасение? Ой-ой-ой, мамочки, жжёт-то как! — принялась она раскачивать коленки.

Сквозь бесцветные колготки было видно, как расползаются по коже алые пятна.

— Гады! — вопила она, кусая губы.

Слёзы лились ручьями по макияжу, не оставляя следов.

— Раз жжёт — значит, отходит, с ногами останешься.

— Дядя, ты так не шути. Не могу я больше!

— Растирай ляжки, кровь быстрее пойдёт.

— Лучше ты. Помоги!

— Не, я мозолями чулки порву, сама работай.

— Сам ты чулок.

Постепенно крики перешли в стоны облегчения.

— Отходишь?

— Не дождёшься, — расхохоталась она не по-девичьи.

— Эй, ты чё?

— Кайф! Я кончаю! — на бледных щеках выступил неровный румянец. — Бля, Сибирь ё...ая, как тут люди живут? И главное, зачем?

— А ты откуда?

— Из Сиднея. Я этот, как его, антагонист, тьфу, антипод!

— Кто?

— Абориген, короче. Боялась над океаном лететь, думала — жуть внизу. Ты чё! Кругом острова, россыпи алмазные, корабли, фейверки — жизнь кипит, люди веселятся. Даже в Китае всё сияет. А как границу пересекли — тьма ебипетская. Это ж надо было сюда забраться! Вот ты — чё ты тут делаешь?

— Просто живу.

Она обвела взглядом обстановку и поморщилась:

— А зачем?

— Как зачем? Собаку кормлю. Снег чищу.

— А на...ра? Разве нельзя жить там, где нет снега? Где в шортах и шлёпанцах ходят? Где бананы растут и работать не надо?

— Дык родился тут.

Она безнадёжно махнула на него рукой:

— «Повезло». Как и мне. У тебя есть выпить, Муму?

— Только чай, — налил он ей кружку вечно горячего фирменного напитка.

— Ни фиги себе чаёк, — поперхнулась она. — Чифиришь, дядя?

— Пей, чтобы не простыть, надо изнутри согреться.

— Истинная правда, — чихнула она.

— А сюда чего?

— Сама не знаю, обкурилась, наверное. В колледже моём экзамы надо сдавать. А я во, бамбук. Да и бабки кончились. Прилетела утром. Солнце как в Сиднее. Только там плюс сорок, а здесь минус. Как в морду вьюга е...ула, сразу поняла, какую хрень сотворила. «Соскучилась», бля, по дому! Было бы бабло, обратно в «Боинг» — и адью! Но... куда денешься, когда разденешься? Приехала домой, а там...! Не ждали, короче. Ну, я к подруге. Дальше плохо помню. В клуб попёрли. Блин, клуб — уссышься! Менты почему-то забрали. Дикие какие-то. Подругу в обезьянник оформили, а меня, как фамилию сказала, домой хотели отвезти. Я говорю: лучше в монастырь, грехи отмаливать. А в монастырь-то и не взяли. Типа: «Бл...ей не берём». Я им говорю: «Я не б...ь, я ангел, только падший. Ну возьмите меня». Хотела на колокольню залезть, позвонить. Прикольно, да? Ментами стали пугать. А я только оттуда. Как стала их х...рить! Тут ты докопался. — Я что?

— Слушай, меня так прёт с твоего чая, аж глаза пучит. Не моё. У меня рецептик есть, — порылась она в сумке. — Сгоняй в аптеку. Знаешь, на Перенсона есть круглосуточная, возьми хотя бы это. Феназепам. Лучше там всё равно ничего нет. Чё ты? Не ссы, рецепт настоящий, с бабкиной печатью, она у меня врачаха. В обед сто лет, а всё работает.

Он усмехнулся и покрутил головой.

— Ну пожалуйста, сильно надо!

— Нет.

— Почему?

— Боюсь ночью по улицам ходить.

— Тогда я сама. Эти валенки можно надеть?

— Потом ни тебя, ни валенок. И куда ты в таком виде? Шпаны всякой полно.

— Похрен. Меня недавно негры так пялили, что чуть не захлебнулась. У тебя где розетка, сотик зарядить? Тачку надо вызвать. А зарядка? Как ты без мобилы живёшь? И без Инета? Чё, монахам нельзя? И курить нету?!

Уткин вспомнил про завалившуюся от предшественника пачку. В ней оказались две смятых сигареты.

— Круто! «Астра», мои любимые. А прикурить?

Уткин просунул ветку в поддувало и протянул крошечное пламя гостье. Та по привычке грациозно затянулась, но, поперхнувшись, замахала руками.

— Во дерёт! — отклеила накладными ногтями табачинку с напмаженной губы. — Как ты такое куришь?

— Я не курю.

— Чё, правда? Чисто монах. А трахаться можно?

Он фыркнул.

— Ну рассердись! Тебе идёт.

— Будешь болтать, выкину.

— Фу, лучше б сказал: «Давай». Или ты замороженный?

— Согрелась? Вали отсюда!

— Та ладно, дрочи, я отвернусь. Ногу показать?

Чтобы ненароком не пришибить её, он накинуд бушлат и вышел. Звякнув цепью, из конуры выглянула Лада. Живот у неё округлился, и ей трудно стало прогибаться, чтобы вылезти в низкую дыру. И всё же, когда он присел на скамеечку, она выкарабкалась и положила голову ему на колени. Понемногу отлегло. Ладка, видя, что он ещё не в себе, ткнулась носом, лизнула в щёку. На снегу валялась фольга от шоколада. — Эх вы, бабы, бабы! — вздохнул он, поглаживая собаку по округлому животу. — За шоколадку отдаться готовы.

Потрепал, как она любила, шею, погладил белую дорожку от носа до лба, потерял кончики ушей и успокоился.

Остыв, поднялся с твёрдым намерением выпроводить незваную гостью. Но не сразу разглядел в потёмках сжавшийся комочек. Почесав щетину, бросил на пол полушубок, бушлат под голову. Из-под пола веяло нешуточным холодом, пришлось ещё дров подбросить. В ведре с золой блеснуло стекло: шприц! Из тёмного угла раздались слабые стоны. Бледная, с каплями холодного пота, девушка глотала ртом воздух и билась, как русалка в сети. Он приложил к её лбу снег. Снег не таял. Уткин испугался. Принялся трясти её за плечи, чтобы привести в чувство.

— Пустите, больно. Ну что я вам сделала? — захныкала она. — Фу, противный.

Нечаянно коснувшись её груди, он задержал руку, чувствуя, как бешено, в рваном темпе, с замираниями, бьётся её сердечко. Слабели неровные толчки, увеличивались паузы. Вспенились уголки губ. — Отстань, тошнит.

— Дыши! Глубже, глубже дыши. Эй! — поводил он ладонью перед закотившимися глазами. — Скажи что-нибудь, слышишь?!

В ответ из груди её вырвался нешуточный крик, переходящий в холодящий душу вой, а потом в болезненный стон, вобравший в себя отчаяние и страх перед смертью, нависшей вдруг со всей безысходностью. Привыкшая манкировать своим безразличием к ней, девушка воочию ощутила её могильное дыхание.

— Мамошка, не хочу туда, пустите, я больше так не буду...

— Сейчас, я за скорой, мигом, ты только не... это, дождись, слышишь?

— Постой, — вцепилась она ногтями в его руку, — я задыхаюсь. Так пусто... Не уходи.

Потом вдруг, выгнулась, заскрежетала зубами, упала навзничь и забылась. Лицо её успокоилось и приняло до боли знакомое Уткину

выражение. Он шагнул в угол, осветил зажигалкой лик Богоматери с восстановленной иконы и поразился сходству двух женщин, разделённых веками. Люди изменили мир, но не себя, подумал он.

Не слыша дыхания, он припал ухом к её сердцу и почувствовал затылком нежное касание прохладной руки.

Верхняя губа её приподнялась, придав лицу выражение детской беззащитности.

— Я тебя напугала? Прости. Теперь ничего, уже лучше.

Голос её был слабым и умиротворённым. Так, наверное, разговаривают в раю.

— Поплыла? — спросил он.

— Ага, лечу. Давай вместе!

— Я не умею.

— Дай руку. Не бойся, не такая уж я тварь. Раскрыть тебе страшную тайну? Я ведь даже не женщина.

— А кто тогда?

— Гермафродит, — выпучила она на него глаза, — потому в монастырь и не берут, ни в мужской, ни в женский, — беззвучно затряслась она, пока странный этот беззвучный смех не перешёл в икание.

Уткин захлопал её по спине.

— Больно! Ты чё такой-то?

— Да и ты не подарок.

— А т-то! Детство было трудное.

— Лупили, что ли?

— И кипяточек вместо чая.

— Потому и сбежала?

— Мачеха сослала. В колледж, типа.

Уткин заметил, что глаза у неё стали грустными, как у бездомной собаки. Захотелось погладить её по голове.

— А что отец?

— Ненавижу!

— А мать?

— Ещё когда умерла. С таким долго не протянешь. Он при ней-то баб в дом таскал, а потом вообще... Может, оттого мне всё это гадко?

— И негры?

— Какой ты по-ошлый, — разочарованно протянула она.

— Почему? Я ни одного дурного слова не сказал, ты одна поливала.

— И это всё, что ты во мне разглядел? На самом деле я не такая. Или все так говорят?

— Не знаю, что все говорят.

— Не, ты точно замороженный! У тебя там где-то сигаретка оставалась...

— Даже не думай. Сейчас сигаретку, потом катафалк.

— Давно мечтаю.

— Тебе родить бы.

— Он спасибо не скажет. Да и от советов не родишь.

— Прынца ждѣшь?
— На хер я ему нужна? А где мой ноут?
— Что?
— Там я записывала... не могу вспомнить. Его Джокер взял.
— Кто?
— Позвони, пусть вернѣт. Мне записать надо... Важное... А то забуду. Блин, уже забыла...

Глаза её, оставаясь открытыми, снова закатились, белки пугающе блестели в полумраке. Речь стала тихой и бессвязной. Но едва он привстал, чтобы уйти на свою лежанку, рука её крепко схватила его за полу овчинной душегрейки.

— Сидеть! Не будь таким бес...сердечным,— лепетала она.— Почему все такие, такие...? Ноги мѣрзнут. Да не здесь, пальцы. Я их не чувствую. Посмотри, они есть?..

Зрачки её закатились. Он видел, что она вот-вот отключится, и не делал ничего, чтобы тому помешать.

— Он держал меня на привязи. Как собаку,— неожиданно чѣтко снова заговорила она.

— Зачем?

— Чтобы я не убегала, не кололась. «Я тебя вылечу!» — говорит. Я неделю не ела. Ха-ха, пришлось отпустить. Ты где? Ляг сюда, мне очень холодно и одиноко... Ка-та-стро-фически.

Уткин осторожно, чтобы не коснуться, прилѣг рядом и всеми фибрами души ощутил неведомый, волнующий запах. Впервые в жизни он лежал с женщиной.

Ему снилось, что она смотрит на него. Открыв глаза, увидел её глаза, отражавшие свет тлеющих углей.

— Ты? Мне приснилось...

— Пусть приснилось, пусть,— прошептала она и приложила холодную ладонь к его небритой щеке.— Спи.

В тот день Уткин опоздал на работу. Он не шѣл, а летел, как воздушный шар, не чувствуя собственного веса. Колени его предательски подрагивали, а лопата то и дело падала из рук. Наверное, что-то необычное появилось и в лице его, отчего монашки чаще обычного поглядывали на него.

Выполнив едва ли половину обычной работы, он отправился к матушке Нине и впервые попросил аванс. Она как-то странно посмотрела ему в глаза, но не отказала.

Дома он застал необычную картину: в вагончике было прибрано, насколько это возможно, выметен пол, а на столе в разовой посуде стояли салат, ветчина, хлеб и апельсины.

На лице Леры не было и следа косметики, а волосы собраны и заколоты в узелок с торчащим вверх хвостиком. В фартуке поверх

штанов в обтяжку она походила на типичную домохозяйку, и узнать в ней вчерашнюю лахудру было просто невозможно. Уткин только подивился такому перевоплощению.

— Тебя не узнать. Ты какая настоящая?

— А какая лучше?

— Вот эта.

— Твоя работа. Смотрел фильм «Остров»?

— Нет, а что?

— Там был такой старец, монах, он бесов изгонял из одержимых. Как ты.

— Я не старец.

— Ну всё равно, экзорцист.

— Я ночью столько о себе услышал, что ничем меня уже не обидишь.

— Это не ругательное, не путай с эксгибиционистом, — засмеялась она.

— Всё равно больше не называй так. Ты домой ходила?

— Нет.

— А откуда это всё?

— Из магазина. Скатерть-самобранку у тебя не нашла.

— А одежда?

— К подруге заскочила.

— Понятно. Значит, жди гостей.

— Да нет, она никому не скажет. Я в ней уверена. Садись. Попробуй вот это...

Снаружи послышался яростный Ладкин лай. Уткин открыл дверь и увидел чёрный «Range Rover», размером почти с его вагончик. Из машины вышли двое: толстый, с апоплексическим лицом, и молодой, в коротком, похожем на морской бушлат, пальтишке, в кармане которого он держал правую руку. По их решительному виду Уткин сразу понял, что переговоров не будет.

В воздухе, описав короткую дугу, блеснул кастет. Уткин успел поднырнуть и пальцами хотел схватить парня за кадык, но тот оказался проворней, отпрянул и нанёс короткий удар левой, за которым должен был последовать хук в висок; но в этот миг в занесённую для удара руку парня клыками вцепилась Ладка.

— Лера, ты здесь? — услышал Уткин за спиной сиплый, привыкший повелевать голос. — Что он с тобой сделал, детка? Открой мне, слышишь?!

— Оставьте меня в покое! — послышался изнутри истеричный крик.

— Рома, ломай дверь. Да что ты возишься с этой шавкой? — выхватил он ПМ и дважды выстрелил в собаку, которая враз обмякла и выпустила руку.

Уткин кинулся к ней, не замечая сыпавшихся на него ударов, и взял её на руки. словно прощаясь, она подняла на хозяина виноватые

глаза. Он зарылся лицом в шерсть на её шее и тихо заскулил. Потом бережно положил её на снег, который тотчас напитался кровью.

Дальнейшее он плохо помнил, ярость затмила сознание. Совсем не помнил, как схватил прислонённую к стене пешню для колки льда и с силой метнул её в толстого. Страшное орудие, прорубив ребра, застряло у того в груди. Он посмотрел на черенок, не зная, что с ним делать, а потом поднял удивлённый взгляд на Уткина и в последний миг жизни узнал его.

— Ты? — вытаращил он глаза. — Леру?! — захрипел кровью, поднял пистолет, но нажать курок не успел: не сгибая колен, упал навзничь.

Черенок пешни, как осиновый кол, покачивался над ним.

Наступившую тишину порвал истошный крик.

— Папа, папочка! — бросилась Лера к отцу. — Помогите!

Но его телохранитель, вмиг лишившись работы, даже не наклонился к телу, поспешая прочь, пока не приехала полиция.

Красноярск, 2016

Эльдар Ахадов

Рассказы

«ГИБЛОЕ МЕСТО»

Это лезвие небезопасно,
Не ступай по нему, не шути:
Что угодно разрежет, как масло,
И живым не позволит сойти.
Может, ты и поверишь в кого-то,
Устремись за чем-то вослед:
Не твоя это, братец, забота.
Ничего там, на финише, нет.
И никто этот шаг не оценит.
И никто о тебе не всплакнёт.
Ни удачи, ни славы, ни денег —
Ничего, кроме бед и хлопот.
Но, увы, ни хулы, ни молитвы
Не способны его отвернуть...
Он шагает по лезвию бритвы,
И не меркнет сверкающий путь.

Зима в этом году поздняя. В октябре у нас сорокаградусные морозы — привычное дело. А тут постоит день-два лёгонький холодок — и снова оттепель. По топким, болотистым местам — ни пройти, ни проехать, пока их хорошенько не прохватит морозом. А мест таких здесь предостаточно. Говорят, что и само название окрестностей в переводе означает «гиблое место». Так ли оно — не знаю, но версия эта существует издавна. Не по своей прихоти, но по требованию федерального закона о недрах все горнодобывающие организации обязаны иметь на территориях своих месторождений геодинамические полигоны, состоящие из сети глубинных реперов, и проводить на них измерения, чтобы знать, где и какие деформации в недрах Земли имеют место и насколько они опасны для людей. Работы по созданию таких полигонов проводятся специализированными геодезическими предприятиями.

Одна из подобных организаций трудится и на наших месторождениях. На сухих и относительно сухих участках земной поверхности в удобное для полевой работы летнее время реперы были успешно и вовремя заложены. Но в наших краях огромное количество таких мест, в которых летом не только невозможно работать, но даже

и добраться туда нереально. Болота. Топи. Трясины. Там можно находиться только в зимнее время, когда большой мороз превратит сплошные хляби в твердь.

Наши подрядчики собирались заложить требуемые проектом реперы в подобных местах в октябре, после того как ударят крепкие морозы. Но никаких морозов не было весь октябрь. И начались они ближе к середине ноября. Как только морозная погода установилась, полевые работы начались полным ходом. Полевики торопились наверстать упущенное время и носились по тундре на снегоходах как угорелые.

Вечером в субботу восьмого декабря случилось несчастье. Дмитрий, ведущий геодезист, богатырь — косая сажень в плечах, оставил полевую бригаду на сооружении репера, а сам в одиночку на снегоходе решил проехаться по просеке на рекогносцировку конечного пункта, до которого оставалось буквально несколько километров. Ехал он с санками позади снегохода. На одном из поворотов санки застряли. Геодезист их отцепил и решил подобраться к ним на снегоходе с задней стороны. Подъехал. И в этот момент у него отказала поджелудочная железа, а следом — и сердце. Смерть была почти мгновенной. Я был знаком с Дмитрием лично и могу характеризовать его только с хорошей стороны: не раз и не два выезжал с ним на маршрут, вместе мёрзли, не раз делились хлебом-солью, поэтому, когда узнал о случившемся несчастье, скорбел о нём как о своём близком товарище.

Бригада занялась его поисками через несколько часов, когда труп уже порядком окоченел. Ребята знали, что их командир — человек чрезвычайно опытный, и, естественно, никому и в голову не пришло, что причина, по которой он не выходит на связь, столь трагична. Вызвали полицию и скорую, которая, впрочем, не приехала, сообщив, что за мертвецами традиционно не ездит. Полицейские осмотрели место происшествия, составили акт осмотра, а на словах сочувственно сообщили ребятам, что здешние места весьма богаты на подобные несчастные случаи: то с охотниками, то с рыбаками, чуть ли не каждый месяц — по трупу. «Гиблое место», — произнёс один из них напоследок и по-доброму посоветовал уезжать отсюда поскорее.

Но прежде, чем следовать толковому совету полицейских, необходимо было завершить работы и передать сооружённые реперы представителю заказчика по соответствующему акту. Сдавать работы приехал другой ведущий геодезист. Представителем от заказчика был я. Для того, чтобы добраться до «гиблого места», диспетчерами был предоставлен колёсный вездеход, всего две недели как прибывший с завода, абсолютно новёхонький. Вчера утром все собрались на крайней обжитой точке месторождения, чтобы выдвинуться оттуда в голую заснеженную тундру на воображаемую линию, соединяющую все реперы полигона.

Однако девятнадцатого декабря так ничего и не получилось. Так называемый «вездеход» проехал по тундре не больше двухсот метров.

Застрял через сто, а через двести зарылся в снегу так, что всем стало ясно: у нас единственный шанс — вернуться, пока не поздно, обратно. Лебёдка примёрзла, и трос не разматывался. Колёса резали сугробы до основания, и никакое снижение давления в них не имело эффекта. Водитель, судя по растерянной реакции, понятия не имел, как управлять машиной в таких условиях. В общем, нас спасло лишь то, что мы не слишком отделились от автодороги. Дул сильный ветер. Крепчал мороз. К вечеру столбик термометра опустился до минус двадцати семи.

У меня оставалось всего два рабочих дня, после чего в субботу, в соответствии с графиком отпусков, я собирался лететь к семье в Красноярск на новогодние праздники. Поэтому единственным шансом для подрядчиков оформить документы на оплату выполненных работ до Нового года было штурмовать ледяную пустыню тундры двадцатого декабря. Следующий день нужен был для оформления документов по приёму-передаче объектов. Теперь с другим вездеходом, за рулём которого сидел опытный водитель Иван — плотный, круглоголовый, не истерик. От подрядчиков в кабину «трэкола» сели ведущий геодезист Алексей и его водитель, он же член полевой бригады, Альберт. От заказчика опять был я. Двинулись с Богом. «Трэкол» шёл довольно резво. Буксанули всего лишь в одном месте — на заметённом бугре над неширокой речкой. Это летом речки — препятствие. Зимой, замёрзшие и заметённые, они иной раз почти незаметны. Почти.

На двенадцатом километре пути выяснилось, что полбака горячего уже нет. Все задумались, но решили продолжить движение. Завтра ожидается мороз под сорок два градуса. Вряд ли в такую погоду можно рисковать с выездом в голую тундру, где и сегодня погода не подарок: на термометре — минус тридцать три. Велик риск не вернуться совсем. Прикинули, что до ближайшей буровой горячего всё же должно хватить, да и часть обратного пути решили сократить, поскольку идти по тем же реперам необходимость уже отпадёт. Продолжили путь.

Сумрак надвигался быстро. Въехали в лес — хилый, северный, но всё-таки лес. Здесь не так дует, как в чистом поле. Лесная зона узкая, но протяжённая, вдоль реки. Как раз до «гиблого места». А вот и оно. На тридцать третьем километре лесной просеки, возле места недавней гибели геодезиста, мы остановились, и все вышли из машины почтить память товарища, замёрзшего здесь, возле дороги, двенадцать дней назад. Место достаточно небольшое. Узкое. Развилка, на которой одна дорога резко, под девяносто градусов, сворачивает влево, а другая тянется прямо. Всё вокруг измято снежными буграми. Сиреневые рыхлые полярные сумерки. Кажется, что дух погибшего геодезиста всё ещё где-то рядом. Минута молчания. Тишина, нависшая над пропастью неминуемого...

Едем дальше. Просека сужается. Здесь по ней ещё не пробивался ни один «трэкол». Вездеход «Лось», протиснувшийся между деревьев

неделю назад, с навесным буровым оборудованием, значительно меньше в размерах. Наш «трэкол» то и дело скрипит, но пробивается по узкому прогалу между сумеречными силуэтами деревьев. Вот и конечный репер номер 1067. Фотографирую его на память. Последний репер, до которого так и не добрался наш товарищ. Разворачиваемся.

Через пару километров выясняется, что у вездехода вот-вот выйдет из строя вариатор. Неприятности «гиблого места» продолжают. Вскоре рвётся ремень генератора и помпы. Слава Богу, у Ивана есть запасной. Меняет. Продолжаем движение в полной темноте. Наконец вдали появляются огоньки буровой. Обратный путь до неё оказался на двенадцать километров короче за счёт того, что мы двинулись напрямую по заснеженной целине. Естественно, учитывая все «преlestи» местности, где под порой не слишком глубоким снегом таятся овраги, канавы, озёра и просто глубокие ямы.

Наконец-то выбираемся из тундры на площадку для техники позади буровой. Поход окончен. «Гиблое место» преодолено. Осталось, правда, ещё добраться с месторождения до города. Но это уже «мелочи». Дело сделано. Можно собираться в отпуск... Так казалось мне тогда, зимним вечером двадцатого декабря. Но я ошибся. История закончилась не этим. Похоже, она вообще всё ещё не закончилась.

Ровно через месяц после гибели Дмитрия, восьмого января, чары «гиблого места» догнали и меня: инсульт, парализованы правая нога и рука. В левом полушарии мозга томограф обнаружил две мёртвые зоны. Ровно через месяц, восьмого февраля, моя жена Люба увезла меня долечиваться домой, в Красноярск. Я не сдаюсь: уже хожу, уже шевелю пальцами. Ещё подволакиваю ногу, ещё не вполне владею пальцами и нечётко пишу, но пишу ведь! И я вернусь, вернусь, обещаю тебе, Дмитрий. Нет таких мест на Земле, где мы не пройдем. Нет и не будет.

Ни на белом свете, ни на чёрном,
Ни на самом деле, ни во сне
Ты уже под небом беспризорным
Никогда не явишься ко мне...
Твой уход был дерзок и нечаян:
Просто сердце обратилось в лёд.
«Потерпи, я вынесу, хозяин!» —
Грохотал упрямый снегоход.
И ревел он, заглушая вьюгу,
Словно звал к себе издалека,
И возил, возил, возил по кругу
Час назад живого седока...
Эй, проснись! Смотри: во тьме и снеге,
Словно отшагали пол-Земли,
За тобой пришли твои коллеги!
За тобой товарищи пришли!..

В зимней тундре холодно и мглисто,
Но туда, где света торжество,
На руках несут геодезиста
Братья по бессмертию его.

Постскриптум

Товарищи покойного Димы сообщили мне такую новость: их высокое геодезическое начальство наградило меня юбилейной медалью. За то, что не бросил коллег, дошёл с ними до конца маршрута и принял работы Дмитриевой бригады...

Кто знает, может быть, откажись я двадцатого декабря ехать с ними по не завершённом им маршруту (а стоял жестокий мороз с ветром, и предыдущая попытка девятнадцатого декабря оказалась неудачной, мы вернулись ни с чем) — и со мной ничего бы не случилось? Смерть, унёсшая его, прошла по моей правой руке и правой ноге. Только зацепила, но не добила. Формально выезжать в поле в ту погоду, какая стояла двадцатого декабря, запрещено инструкциями. Но это я другим могу запретить, а совести своей — не могу. Бывают такие моменты, когда подтвердить, человек ты или нет, можно только поступком. Нет других вариантов.

Новый Уренгой — Красноярск, 21 декабря 2018 — 14 марта 2019

«OBLIVION»¹

Заметил: у гениев — глаза детей. А если так, то и у детей, должно быть, глаза гениев. Какими они вырастут — это уж как ляжет карта, но в детстве, наверное, все люди — гении. Ибо все живут настоящим, прошлого ни у кого ещё нет, да и будущее пока не напрягает. Для гениальности, как и для музыки, важен только настоящий момент, настоящее время. Невозможно быть гениальным вчера или завтра. Только здесь и сейчас. Так и музыка — это всегда сейчас, всегда настоящее. Не где-нибудь завтра, не когда-нибудь вчера. Она звучит сейчас. Не важно — слышим мы её или нет. Даже становясь тишиной, она продолжает жить и звучать...

Я находился в небольшом магазинчике со стеклянной наружной стеной, за которой в обе стороны мелькали прохожие — такие же обитатели местного тюменского курорта, как и я. Продавщица о чём-то энергично рассказывала (вероятно, мне), сопровождая речь показом то одного, то другого товара. Но слух мой неожиданно уловил иную речь — музыкальную — откуда-то снаружи, из-за призывно распахнутой стеклянной двери. Это был диалог скрипки и фортепиано, сцепившихся в вихре танго. Не произнеся ни слова, я покинул магазинчик и направился навстречу звукам неувовимо знакомой мелодии.

1. «Забвение» (англ.).

Где же я это слышал? Когда? В некотором отдалении от барных столиков, за которыми густо расположились слушатели, две женщины средних лет в облегающих концертных платьях завершали исполнение очень знакомой мне музыкальной пьесы на скрипке и цифровом фортепиано. В зале было темновато, Неяркий свет мягко освещал небольшую сцену. Я заторопился сделать пару фотографий на память, не сразу сообразив, что можно снять и на видео. А когда сообразил, музыка, увы, кончилась.

Вздохнул и, опустив голову, направился в свой номер. И тут, в коридоре перехода из одного санаторного корпуса в другой, откуда-то изнутри моей же памяти догнал меня задорный голос уличного конферансье: «Апос! Апос!! Апос!!!»

Вечерний Буэнос-Айрес. Центр города. Пешеходная улица Флорида, освещённая сдвоенной ниткой подвесных ламп на уровне потолка второго этажа и светом магазинных витрин. Небольшой пешеходный перекрёсток. Лысеющий худощавый брюнет в бежевом жилете с красноватым галстуком время от времени что-то быстро говорит в микрофон, а потом снова звучит музыка, и страстная пара исполняет гремящее танго...

Пары меняются. Невозможно в аргентинском климате беспрестанно двигаться в таком темпе. На месте только конферансье — всё тот же неутомимый громкоголосый зазывала-живчик. Он постоянно напоминает публике об аплодисментах. И люди аплодируют, задерживаясь на пару минут поглазеть на уличных артистов. Или проходят мимо, если нет времени. Одну танцевальную пару сменяет другая. Вот вместо джентльмена в строгом чёрном костюме и славной такой пышечки в полупрозрачном платье с разрезом во всю ногу выходит парень в чёрном пиджаке, широких синих брюках и пронзительно белых туфлях под руку с сухощавой долголицей женщиной средних лет. Танцующих дам красавицами-то не назовёшь, обычный мужчина прошёл бы мимо, не заметив ни ту, ни эту, если б они просто стояли или сидели. Но они танцуют танго. И танцуют его так, что глаз не оторвать!

Я вспомнил эту мелодию! Это «Либертанго» Астора Пьяццоллы! И понеслась моя память в далёкую осень 1979 года, под крышу здания с мансардой, стоящего и поныне на одной из линий Васильевского острова в Питере. И жили в этой мансарде двое юношей-студентов — поэт и музыкант. А ещё — хозяин квартиры, девяностопятилетний дедок с ноготок, но с папиросой, помнивший о том, как сапожничал ещё при царе-батюшке. У музыканта было детское лицо с восторженными, влюблёнными в мир, вдохновенными и незащищёнными глазами. А поэтом был я.

Музыкант мечтал скопить очень много денег и приобрести на них какую-то невероятно раритетную гитару для сочинения и исполнения на ней гениальной музыки всех времён и народов. По крайней мере,

он не раз делился этой мечтой с другом-поэтом. При этом лицо музыканта становилось таким неземным и светлым, словно мерцающим изнутри, как лицо юного Астора Пьяццоллы.

А затем судьба разделила друзей на долгие годы, на несколько десятилетий. И лишь во времена сотовых телефонов и сплошной интернетизации земного шара им повезло вновь обнаружить друг друга. За это время произошло много глобальных мировых событий, повлиявших и на их жизни. Исчезла их общая родина — Советский Союз. Поэт, родившийся в Азербайджане, остался в России. А музыкант, родившийся в Казахстане, оказался в Аргентине, где его основным языком жизни стал испанский. Они недолго переписывались и созванивались — поэт полетел к музыканту. И они встретились. В Буэнос-Айресе. Возле гостиницы «Салес».

И пили мы за встречу «ерба мате» двумя бомбиями из одной калекасы. Это такой парагвайский чай — напиток из высушенных и измельчённых листьев падуба парагвайского. Бомбия — особая металлическая или деревянная трубочка с фильтром, через которую пьётся настой. В Аргентине это слово произносят как «бомбижья». Калекаса — традиционный сосуд для приготовления и питья мате, тонизирующего напитка народов Южной Америки. Сосуды выделывались индейцами из древесной тыквы-горлянки. Познакомившиеся с напитком испанцы начали производить калекасы также из других материалов, таких как древесина палисандра, дуба, железного дерева кебрачо, а также из фарфора, керамики и серебра.

И вспоминали мы нашу жизнь, непредсказуемую, как танго. И рассказывали о ней друг другу. У моего музыканта, как и у Астора Пьяццоллы, была в жизни своя судьбоносная Надя, так звали его супругу.

А Пьяццолла вспоминал о своём парижском педагоге Наде Буланже: «Надя научила меня верить в Астора Пьяццоллу, верить, что моя музыка не так плоха, как я думал. Я ведь часто думал, что я — ничто, потому что играю танго в кабаре, однако у меня есть то, что называют стилем. Но это было скорее неким сортом внутренней свободы стыдливого исполнителя танго. Только благодаря Наде я внезапно освободился, и с этого момента я понимал, какую музыку буду играть». Великий Астор написал оперетту «Мария из Буэнос-Айреса» о смерти и воскрешении девушки Марии — духа аргентинского танго нуэво.

Мой друг не разбогател, не приобрёл уникальную гитару и не прославился на весь мир. Прах аргентинской Марии — его юной дочери — покоится на кладбище Реколета в Буэнос-Айресе. Отец помнит о ней и носит туда цветы — «для Маши». У каждого в жизни свои потери. Толчком для создания известнейшей композиции Пьяццоллы «Adios Nonino» стала смерть в октябре 1959 года его отца — Висенте Пьяццоллы. Что такое потерять отца, я понимаю:

Я сегодня речь сказать —
Не большой мудрец:
Этой ночью год назад
Умер мой отец.
Плох он был или хорош —
Не ищу словца:
Миг — и год прошёл, как дождь.
...Год, как нет отца.

А что такое потерять своего ребёнка, потерять дочь — не дай Бог знать никому!..

Пьяццолла всю жизнь играл на бандонеоне. Это такая гармоника с душой виолончели. Великий Астор мечтал о том времени, когда его инструмент бандонеон станет солировать в симфоническом оркестре, а танго, как и вальсы Штрауса, будет признано явлением классической музыки. Его мечты сбылись.

Его гениальнейшим творением считаю «Oblivion» («Забвение») — музыку к кинофильму «Генрих IV». Сам Астор исполнял это произведение на бандонеоне. Но, на мой взгляд, не менее потрясающе оно звучит в исполнении виолончели хорватского музыканта Степана Хаусера.

Почему эта музыка так трогает мою душу? Это очень личное: композитору удалось передать в ней сам дух давно ушедшего времени почти полувековой давности. Это — как воспоминание о том времени, которое никогда уже не вернётся и не повторится. И со смертью его носителя — исчезнет во Вселенной безвозвратно...

Пьяццолле удалось невозможное — сохранить в мелодии и передать слушателям ощущение неуловимости и исчезновения. Когда я услышал это, то впервые почувствовал, что такое «невыносимо»... Это когда в горле такой спазм, что даже от слёз стало бы легче, но они не идут, не идут, не идут...

«Музыка — больше чем женщина: с женщиной можно развестись, а с музыкой — никогда. Женившись на ней однажды, вы уйдёте с ней в могилу», — не раз повторял Пьяццолла друзьям. И это — правда. Мой постаревший аргентинский товарищ с детским выражением глаз остался в душе тем же ребёнком-музыкантом, каким был в давние, не забытые нами обоими семидесятые.

«Вся моя жизнь, — говорил маэстро Астор, — это грустное танго. Вовсе не оттого, что я грущу. Нет, я счастлив, я люблю вкусную еду, хорошее вино — я люблю жить! У моей музыки нет причин быть грустной, но она грустна просто потому, что это танго. В ней есть драма, но нет пессимизма». И мы можем сказать так же о каждом из живущих и живших на Земле. Лишь бы не случилось забвения.

Каждой весной в конце октября — начале ноября весь Буэнос-Айрес, как, впрочем, и вся Аргентина, на два месяца погружается

в сиреневый сон. Это цветёт джакаранда. Улицы, переулки, дороги, проспекты, парки и площади — всё вокруг источает лёгкий запах мёда. Это пахнет джакаранда. Сиреневым туманом её цветов окутаны все пространства — внешние и внутренние, какие только есть вокруг вас.

Джакаранда в Южной Америке — хозяйка у себя дома. И потому здесь ей позволено всё. Здесь это практически культовое растение. Затем начинаются сиреневые дожди, они смывают цветы джакаранды с деревьев и окрашивают в сиреневый цвет всё на земле и воде — газоны и бассейны, фонтаны и дорожки... а когда падают на землю последние цветы джакаранды, на ней начинают распускаться новые молодые листья. И бессмертие жизни продолжается, не переставая, из года в год. Из тысячелетия в тысячелетие...

Аргентинское танго — джакаранда народа этой страны, то, что скрепляет людей в единое. А значит, всё было не напрасно, и забвение не наступит никогда.

Поезд 076

В жизни должно быть что-то не уловленное, не просчитанное заранее, не предусмотренное инструкциями и циркулярами. То, без чего она, честно говоря, и не жизнь...

Лёжа на нижней полке купейного вагона поезда 076, в который погрузился за пять минут до полуночи, он долго благодушно философствовал о смысле жизни. Так и не заметил, как заснул под монотонный перестук колёс... Вот и ночь прошла. Ну что в поезде в наше время может быть особенного? Расписание известно. Остановки лимитированы. Пассажиры исчислены. Проводница на входе в вагон даже билета не спрашивает, у неё все ходы в сотовом записаны: кто и когда сядет, кто и где выйдет. Никакой романтики! Он вздохнул и повернулся на другой бок. Какое-то неудобие при лежании с правой стороны возле паха. Повернулся в другую сторону. Неудобие не исчезло. Встал. Поход в туалет завершился ничем, зато неудобие превратилось в ноющую боль. Второй поход, а затем и третий тоже ни к чему не привели. Боль лишь усилилась и стала отзывать уже по всему низу живота. Лежать по причине боли стало вообще невозможно. С трудом стоя в раскачивающемся под ногами коридоре, он заметил проводницу, занимавшуюся уборкой в другом конце вагона. Знаком поманил её к себе. Она тут же подошла. Показал, где болит и что ему плохо. Обещала помочь. Лежать он больше не мог. Сидеть из-за боли тоже. Стоять — чуть терпимей, но недолго.

Не сразу заметил, что стонет. Вернулась проводница с растерянным начальником поезда. Тот обещал принести свою но-шпу и сообщил, что дежурного врача в поезде нет. Вызов скорой затягивался. До большой станции ехать было примерно три часа. Но всем

столпившимся возле купе, где глухо стонал больной,—пассажирам, проводникам и проводницам, начальнику поезда, да и самому больному,—была понятна бессмысленность слов «три часа», потому что нечто непоправимое случилось бы гораздо раньше этих трёх часов до города с больницами и врачами. Проводницы побежали по вагонам опрашивать пассажиров, есть ли среди них медики. Больной уже не говорил, только стонал. В действительно экзистенциальные моменты жизни человек не в состоянии что-либо произносить или писать.

Начпоезда принёс но-шпу. Пришли три женщины, имевшие, по их словам, отношение к медицине. Одна — врач-педиатр, преподаёт в колледже. Другая — медсестра. Третья — неизвестно кто. Врач дала обезболивающее кетонал, объяснила окружающим, что у больного, скорее всего, почечные колики...

Медсестра постоянно спрашивала о давлении и безуспешно пыталась его измерить. Сухонькая, в интеллигентских очочках, врач держала больного за руку, словно заговаривая боль. И та постепенно начала утихать.

Поезд затормозил у небольшого разъезда. Через минуту в купе протиснулась врач скорой помощи — в соответствующей одежде, с чёрным платком на русоволосой голове. Врач-пассажирка объяснила ей ситуацию. Больному поставили два обезболивающих укола. Вскоре он успокоился, затих и заснул, не заморачиваясь более мыслями о непредсказуемости жизни.

СЕМЬ РОЗ

Однажды на Крайнем Севере, в середине лета, а точнее, в день моего рождения, друзья подарили мне семь высоких голландских роз, как обычно, напичканных химией, для того чтобы им простоять до следующего после продажи дня и умереть, как говорится, «с чувством исполненного долга».

Розы были столь прекрасны, что хотя я и понимал, какая участь ожидает их в ближайшее время, но мысленно всё же взмолился, обращаясь к Тому, Кто может всё, с просьбой продлить жизнь хотя бы на сколько-нибудь семи моим красавицам. И чудо случилось: розы не завяли, а засохли — примерно через неделю, но рядом с засохшими веточками появились новые, более мелкие, с изящными молоденькими листочками. А через месяц все семь роз расцвели снова. На этот раз распустились не семь, а несколько десятков небольших пылающих бутончиков.

Наступила осень. Грянула зима. Но розы продолжали цвести.

Одни бутоны сменялись другими. Наступило время моего отпуска. Время, которое я посвящаю родным и семье. Мне нужно было ехать на юг, чтобы навестить маму. Уезжая, я попросил коллег по работе присматривать за моими розами. Они старались. Но напрасно.

Когда я вернулся, то увидел, что из семи роз живой осталась только одна веточка с единственным ярким бутончиком, а все прочие — умерли... Десять дней и ночей я отчаянно боролся за жизнь своего последнего цветка. Но всё было напрасно. Одинокая розочка умерла, так и не пожелав оставить своих подруг.

Прошло несколько лет, но каждый раз в день своего рождения, едва проснувшись, я невольно бросаю взгляд в сторону пустого подоконника, словно всё ещё надеюсь на чудо...

Эдуард Русаков

Из новых рассказов

ПРОПУСК В РАЙ

— Граждане пассажиры, просьба рассаживаться быстрее! — мелодичным звонким голосом произнесла стюардесса. — Наш самолёт, следующий рейсом Москва — Кырск, взлетает через пять минут! Просьба пристегнуть ремни!

— Перебьёмся, не сорок первый, — буркнул полковник Ткачук, усаживаясь в кресло возле иллюминатора.

— Извините, это моё место, — тронул его за плечо депутат кырского парламента Морозов. — Вот мой билет, можете удостовериться...

— Да ради Бога! — фыркнул полковник Ткачук и пересел на соседнее место. — Не один ли хер...

— Пожалуйста, не надо грубить, — мягко заметил депутат Морозов, и пухлые щёки его окрасились нежным румянцем.

— Да кто грубит?! Тоже мне цаца!.. — побагровел полковник и заиграл желваками.

— В чём дело? — подошла к ним стюардесса. — Что случилось, господа?

— Всё в порядке, — успокоил её депутат. — А не могли бы вы, барышня, принести мне чашечку кофе?

— После того, как взлетим, — улыбнулась стюардесса.

— А мне — сто грамм водочки, — прохрипел полковник. — И закусить.

— Извините, на нашем рейсе спиртного не подают...

— Ни хера себе! Сервис, называется... Ладно, у меня своя есть, — и он достал из заднего кармана брюк фляжку.

— Вы бы хоть дождались, когда взлетим, — с мягким укором заметил депутат Морозов.

— Перебьёшься, не сорок первый, — фыркнул полковник — и глотнул из фляжки. — За удачный полёт!

Депутат усмехнулся, покачал головой, достал из портфеля книгу и углубился в чтение.

— Небось, «Конституцию РФ» читаешь? — хмыкнул полковник. — Или «Уголовный кодекс»?

— Вообще-то мы с вами на брудершафт не пили, — сказал депутат. — А «Уголовный кодекс», скорее, вам бы следовало перечитать... Особенно тот раздел, где речь идёт о коррупции, о злоупотреблении служебным положением и о мошенничестве в особо крупных размерах...

— Чего-о?! — взревел полковник, покрываясь багровыми пятнами. — Да я... да ты... да я тебя...

— Тихо, тихо, товарищ полковник. Не пугайте пассажиров. Вот прилетим в Кырк — и там вас встретят у трапа люди в штатском, посадят в машину — и отвезут куда следует. Там и расскажете обо всех своих тёмных делишках...

— Ты чего несёшь?! Думаешь, твоя депутатская неприкосновенность тебя спасёт? Да я тебе щас...

— Граждане, не шумите, — подошла к ним стюардесса. — Во время полёта следует соблюдать правила этикета...

— Да пошла ты! — рявкнул полковник. — Вы тут все сговорились, что ли? Ну чего ты лыбишься, Колобок? — обратился он к Морозову. — Чего лыбишься? Думаешь, если депутат, тебе можно на офицера бочку катить?

— Тихо, тихо, полковник. Вот прилетим, и вам всё объяснят. А мне очень приятно, что вы меня узнали...

— Как не узнать! По телику всем уже плешь переел! Да и кроме телика...

— А что ещё?

— Забыл, как несколько лет назад, когда я только был назначен военкомом, ты ко мне приходил со своим сыночком — и уговаривал, чтоб я его от армии отмазал?.. Забыл?

— Ну и как? Уговорил я вас тогда? — скривился депутат.

— А то нет! Ты с тех пор мой должник! Так что не прикидывайся тут ангелочком — у самого рыльце в пушку! Помнишь, как денежки мне совал? Неужто забыл?

— Да кто вам поверит!

— А у меня диктофонная запись сохранилась...

— Врёте!

— Зачем мне врать? Я каждый такой случай фиксирую...

— И много их было, таких случаев? — усмехнулся депутат.

— Много, ох много... — и полковник скрипнул зубами. — Так что мы оба с тобой грешны, Колобок... И на допросах я молчать не стану!

— А у меня есть компромат на вашу жену, — сказал, подмигнув, депутат. — О том, как она братьям-китайцам наш сибирский лес продавала...

— А у меня есть компромат на твоего тестя! — перебил его полковник. — Как вы с ним химичили в Южном микрорайоне с недостроенным новостроем...

— Кто вам поверит? — хмыкнул депутат. — В прокуратуре все — мои друзья! И губернатор — мой школьный кореш...

— Ври больше, Колобок, — скривился полковник. — Может, ты и в рай надеешься по блату попасть? Может, тебе апостол Пётр пропуск в рай уже выписал?

— Не кощунствуйте, — остановил его депутат. — Пошутили — и хватит. Вижу, мы оба с вами хороши. Нам бы лучше не ссориться, а найти консенсус, так сказать, общий язык...

— К чему ты клонишь? — напрягся полковник.

— Да шучу я, шучу... Лучше гляньте в иллюминатор: что это там за птички летят?

— Какие ещё, на хер, птички?

— Да вы гляньте, гляньте! — и депутат вдруг перекрестился. — Фу ты, Господи Боже мой... Да это же ангелы!

— Какие, на хер, ангелы?! — взорвался полковник. — Чего ты несёшь?.. И не пил вроде...

— Да гляньте же, ради Христа! — и депутат вжался в спинку своего кресла, давая возможность полковнику дотянуться до иллюминатора. — Стая ангелов — рядом с нашим самолётом!

Полковник, кряхтя, перегнулся через депутата — и увидел летящих ангелов, сопровождающих их лайнер. Голенькие крылатые ребяташки... С ума сойти! Быть такого не может!

Другие пассажиры тоже прильнули к иллюминаторам. Послышались крики, нервный смех. Какая-то дама билась в истерике, кто-то громко молился, кто-то надрывно звал пилота, стюардессы метались по салону, успокаивая пассажиров.

— Что происходит, чёрт возьми?! — орал полковник. — Откуда взялись эти крылатые твари?..

— Граждане, успокойтесь! — дрожащим голосом произнесла стюардесса. — Эти птички... эти неопознанные крылатые объекты не представляют для нас опасности... — и она хихикнула. — Это наши ангелы-хранители!..

Но взгляд её был полон ужаса.

И тут самолёт содрогнулся — один из двигателей заглох.

Стюардесса кинулась в кабину пилотов — и тут же вернулась.

— Просьба всем пристегнуть ремни! — крикнула она. — Возникла непредвиденная аварийная ситуация... наш самолёт вынужден приступить к посадке. Просьба сохранять спокойствие!

— Всё понятно, — прохрипел полковник. — Эти крылатые твари попали в двигатели!.. Молись, депутат!

— Не каркайте, — прошептал бледный слуга народа. — Может, ещё обойдётся...

Не обошлось.

Самолёт разбился, рухнул где-то возле Новосибирска. Все пассажиры и все члены экипажа погибли.

Да, все погибли.

И все, кроме полковника Ткачука и депутата Морозова, попали в рай.

А полковник и депутат пытались дать взятку апостолу Петру, но, как говорится, этот номер у них не прошёл.

Лето 2019

Хромой Джек

Сам я живу в хрущёвской пятиэтажке, а в соседнем дворе до недавнего времени стояли два старых деревянных одноэтажных дома.

И вот в одно прекрасное утро иду я в ближайший магазин подкупить продуктов — и вижу, что оба деревянных дома исчезли... Ещё вчера были — и нету! Снесли, разобрали, и брёвна уже увезли. И жильцов — как ветром сдуло. Мигом переселились. Жалеть некого — всех уж, наверное, расселили в другие дома.

А что это за псина бродит по опустевшему двору? Здоровенная старая овчарка, лохматая, коричневой масти, с рванным ошейником... Раз ошейник — значит, не беспризорная, значит, чья-то! Похоже, её тут оставили, бросили прежние хозяева. Не захотели брать с собой в новую жизнь. А может, забыли — и ещё вернутся, спохватятся, заберут к себе?..

— Привет, бедолага. Как тебя зовут? — спросил я, подходя к собаке. — Да не бойся ты, не обижу...

На ошейнике можно было разобрать имя пса — Джек.

— Здравствуй, Джек, — сказал я, протягивая руку. — А меня зовут дядя Фёдор...

Пёс зарычал, оскалил зубы.

— Что ж ты так? — обиделся я. — С тобой по-хорошему, а ты... Ну, пока!

И я пошёл в магазин. Купил себе хлеба, молока, овощей, яблок. Не забыл и четушечку коньячка. А для Джека купил два пирожка с мясом и несколько бараньих косточек.

На обратном пути увидел Джека там же, во дворе, где ещё вчера стоял дом его хозяев. Пёс лежал в углу у забора и дремал.

— Джек, пора обедать! — позвал я его.

Пёс, прихрамывая, подошёл ко мне. Смотрел недоверчиво.

— Жри косточки, — сказал я. — А потом пирожок на десерт... Да не бойся, не отравлю.

Я положил куснятину рядом с ним и отошёл в сторону. Джек недолго капризничал — и принялся за еду.

— Вот и славно, — сказал я и помахал ему на прощанье рукой. — Приятного аппетита. А потом, глядишь, и хозяева за тобой придут... Пока-пока!

Но хозяева за ним не пришли. Ни к вечеру, ни на следующий день, ни через неделю. Хромой Джек так и маялся в одиночестве, так и слонялся от забора к забору... Но родной двор не покидал!

Каждый день я подкидывал ему еду, а потом заметил, что Джек наловчился рыться в ближайших помойках, в том числе и в моём дворе. Но спать возвращался в свой двор, предпочитая устраиваться в уютном углу возле забора.

На меня Джек больше не рычал, подпускал близко, позволял даже гладить вихрастый затылок, при этом добродушно ворчал.

— Джек хороший, добрый, — бормотал я, лаская его, — Джек очень скучает по своим хозяевам... Ведь правда?

Он вдруг поднял на меня блестящие жёлтые глаза — и мне показалось, что пёс сейчас заплачет.

— Всё образуется, — сказал я. — Всё будет хорошо...

Но Джек отрицательно покачал головой.

Или мне это лишь показалось?..

— Джек, дружище, ты подожди меня здесь, — быстро сказал я. — Я мигом! До магазина — и обратно... Ты жди!

Джек кивнул.

Или это мне тоже лишь померещилось?

Я быстро направился к магазину, купил там еды для себя и Джека, прихватил пол-литровую бутылку коньяка и бутылку воды для Джека.

Но когда я вернулся в тот двор, Джека там не увидел.

— Джек, ты где? — звал я его, оглядываясь по сторонам. — Джек! Джек!

И вдруг я увидел его на проезжей части улицы, прямо посередине. Джек лежал, распластавшись, а мимо него проносились автомобили. Некоторые сигналили, кто-то из водителей кричал, высунувшись в окно:

— А ну пошла отсюда!

Но Джек, не шелохнувшись, лежал посреди мостовой.

И я понял: он решил покончить жизнь самоубийством! Он не смог больше выносить одиночество и бесконечное ожидание своих хозяев. Ведь его любовь к ним оказалась безответной. Зачем жить одному, без любви, без родного дома?..

— Джек, не надо! — закричал я, бросаясь к нему. — Я иду к тебе!

И я чуть не попал под колёса джипа, водитель которого накрыл меня трёхэтажным матом. Но я лишь отмахнулся от него и склонился над Джеком.

— Ты жив? — крикнул я. — У тебя всё в порядке? Джек, ты что — идиот?! Зачем ты разлёгся тут, на дороге? Жить надоело, что ли?

И мне показалось, что Джек — кивнул.

Я схватил его, поднял с асфальта, прижал к себе это лохматое грязное чудовище — и побежал с ним в наш двор, в наш укромный угол возле забора.

Там я сел на обломок трубы, положил Джека на землю — и отдышался.

— Ну, брат, с тобой не соскучишься, — бормотал я, доставая выпивку и закуску. — Больше, пожалуйста, так не делай... Договорились?

И мне опять показалось, что Джек кивнул.

— Вот уж не думал, что собаки способны на суицид, — усмехнулся я, выпив большой глоток коньяка. — Хотя ведь описаны всякие случаи собачьей любви и верности... Этот, как его, ну, японский-то пёс... Хатико! А ещё был верный Руслан... а ещё — Каштанка, Муму, Белый Бим Чёрное ухо... и эта, как её — собака Баскервиль! Ну да, много

было всяких... но чтобы — суицид! Такого я не читал и не слышал! Слышь, Джек? Ты — уникал!

Джек заворчал. Похоже, я ему слегка надоел со своим сентиментальным резонёрством.

— Да ты кушай, кушай, — сказал я.

И Джек не заставил себя долго уговаривать. Мы с ним плотно перекусили, а я не менее плотно выпил... И сам не заметил, как задремал.

Мы с ним оба заснули, прижавшись друг к другу. Я храпел, пёс сопел. Уже стемнело, и поэтому нас никто не заметил, не потревожил наш сладкий сон.

А приснился нам собачий рай, населённый только собаками — суками и кобелями самых разных пород.

Тут были и мои давние знакомые. Например, замечательная дворняга из моего детства — пёс Пират, погибший от рук пацанов, обливших его бензином и ради забавы превративших в живой костёр... Боже, как он тогда визжал от обиды, боли и ужаса! А вот и маленький чёрненький тойтерьер Тузик, побежавший когда-то за мной через улицу и попавший под колёса грузовика... Это я его не уберёг! А вот белый пушистый пекинес Микки, который чем-то отравился (я не уследил — значит, опять же я виноват!) — и всю ночь скулил, мешая мне спать. «Надоел! Чтоб ты сдох!..» — крикнул я спросонья. И он сдох. И это — тоже моя вина.

А тут все они — живые, воскресшие, весёлые, радостные! И Пират, и Тузик, и Микки... и Джек! Хромой Джек тоже здесь, он с ними, он счастлив, и я счастлив оттого, что всё так хорошо закончилось.

А когда я проснулся — пса не было рядом.

И утром он не вернулся.

И больше я его не встречал.

Хромой Джек, ты где?

Отзовись, дружище!

Мне так плохо без тебя... Ты же знаешь, как это плохо, когда остаёшься один...

Пожалуйста, возвращайся.

Я буду ждать.

Лето 2019

ВОЛШЕБНАЯ ПОЛЯНА

Пётр Ильич Крючков недавно осиротел — у него умерла мама, которую он очень любил, и она его очень любила. Ласково называла «мой Петушок». После смерти мамы он ощутил себя совершенно одиноким. Хотя с утра до позднего вечера был окружён людьми.

Со школьных лет Петруша был активистом, энтузиастом, председателем совета отряда, секретарём комсомольской организации, руководителем драматического кружка, редактором стенгазеты. И в университете, на филфаке, он тоже проявил себя креативным деятелем, писал стихи, рассказы, печатался в краевой молодёжной газете. Увлёкся журналистикой, работал в газетах, на радио, на телевидении, потом занялся издательским бизнесом, а в тридцать три года стал депутатом горсовета.

Мама гордилась сыном.

— Мой Петушок далеко пойдёт! — говорила она.

И он старался понравиться маме. Особенно после того, как они с мамой остались вдвоём — после ухода отца, который нашёл молодую жену и уехал в другой город.

— Бог тебя накажет, — сказала ему на прощание мама.

И Бог наказал — отец вскоре умер после двух инфарктов.

А Пётр Ильич так и не женился. В свои сорок пять он выглядел куда моложе, был круглолиц, румян, кучеряв, явно нравился женщинам. Но женщины не нравились ему. Он их, если честно, побаивался. А может быть, семейные ссоры, частые конфликты отца с матерью так травмировали его нежную душу, что Петруша зарёкся жениться и решил всю жизнь прожить вдвоём с мамой. Хотя мама его уговаривала:

— Петушок, когда же ты женишься? Когда порадуешь меня внуками?

Он лишь отшучивался, переводил разговор на другую тему. Например, рассказывал матери о предстоящем приезде в Кыркск президента, о своих депутатских делах, об успехах в бизнесе. Но мама отмахивалась:

— Это всё суета сует, а вот деточки... деточки — это цветы жизни!

Он не спорил, и был даже готов усыновить или удочерить ребёнка из детдома — чтобы сделать маме приятное. Но мама смеялась:

— Не хочу чужого! Хочу, чтоб родное дитя, чтоб твоя кровиночка!...

А однажды они с мамой впервые поссорились — когда Пётр Ильич рассказал ей о строительстве элитного дома на набережной Енисея, на месте снесённого старого здания, где до этого располагался детский дом.

— Как вы могли, депутаты, одобрить этот бесчеловечный проект?! — возмущалась мама. — И кто там теперь будет жить, в этом новом доме?

— Среди прочих хороших людей — мы с тобой, мамочка! — и он обнял её и чмокнул в затылок. — У нас будет квартира с видом на Енисей... На двенадцатом этаже!

— Петушок, ты сошёл с ума, — прошептала мама. — Отнять у детей их дом... Это ж надо было додуматься!

— Детям уже строят новый дом, — попытался он её успокоить. — Никто не будет в обиде.

— Но там идеальное место именно для детдома, — продолжала упорствовать мама. — Свежий воздух, река, прекрасный вид... Эх вы,

депутаты! Слуги народа! Ноги моей не будет в этом вашем доме! И не надейся, Петушок!..

И мама сдержала своё слово. Она осталась жить в старой пяти-этажке, в «двушке», а Пётр Ильич один поселился в шикарной трёх-комнатной квартире с огромным балконом и видом на Енисей. Мама даже на новоселье к нему идти отказалась. А когда он в последний раз пришёл к ней с уговорами — мама встала в позу и трагически-пророческим голосом произнесла:

— Не будет вам счастья в этом доме! Никому не будет счастья!

— И мне? — тихо спросил он.

— Никому, — повторила она.

Он, конечно же, был очень обижен и огорчён её словами. Но зла не держал — и на всякий случай одну из трёх комнат обустроил как бы для мамы. Поставил там для неё кровать, кресло, телевизор, трюмо, на стены повесил фотографии — свои и мамины. А в шкафу развесил купленные для мамы платья, халат, летний плащ и зимний пуховик.

Но мама так ни разу и не пришла в эту новую квартиру. И не присела в своё кресло, не надела халат, не включила новый телевизор. Она продолжала жить в их старой квартире. А он навещал её почти ежедневно, после работы, заезжая на служебном автомобиле. Сам он водительских прав не имел.

— И когда же ты женишься? — с горькой усмешкой спрашивала мама.

— Не знаю, — отвечал он. — Нет пока подходящей невесты.

— Тебе сорок пять, а ты — одинок, — вздыхала мама. — Ох, Петушок... это даже неприлично. А может, ты просто не любишь детей?

— Нет, я очень люблю детей! — горячо возражал он. — Я даже создал благотворительный фонд «Волшебная поляна» — для сирот и для больных детей...

— Вот это хорошо, — улыбалась мама. — Вот это правильно. Дети — цветы жизни... А что, я слышала, в вашем элитном доме недавно кто-то погиб?

— Да, это депутат Заксобрания Черных, — кивнул он. — Упал с балкона.

— Как это — упал? Нечаянно, что ли?

— Не знаю. Может, нечаянно. А может, суицид.

— Вот! Я же говорила! Я предупреждала! — и мама подняла палец и погрозила кому-то этим пальцем. — То ли ещё будет!

И вскоре ещё один жилец нехорошего дома расстался с жизнью — попал под машину прямо во дворе, возле своего подъезда. А потом погибла соседка Петра Ильича — солидная дама из краевой администрации. Её убило молнией во время грозы, когда она вышла на балкон. А потом... А потом...

А потом умерла мама — в своей квартире, во сне, от острой сердечной недостаточности. Так сказали врачи.

И Пётр Ильич остался совсем один. Он старался дольше задерживаться на работе, ходил на разные общественные мероприятия,

на заседания фонда «Волшебная поляна» — и возвращался домой усталый, выжатый как лимон, с единственным желанием быстренько перекусить и лечь спать.

Вот и сегодня он приехал на служебной машине, по пути завернул в магазин «Детский мир», потом отпустил шофёра, поднялся на лифте на свой двенадцатый этаж. В левой руке он нёс портфель с документами, а в правой — большую сумку, набитую игрушками. Это были заводные машинки, говорящие куклы, коробки с конструкторами и прочая детская забавная ерунда. Для игрушек у него был специальный ящик в шкафу. Там же, в другом ящике, лежало женское бельё, и в этом же шкафу висели женские платья и кофточки, предназначенные для любимых женщин, которых у него никогда не было. Почему, почему? По кочану.

Ну а мамины вещи, как уже было сказано, висели в другом шкафу, в другой комнате.

— Видишь, мама, какой у меня везде порядок, — сказал Пётр Ильич, закрывая дверцу шкафа. — Каждой вещи — своё место. Как ты учила, мама.

— Молодец, Петушок, — сказала мама. — Умница. А теперь ступай на балкон...

— Зачем? — удивился он.

— Иди, иди, — сказала мама. — Не спорь.

Он вышел на балкон. Перед ним распахнулся вид на Енисей, на остров, на правобережные горы и скалы.

— Иди, не бойся, — сказала мама.

— Куда идти? — испугался он.

— Сюда, на Волшебную поляну! Иди, Петушок! — и мама выглянула из облака и протянула к нему любящие руки. — Иди же скорее!

И он зажмурился — и встал на перила балкона — и шагнул в пустоту. — Умница, — сказала мама. — Волшебная поляна тебя ждалась...

Апрель 2019

Геннадий Васильев

Мозговая травма

Удар был такой силы, что на полминуты он потерял сознание. А когда очнулся в сточной канаве, сквозь застилающий глаза туман сумел разглядеть уходящую квадратную спину. Замутило: не от боли — от ненависти. Невзначай нащупал под рукой булыжник — и кинулся.

I.

Он был маленький, про таких говорят: метр с кепкой. Не метр, конечно, но невысокий. И неуклюжий: хромал на правую ногу. Всем рассказывал: в четырнадцать лет ехал в поезде один, плацкартный вагон (в каком он мог ещё ехать один в четырнадцать лет?) загорелся, какой-то отважный спасатель из пассажиров сумел выбросить его в окно, сам выскочить не успел... Он сломал ногу, её долго сращивали, в результате — одна короче другой.

И верили.

Все, кроме тех, кто его знал ближе.

Жена Тося не верила никогда. Замуж за него вышла не из сочувствия, как думали подруги, — нет, совсем нет! При всей своей коротконогой хромоногости был он, как ни странно, красив. Тёмные глаза — не то еврейские, не то цыганские. Крутой высокий лоб, гладкие, зачёсанные назад волосы не кучерявились, ни евреем, ни цыганом не отдавали — но глаза!.. Такие, что не влюбиться невозможно.

А ещё он играл на гитаре. Приносил свою, хотя на стене в общежитской комнате висела местная, девчачья, с кокетливым бантиком на грифе. Он на неё косо поглядывал, бормотал: «Мебельная фабрика, Большая Мурта... отходы производства...» — и доставал из самошито́го кривого брезентового чехла свою, ленинградскую. И пел:

В Москве, в отдалённом районе,
Семнадцатый дом от угла,
Красивая девушка Тоня
Согласно прописке жила...

Ему хотелось спеть «Тося», но тогда рифма не выходила, и он злился, что не удался поэтом, не способен заменить слово, чтобы угодить любимой девушке. Была бы Антонина, можно было спеть «Тоня», хоть и звали её Тося. Но была — Анастасия.

Она же, понимая, что он хочет спеть, счастливо улыбалась.

Родителей у неё не было, оба умерли рано, и любое проявление ласки она принимала как милость Божью.

Школа медсестёр, где она училась, и фельдшерское училище, где учился он, находились в одном здании, и общежитие было тоже одно на всех. Только крылья и входы разные, и внутри общежитие делилось на «мальчиков» и «девочек» крупной железной решёткой, ночью запертой. Можно было дать взятку вахтёру — и он, погребев ключами, пропускала к девушке (юноше) в запретную половину. Грозил: «Обратно не успеешь до утра, до смены — сменщик вдвое спросит! Или там останешься». Приходилось соглашаться: или вовремя возвращаться, или платить сверхурочную мзду.

Но и толку от взаимных посещений было немного. Ну многое ли можно сделать с любимой девушкой, когда в комнате — ещё трое-четверо и они тоже кем-то любимы? Как-то выкручивались, и это «как-то» приводило часто к тому, что замуж выходили скорее, чем могли бы и хотели, и не столько по любви, сколько по желанию.

Тося вышла именно так. В какой-то момент прикушенные от страсти губы, сдерживаемые стоны, напоминающие глухие рыдания, стали вовсе невыносимы, а гитарные аккорды начали пронзать и без того беспокойный сон, и она поставила условие: женись или уходи вместе с гитарой. Он выбрал первое.

Так она и вышла — за гитару.

Позже поняла, как сильно ошиблась в выборе.

В его балладу о горящем вагоне перестала верить довольно скоро. Врать он был мастер. Он рассказывал о причине своей коротконогости так навязчиво часто, так при этом просительно заглядывал в глаза, и так отчётливо в этом заглядывании читалась просьба, даже мольба поверить, что поверить было никак нельзя. Через месяц после свадьбы они поехали к его родителям, которых на свадьбе не было. От городка Усмань Липецкой области до сибирской провинции дорога неблизкая и даже в те времена расходов требовала порядочных. Родители жили небогато, большую семью кормили двое его младших братьев, старшая сестра и родительские пенсии. Вот и поехали они уже после свадьбы показаться, познакомиться. И тогда поняла она, что не просто за хроменького замуж выскочила, а ещё и за недотёпу, за олуха. Он не только телеграммой о приезде своём не предупредил, но и потом уже, когда приехали, когда встретили их растерянные родственники, не наказал, о чём рассказывать молодой жене, о чём промолчать. На второй же день утром, когда он сам пошёл за опохмелкой, Тося спросила как бы между прочим: правда ли, что пассажир, выбросивший из окна четырнадцатилетнего пацана, сам-то не успел выпрыгнуть? Мать, с которой они на кухне вместе разгребали посуду из-под вчерашнего встречного веселья, так и застыла с миской в руках. А потом стала смеяться.

— Ох, фантазёр!.. С детства таким был.

Отсмеявшись, рассказала, как было дело:
— С койки свалился. Пьяный. Усмань — что та деревня. Дружок затащил, напоил самогонкой. Напился первый раз в четырнадцать лет — ну и свалился. Так, что ногу сращивать пришлось. И срастили неправильно — ну, вот и хромает.

Тося вздохнула уже с готовностью: «Судьба... хромая...» Хотела сказать ему, когда придёт, что думает, но хватило девичьей мудрости: скажешь — и что потом? Жить-то жизнь, и как он будет тебе в глаза смотреть каждый раз, когда, например, на работе задержится, выпьет с мужиками или с бабой застрянет где-то (и об этом уже она, девушка, думала: ну мужик ведь!), придёт, станет врать и будет точно знать, что ты знаешь: врёт! Как жить-то при этом вместе? Пусть уж лучше... Да и правда — вдруг его судьба наказала вначале за что-то — может, и не за его грехи, — а дальше... Дальше — всё хорошо будет! Она улыбнулась свекрови:

— Да Бог с ним, пусть фантазирует! Мне-то что? Главное, что сегодня мы вот так... вместе... семья будет...

Она стеснялась почему-то говорить слова: «люблю», «любим»...

Свекровь усмехнулась:

— Пусть так, — и, помолчав, добавила как бы самой себе: — «Будет» — значит, нет ещё семьи-то?

И махнула рукой.

2.

Семья всё-таки состоялась. И не вышло бы ничего, может, да сроднило горе. Ребёнок зачался очень скоро. Полубесов холил жену, берёг, как умел, будущего ребёнка... Не уберёг. Девочка родилась больной, с родовой травмой, ночами кричала, и, чтобы как-то уберечься от этого её почти непрерывного крика, укладывали её меж собой в родительскую постель. Так она кричала меньше, сначала теребила титьку, потом просто засыпала.

Однажды Тося проснулась, по привычке обняла дочку... и отдёрнула руку. Сквозь пелёнки ладонь обожглась о смертный холод. Родители заспали девочку. Кто именно повернулся и придавил — неизвестно, да и неважно.

Врачебная экспертиза никакого криминала не нашла, такие случаи с младенцами в возрасте до года бывали раньше и сегодня бывают, хотя и нечасто. Причиной установили «синдром внезапной детской смерти» — диагноз международный, туманный, ничего не объясняющий, но и вполне безопасный для родителей.

Для них — не для совести. Целый год потом Тосе слышался ночами за окном, в палисаднике, крик голодного младенца, пытающегося отыскать мамину грудь. Она вскакивала, подбегала к окошку, распахивала — крик прекращался. Полубесов утешал её, как мог, объяснял: слуховая галлюцинация, вызванная шоком, нет никакого младенца,

никто не кричал... Она ревела, уткнувшись в его плечо — сверху (он был ниже ростом), пыталась что-то сказать и не могла, только ревела...

Через год прошло.

За год стали ближе.

3.

Но ребёнка больше не случилось. Хотя были и жаркие ночи с охами-ахами, но вот не вышло. Ходили по врачебным инстанциям, врачи говорили: причина в нём, в Полубесове. Советовали лечиться, но о результате умалчивали. Они оба, будучи хоть и не врачами, но всё-таки в белых халатах, догадывались: лечиться без всяких гарантий — только тратить деньги зря. В те времена медицина была, конечно, бесплатной, но лекарства и тогда стоили денег, и немалых. И решили: ладно, была попытка, почему-то судьба ли, Бог ли распорядились иначе — что ж, так тому и быть. И сами — хороши, и любим друг друга, и... чего ещё-то?!

Вечерами пели песни под гитару, читали книжки, понемногу выпивали.

Так бы и шло всё чередом, да вмешался случай.

Работали они после окончания школы и училища в разных больницах, на разных специализациях. Он угодил в травматологию, её направили в поликлинику. Она работала от восьми утра до шести вечера, он дежурил — сутки через двое.

И влюбился же!

В ночное дежурство привезли в травматологию девушку. Вывих, в общем, пустячный, но глянул в лицо — сердце куда-то прыгнуло... Понял: вывих — серьёзный. У него. Мозговой вывих. Травма мозговая.

Иван Николаевич сопротивлялся страсти недолго. Сердца у них с девушкой — звали её Ира — прыгнули навстречу друг другу одновременно. Потом, правда, выяснилось, что — не совсем, что два сердца одним не стали... так это — потом. А в тот момент показалось: жизнь или кончилась, или, наоборот, начинается как раз с этого места.

Какое-то время встречались как бы тайком — именно «как бы»: очень быстро весь посёлок узнал о новой страсти доктора. Его звали — «доктор», хотя был он фельдшер, но работал не только в травматологии, но и в поликлинике подрабатывал, и когда вёл приёмы за врача-терапевта, к его кабинету выстраивалась очередь, которой терапевт завидовал. Полубесов был прирождённым диагностом, и почему он не пошёл в институт — все дивились.

Ну вот, тайком встречались, он приходил к Ире, путая для жены график своих дежурств в травматологии... в конце концов сам запутался, пришёл на дежурство в неурочное время, понял: пора сознаваться. Сознаваться, собственно, было уже не в чем: посёлок маленький, врачебные круги хоть и узкие, а расходятся широко, жена узнала обо всём раньше, чем он надумал сказать. Дома ждали два собранных чемодана.

Он посмотрел, оценил. Виногато глянул на жену.
— Тося...
— Молчи. Давай бери — и уходи.
Он ещё помолчал, помялся.
— Я сегодня с дежурства. Может, как обычно, покормишь напоследок?
Тося посмотрела на него почти восторженно:
— Ну ты и скотина... Давай садись.
Положила отварную картошку, мясо, поставила квашеную капусту. Налила рюмку. Себе наливать не стала. Он понял, выпил, закусил капустой. Стал есть мясо с картошкой и вдруг выдал:
— Знаешь, а Ира в жареное мясо ещё чесночок добавляет...
Договорить и доесть ему не пришлось. Тося молча взяла тарелку и разбила о голову Полубесова. Тарелка лопнула пополам. Тося посмотрела — и добила остатки. Окаменевший супруг сидел, не двигаясь, пока она бинтовала ему голову. Надела шляпу — он тогда носил пижонскую шляпу, как называется — не знал, но всем говорил: канотье. Шляпа едва налезла на забинтованную голову. Сказала:
— Убирайся к своей шлюхе! Чтобы я тебя больше не видела!
Он что-то ещё хотел сказать, она опередила:
— Гитару на голову надеть? После за ней придёшь, сейчас чемоданы неси.

И, хлопнув, закрыла двери на крючок. Жили они в четырёхквартирном доме для медиков, в маленькой квартирке с проходной кухней, печкой и комнатой, посреди которой красовался деревянный люк, закрывавший лаз в подпол.

Тося, проводив мужа, поплакала всласть.

4.

В посёлке был филиал института, который располагался в областном городе. Ира училась на биолога. С его точки зрения, профессия бессмысленная, жизнью не востребованная. Иван Николаевич ей об этом не говорил, щадил, хотя был в своём представлении уверен.

Квартира у неё была от родителей: оба рано умерли, а две комнаты и кухня в старом, деревянной постройки, доме — это добро досталось ей. Они сидели рядом в длинной, непропорционально вытянутой кухне, пили красное вино, радовались будущему. Чемоданы стояли рядом, не разобранные.

— Давай хоть чемоданы разберём, что ли? — весело предложил он.
— А надо? — её зелёные глаза смеялись, в то же время было в них что-то настораживающее.

Но он этого не видел, видел только, что она смеялась над ним.
— Что ж я — с не разобранными чемоданами у тебя жить буду? — удивился он.
— А ты будешь у меня жить?

Он расширил грудь, чтобы обидеться. Она засмеялась, обняла его.
— Ладно, ладно, шучу! Сейчас шкафчик освобожу, давай разбирать.

Ирина, даром что студентка, была настолько же прагматична, насколько — с виду — проста. С начала совместной жизни она поставила условие, соблюдения которого требовала потом неукоснительно:

— Давай договоримся: живём мы вместе, но жизнь у каждого своя.

— Это как? — удивился Иван Николаевич. — Как же можно жить вместе раздельной жизнью?

— Очень просто: у тебя — свои интересы, у меня — свои. У тебя — свои друзья, у меня — своя компания друзей-подруг.

— А общих интересов, что же, и быть не может?

— Могут. Но мне комфортнее, если даже общие интересы мы будем реализовывать порознь.

Она говорила серьёзно, и «реализовывать» прозвучало даже не казённо, а как-то для неё естественно. Добавила мягко:

— Мне так комфортнее будет, понимаешь? Может, со временем что-то изменится, но пока — вот так.

Выбора не было.

Стали жить.

За гитарой к Тосе он так и не зашёл. Всё откладывал, откладывал — и не зашёл. Неясно, чего боялся. Да ничего не боялся, а просто... Ну, не пошёл. Не смог. И придумал этому оправдание: жизнь началась другая, не похожая на прежнюю, и не надо из той, прежней, жизни ничего с собой тащить. Вся она уложилась в два чемодана — и ладно. И хватит. Прежняя музыка отыграла, песни отпелись. Теперь — другая музыка, другие песни.

На работе о его уходе от жены узнали сразу. Публично не обсуждали, сочувственно и понимающе заглядывать в глаза не старались, и ему даже досадно стало, что он такой непубличный, никому не интересный, даже сплетни на нём экономят. Раз как-то услышал разговор в сестринской. Одна говорила:

— Я понять только не могу: сам-то ведь... ну, не зря зовут — метр с кепкой, — чем он её купил? Она ж в полтора раза его моложе, да больше чем в полтора! Парней мало неженатых? Этот мелкий, хромой, без перспектив...

Другая задумчиво отвечала:

— Чем купил, не знаю, а вот перспективы свои он укрепил. Ну, жил в казённой квартире с женой, с ребёнком вон что вышло, теперь уж ей и рожать поздновато. А он зато нынче — при молодой жене и при её квартире, частной, не казённой. Может, и детьми обзаведутся, получится. Что, что хромой? Остальное на месте.

Дальше слушать он не стал; не заглядывая, негромко сказал в приоткрытую дверь:

— Двери закрывать надо!

И прошёл мимо. Больше ничего о себе не слышал.

Ира, как и обещала, жила своей собственной жизнью. Уходила на учёбу к восьми утра. Красилась, напевая песенку, чмокала его в щёчку. — Люблю тебя! — говорила.

А вечером возвращалась не сразу. И он не сразу это заметил. Увлечён был новой жизнью, новой, как думал, судьбой. Всё-таки заметил.

Он в этот день не дежурил. Приготовил ужин, сел ждать. Листал машинально что-то — не то книгу, не то альбом — и ждал, когда зашуршит в замке ключ или запоёт звонок. Не дождался и забеспокоился. Время не то чтобы позднее, но с занятий Ирина должна была прийти ещё пару часов назад. Звонить было некуда, и он стал метаться по комнате. Вспомнил, что когда-то в юности курил, — пожалел, что не курит теперь. И впервые пожалел, что не забрал у Тоси гитару. Сидел бы, перебирал струны, жить не так противно и ждать — короче.

Ирина пришла. С порога чмокнула в губы:

— Прости, задержалась!

Пахло от неё снегом... и вином. Он отстранился.

— Где ж ты была, что от тебя вином пахнет?

— Одноклассницу встретила, в кафе посидели.

Врала, и он знал, что врёт, и она понимала, что он знает. Он вздохнул:

— Ладно. Давай ужинать. Я пока тебя ждал, не ел.

— И я — голодная, как волк! — сказала и осеклась.

Он иронически прищурился:

— В кафе не кормили? Санитарный день?

Она надулась.

Ужинали молча. Он внимательно смотрел на неё, она взгляда избегала. После ужина молча вымыла посуду, пошумела краном и душем в ванной, вышла в ночнушке, улеглась, отвернувшись к стенке. Он тронул плечо:

— Ира...

Она дернулась:

— Ну?

— Ира, что происходит? Мы всего несколько месяцев вместе, но такое впечатление, что уже... — он не закончил, замялся.

Она повернулась:

— Ну, что уже?

Вздохнула, привстала на кровати, поправила подушку. Он молчал, мялся рядом. Сел наконец. Не на кровать — на стул. Она внимательно смотрела. Потом сказала медленно, так детям делают внушение за недостойное поведение:

— Ваня, дорогой, мы же с тобой с первого дня условились: живём каждый своей жизнью. Мы можем вместе ходить в кино или театр, можем гулять... иногда. Но со своими друзьями и подругами я встречаюсь без тебя. Я не намерена тебя с ними знакомить. И причин объяснять не

хочу: не буду знакомить — и всё. Это моя часть жизни, я ею дорожу и тебя в неё впускать не стану. Хочешь — живи со мной так, не хочешь...

Она замолчала.

Он осторожно спросил:

— «Не хочешь» — дальше?

Ира вздохнула.

— Дальше — сам закончишь и додумаешь. Спокойной ночи.

Она отвернулась. Вдруг повернулась снова:

— Если ты меня подозреваешь в измене, поспрашивай посёлок. Он всегда всё знает. Мы с тобой в фокусе, — Ира вдруг нехорошо засмеялась. — Посёлок до сих пор твоё предательство обсуждает. И осуждает.

Она опять отвернулась к стене: разговор окончен.

Слово «предательство» его обожгло. Он вскочил, рывком повернул её:

— Предательство? Так я, по-твоему, предатель? Ты, значит, меня как предателя приняла?

Ему захотелось её ударить. Она это поняла, побледнела, спокойно смотрела на него. Он медлил. Она опять внушительно не сказала — произнесла:

— Ты, если хочешь меня ударить, сначала чемоданы собери.

Он отпустил её плечо, криво улыбнулся, оделся, вышел на улицу.

Медленный пушистый снег садился на лицо, плавился, стекал по щекам. Казалось — слёзы. Но слёз не было. И злости, и обиды не было. Была пустота. Он ходил по темноватым улочкам, казалось — думал, на самом деле — пустота царила и в голове. Мыслей не было. Ни мыслей, ни желаний. Одно желание, впрочем, было: напиться. Но стоял уже поздний вечер, в посёлке в это время не работало ничего, даже единственное кафе. Не покупать же отраву у спекулянтов? Да он и не знал — где, в какое окно стучаться...

Постучался. И в первом же попавшемся ему за гроши продали мутный вонючий самогон. Он бродил допоздна, периодически отпивая из бутылки, что-то бормотал про себя, смеялся и плакал. Остатки, когда уж совсем на дне плескалось, всё-таки выкинул в сугроб. Как вернулся домой — не помнил. Но ещё хватило сил: осторожно разделся, лёг на старом продавленном диване в другой комнате. Провалился.

А утром Ира разбудила его поцелуем. Она села на край дивана, стала гладить его по голове, по лицу, по рукам. Дала какие-то таблетки: — Их разжевать надо, съешь, это янтарная кислота. Она помогает от... вчерашнего.

Он не сдержался:

— Из практики, из личного опыта знаешь?

Она не обиделась, усмехнулась:

— Нет. Из курса биохимии.

Он съел кислые таблетки, откинулся. Голова не болела, но сознание оставалось мутным, да и внутри было нехорошо. Давно он такой дряни не пил.

Ира медленно и ласково гладила его, смотрела сочувственно:
— Бедный мой...

Стала ласкать, вызывая желание.

...Он по-настоящему очнулся, только когда всё кончилось. Застонал мучительно:

— Что ж ты делаешь?..

Она засмеялась почти беззаботно:

— Дурачок ты, Ваня, дурачок, хоть и старше меня! Ну неужели ты и впрямь думаешь, что я стану гулять от тебя? Я правда была с другой, правда-правда!

И — через поцелуй, долгий, жаркий:

— А за «предателя» прости меня, пожалуйста. Я ведь только с виду такая — весёлая да беззаботная. Я же слышу разговоры — и в институте нашем, и на улице взгляды ловлю. Я ж не дура совсем. Думаешь, мне так уж легко?

Она всхлипнула. И такая жалось к ней охватила его! Он прижал её, стал целовать волосы, глаза, губы:

— Девочка моя, девочка! Прости меня! Ну прости...

Не знал, что ещё сказать.

Расстались они в то утро особенно нежно. Долго глядели в глаза друг другу, долго друг друга не отпускали. «Так расстанутся навсегда», — мысль мелькнула, но он её прогнал.

Ирина ушла на учёбу.

У него было ночное дежурство.

6.

Тося освоилась со своим новым положением — не так скоро, как хотелось, но привыкла. Приходить в пустую, одинокую квартиру, самой себе готовить ужин и завтрак (обедала в больничной столовой) — привыкла. Приучилась не замечать на кабинете терапевта временную табличку «Сегодня принимает доктор Полубесов» и очереди перед кабинетом. Привыкла видеть на работе сочувственные взгляды, хотя разговоры на эту тему пресекала.

Однажды главный врач поликлиники попросил её остаться после утренней пятиминутки. Это был высокий пожилой человек, степенный, чем-то напоминавший профессора Преображенского не из книги — из фильма. В отличие от Преображенского, носил всё-таки очки, не пенсне. И ещё отличие: был не совсем лыс, вокруг головы нимбом кучерявилось серебро, особенно завиваясь над ушами. Он встал из-за стола, подошёл к Тосе, сел рядом. Заговорил; голос — густой театральный бас:

— Анастасия, я знаю, у вас неприятности.

Она отреагировала сразу:

— Сергей Мефодьевич, давайте не будем говорить о моих, как вы их назвали, неприятностях. Я не очень люблю обсуждать их публично.

Он усмехнулся:

— Ну, я — не публика...

Тося спохватилась:

— Простите, не хотела обидеть. Я действительно не очень хочу об этом говорить.

Он кивнул:

— Хорошо, говорить не будем. Думал помочь. Естественное желание нормального руководителя, — и вдруг рассмеялся как-то по-детски: — А вот чем помочь — не знаю, хоть убейте! В должности вас повысить не могу, вы хороший специалист, прекрасная сестра, но образование медицинское — только среднее, и номенклатурная линейка не позволяет. Но я вот что могу: если захотите, я могу помочь вам поступить в медицинский институт. Правда, я при этом лишусь ценного сотрудника... зато подниму свой рейтинг в собственных глазах.

Он снова засмеялся, и она поддалась — засмеялась вместе с ним. Потом сказала сочувственно:

— Сергей Мефодьевич, у меня же возраст уже... не институтский. Не возьмут. Ещё на заочное — куда ни шло, так ведь в мединституте заочного не бывает.

Он изумлённо посмотрел на неё:

— Какой же возраст, смею спросить?

Тося сказала. Главврач снял очки, смущённо покрутил их.

— Простите, думал — значительно меньше. Что ж — да, боюсь, не получится...

Он был так огорчён, что теперь уже ей хотелось его утешать.

Сергей Мефодьевич встряхнулся, снова надел очки. Опять коротко засмеялся.

— Знаете, мы, старые люди, многому не хотим верить, даже тому, что знаем наверняка. Ладно, помочь вам и правда ничем не могу. Тогда... тогда хотя бы просто рассчитывайте на меня, если что. Вот! Приезжайте ко мне на дачу.

— Зима же, Сергей Мефодьевич...

— Так нет — вы летом приезжайте! Мы с супругой там вдвоём, у нас много всякого — приезжайте, угостим, чайку выпьем, а то и наливочки — я их сам делаю. Приезжайте, Анастасия... Кстати, всё время забываю ваше отчество.

Тося вышла от главного. Ей стало хорошо и легко, и только слёзы подступали — к глазам, не к горлу. Лёгкие слёзы, не горькие. Она легко отработала смену, шла домой, напевая.

И даже пустой дом в этот вечер не казался ей пустым. Она подумала: «Отпустило наконец. Спасибо старику».

Впервые за несколько месяцев взяла в руки книгу. Попалась ей, правда, «Анна Каренина». Что ж, пора и чужому горю посочувствовать.

Полубесов шагал на смену. Шёл мягкий снег, пушистый, как котёнок, которого они с Ириной решили завести, но пока не завели. Ветра не было совсем, лёгкий морозец даже не бодрил — так, сопровождал, напоминал, что — зима. Полубесов шёл, подпрыгивая, — так он ходил, когда очень торопился. А сегодня он торопился.

Ирина пришла из института рано — и немедленно соблазнила его, как утром. Ласкались долго и страстно, пока она сама не спохватилась: — Тебе же на дежурство!

И вот теперь он почти бежал.

Свежий снег уже успел засыпать тротуар, его ещё не почистили. Да и кто станет вечером чистить снег в посёлке? Иван Николаевич шёл по едва приметной, уже протоптанной тропинке, шёл — и напевал, и улыбался. Кажется, всё в жизни выправлялось, выходило на правильный маршрут.

Навстречу показалась фигура. Вообще, посёлок в это время уже почти замирал, прохожие были редки, но случались. Случился и этот. Фигура нетрезво покачивалась. Человек был не просто выше Ивана Николаевича — он возвышался над ним горой. Гора остановилась перед Полубесовым, мешая пройти.

— Куда идёшь, мужик? — пьяно спросил встречный.

— На работу спешу. Дайте пройти, пожалуйста, — Иван Николаевич непроизвольно продолжал улыбаться.

— А чего лыбишься-то?

— Да как-то... хорошо всё! — и он снова улыбнулся.

— Жизнь, значит, удалась? — мужик спросил и задумался.

Иван Николаевич нетерпеливо ждал и оглядывал встречного. Тот был одет в дублёнку, мохнатую шапку, высокие зимние сапоги с опушкой сверху. Руки при этом были голы, без перчаток и рукавиц.

— Так вы мне пройти-то дайте! Я на дежурство опаздываю.

Мужик вздохнул:

— А вот у меня жизнь что-то не получилась. Ни жены, ни семьи, только баба, да и та чужая.

Полубесов снова нетерпеливо переступил.

— Ну, бывает. Дайте пройти всё-таки.

Тот снова вздохнул глубоко, как всхлипнул.

— Дам, конечно, дам... Значит, каждому своё... *Jedem*, значит, *das Seine*...

И вдруг без всякого замаха он огромным кулаком накрыл физиономию Полубесова. От сильного удара тот отправился в канаву, тянувшуюся вдоль тротуара, и на полминуты отключился. А когда очнулся, ощутил под рукой булыжник. Ненависть захлестнула сознание. Он вынул из сугроба булыжник — и кинулся вслед уходящей покачивающейся фигуре. Тот шёл медленно, продолжал что-то бормотать. Полубесов обрушил булыжник на затылок. Мужик упал сразу, как

будто ждал и очень хотел нападения сзади. Иван Николаевич бросил булыжник в сугроб, стряхнул с себя снег. Обошёл лежащую фигуру. Ему не было ни стыдно, ни страшно.

В травматологии ночная сестра смотрела на него с возрастающим любопытством. Он подошёл к зеркалу в туалете. Оба глаза заплывали лиловыми подушками, в которых утопал нос. Он отыскал в крошечной кухне, в морозилке, лёд, приложил... Не станешь же держать его всю ночь? Вернулся в приёмный покой. Сестра любопытства не скрывала: — И дрался он, аки лев... Иван Николаевич, что приключилось? Кто это вас?

Он досадно отмахнулся:

— Нина, не приставайте. Шёл, упал...

— ...Очнулся — гипс, — иронически передразнила она. — Колитесь уже: кто и за что?

Он молча вышел, улёгся в коридоре на кушетку для посетителей. И заснул почти сразу.

Под утро Нина его разбудила, растолкала:

— Иван Николаевич, больного привезли. Черепно-мозговая травма плюс обморожение. Обморожение уже сделала — вроде не опасно, мороз несильный; скорее всего, отделается волдырями и слезшей кожей. А с травмой надо утром решать: куда его, в какую больницу, к нам в посёлке или дальше, в область, везти? Пока просто обработала края и забинтовала. Но что-то нужно уже сейчас определить — может, поставить что-то.

Он с трудом проснулся, вертел головой очумело. Очнулся.

— В сознании?

— Да нет, даже не бредит. Хорошенько его треснули. Тело. Но живой.

Полубесов стряхнул сон, поднялся.

— Сейчас, водой себя сбрызну.

Умылся.

— Пошли.

Это странно, но в посёлке — единственном месте в области — в травматологическом отделении была палата для круглосуточных больных. Кто её придумал и зачем построил — не важно. Важно — была. И в этой палате лежал сейчас единственный больной. Он лежал на спине, дышал ровно, и выпивкой, ещё не принявшей статус перегара, от него несло за версту. Иван Николаевич обернулся:

— Нина, так он же пьян!

Нина пожала плечами:

— Какого привезли...

— Я к тому — он поэтому не приходит в себя. Спит просто. Пьяным сном.

Нина снова пожала плечами:

— Ничего делать не нужно?

Полубесов подумал, сказал:

— Сейчас я ему давление померю, температуру, сердце проверю. В общем, посмотрю. Вы пока не нужны.

Сестра вышла. Он достал стетоскоп, тонометр, градусник. Осторожно сдвинул с больного простыню, взглянул на лицо — и замер, едва не уронив градусник. На кровати лежал тот мужик, которого он приложил булжником. Иван Николаевич едва не свистнул. «Вот судьба! Ну, что делать?.. По крайней мере, жив».

Все показатели оказались в пределах допустимого для такой травмы, летальным исходом ничто не грозило, а глубину и степень мозговой травмы пусть уж специалисты оценивают. Он уже собрал инструменты, встал — пациент застонал, зашевелился и открыл глаза. Некоторое время смотрел на Полубесова. И вдруг почти засмеялся:

— Ты?

— Ну я, — а что еще он мог ответить?

— Так ты доктор? Это же ты меня приложил?

— Ну я-то тебе, положим, ответил. А вот ты меня за что?

— А на пути моём встал... скотина... — пациент откинулся на подушку, всё-таки силы были ещё не те, что на улице.

Полубесов разом потерял сочувствие. Сложил инструменты, вздохнул.

— Кто бóльшая скотина — я или ты, не важно. Ты мне — я тебе. Завтра отправим башку твою шить в другое место — больше тебя не увижу, надеюсь.

И вышел из палаты.

Досыпал он на той же кушетке.

Утром сначала была пятиминутка, потом он передавал единственного больного сменщику. Стоял десятый час утра. Они вошли в палату — и замерли. На постели травмированного мужика сидела Ирина, целовала его пальцы. Щёки влажно блестели. Она беспомощно взглянула на Полубесова.

Он хотел плюнуть — сдержался. Спросил только:

— Скажи: кто это?

Она всхлипнула:

— Это мой преподаватель, доцент... Я на занятия пришла — его нет, и я...

Дальше он слушать не стал. Насухую сплюнул, кивнул сменщику, сказал:

— Сам разберись.

Дома собрал чемоданы.

Была суббота, и Тося не работала. Он позвонил в двери. Она открыла, не удивившись. Молча пропустила, посмотрела на чемоданы. — Уезжаешь? Проститься зашёл?

Он сел, снял шляпу.

— Нет, Тося. Жизнь хочу повернуть обратно.

Она помолчала.

— Думаешь, получится?

— Надеюсь.

Подумал.

— Я теперь умный стал.

Она усмехнулась:

— Маловато времени прошло, чтобы поумнеть. Уверен?

Он пожал плечами:

— Пришёл же. Вернулся.

Тося шагнула по комнате, остановилась.

— Ладно, проходи, посмотрим. По крайней мере, я тебя накормлю, ты ж с дежурства.

Он молча удивился тому, что она до сих пор помнила график его дежурств. От этого на сердце потеплело.

Тося накрыла: картошка, мясо, капуста... Рюмочка. Он выпил — один, Тося не стала. Закусил. Жена молча смотрела на него, без выражения, даже без любопытства. Он отложил вилку.

— Не хочется есть, когда ты вот так смотришь.

Она пожала плечами:

— Ты хотел, чтобы я тебя в объятия приняла сразу? Дай хоть привыкнуть к тому, что вообще тебя вижу... здесь.

Он налил себе ещё. Быстро пьянел — сказались ночь и то, что было накануне.

Она наконец спросила:

— Что за морда у тебя, Полубесов? Кто тебя так обработал? За что?

Он спохватился — вот повод рассказать обо всём, покаяться. И рассказал. И покаялся. Тося сочувственно кивала. Потом вздохнула, провела по его волосам:

— Бедный ты, бедный... Как же ты один тут будешь жить?

Он вскинулся:

— То есть? Что значит — один?

— То и значит. Я сегодня уезжаю. К родителям твоим еду. Своих-то нет, а твои — родней тебя.

Полубесов заулыбался:

— Погостить?

Тося внимательно посмотрела на него.

— Нет, Ваня. Жить там стану. Место работы мне нашли в санатории. Старшей сестрой. Наш главный нашёл. Жаль ему, что хорошую медсестру теряет, но моё будущее ему дороже. Так-то, Ваня. Не заметил? Вон чемоданчик стоит собранный. Он помельче твоего, да мне много и не надо.

Иван Николаевич растерялся.

— Как же так, Тося?... Я ведь вернулся, думал — всё будет хорошо.

— А ты и дальше так думай, Ваня. Если надумаешь — сам ко мне приедешь. Нет — будешь здесь жить... в своё удовольствие. Череп

битые бинтовать, обморожения лечить. Квартира-то у нас общая, казённая, тебя из неё не выгонят.

Полубесов машинально налил ещё рюмку. Мысли уже начинали путаться. Он не знал, что надо говорить.

—Ты не мучайся. Ты сейчас поспи, уеду я вечером только. Перед отъездом и поговорим ещё.

Она постелила постель, он послушно разделся и лёг. Уснул сразу.

А проснувшись, Тосю уже не нашёл. Нашёл на столе записку. Подошёл, наклонился, стал читать...

Она ушла, не поверив его рассказу о странном происшествии с мозговой травмой. Она ему высказала в записке всё, с самого начала,— о его кривой ноге и прочем.

Он остался стоять.

Плакал впервые в жизни.

24 июля 2019

Светлана Корнюхина

Солнцеворот

*Мы все «карандаши» в этой жизни: каждый рисует свою судьбу.
Просто кто-то ломается, кто-то тупит, а кто-то затачивается
и движется вперёд...*

Автор неизвестен

Первый день летнего солнцестояния для бизнесмена Алексея Горбунова не задался сразу. Будильник в нужный час не сработал, и Алексей по-детски безмятежно проспал лишние два часа. Представил себе, что теперь непременно опоздает на совещание с финансовой группой, не успеет ознакомиться с «горящей» документацией к художественному совету. А причиной всему — дружеская вечеринка накануне по случаю его, Алексея, дня рождения в самую короткую ночь небес. Это была его ночь. Погуляли... Вот и расплата. Уж он-то по жизни знает: пришёл солнцеворот, спрятал луч за шиворот, всё пошло наоборот, шиворот-навыворот. Алексей обречённо отзвонился секретарше и перенёс все дела на послеобеденное время. Пораздумав, решил не отменять привычную утреннюю пробежку в сосновом бору. Как-то надо было взбодриться, упорядочить состояние духа, чтобы легко переделать всё запланированное на этот самый долгий летний день.

Однако спортивная вылазка сразу подбросить бодрости не смогла. Просто не успела. Пользующаяся большой популярностью среди новосёлов тропа здоровья была в это утро, как назло, перекрыта полосатой ленточкой, машинами полиции и скорой помощи. Слышно было, как несколько бегунов, любителей скандинавской ходьбы, собачников разных мастей что-то взволнованно обсуждали, активно помогая следствию найти признаки криминала. Зря, что ли, вызвали в такую рань?

— Да он даже не споткнулся, неожиданно так понёс...

— Да что вы говорите? Я сам слышал громкий хлопок. Будто петарда взорвалась.

— Ну кому надо взрывать петарду в семь утра?

— Видела я, видела, как ваш бульдог кинулся на коня.

— Мой бульдог не мог, он на поводке...

— Ага, что не помешало ему испугать лошадку. Вот она и взбрыкнула.

Горбунов, за неимением времени, мог бы запросто обогнуть место происшествия: мало ли несчастных случаев? Разберутся...

Но почему-то ноги сами понесли к полосатому квадрату. Сердце ёкнуло и сбилось с ритма при виде лежащего без сознания сельского парнишки. «Матвей!»

Алексей изредка встречал его на тропе, красиво и уверенно гарцующего на рыжем жеребце. Ширина тропы позволяла, ибо раньше была сельской дорогой, по которой могли спокойно разъехаться два автомобиля. Но как только микрорайон заселили, жители сразу поняли, какое сокровище в виде бора досталось им в наследство. И пока чья-то жадная рука не добралась до него, активисты пошли по инстанциям, обросли нужными документами городских и районных властей и объявили сосновый бор заповедной зоной. Потому и Горбунов, подбирая для себя холостяцкую квартирку, год назад положил глаз на уютный спальный микрорайон в объятиях могучего соснового бора. Чем не идиллия?

С Матвеем они шапочно познакомились по весне, когда Алексей, впервые увидев мускулистого красавца-коня под седлом подростка, остолбенел:

— Ого! Дончак! Откуда здесь, в Сибири, такое чудо?

Не удержался, дурашливо обежал вокруг наездника, восхищённо вскинул руки в приветствии, погладил-похлопал пружинистый круп и побежал рядом.

— Это подарок! — с гордостью ответил Матвей. — Мой отец — потомок казака Калашникова. Про атамана Платова слышали?

— Как же! Двести лет назад его конница рубила французов и в Париж вошла вот на таких дончаках.

— Вот-вот. Самая выносливая порода! А нынче в поход тем же маршрутом пригласили пройти потомков тех казаков. Вот отцу и привалило счастье.

— Донской казак — и в Сибири... Это как?

— Так раскулачили прадеда. Колесом репрессий, так сказать, да по подкове казачьего счастья...

— А тебя Матвеем не в честь атамана Платова назвали?

— В его. Дедова прихоть. У нас как говорят: казак ещё не рóдится, а именем обзаводится...

Слушал Алексей казачка, а сам уже прикидывал, как бы это ему выкроить время да побывать в именитой казачьей семье. Не помещает, коль уж решился на такой грандиозный проект...

И потом, в другие дни, всякий раз при встрече они на ходу кивали друг другу, иногда останавливались, разговаривали. Благо было о чём. Не возражал и третьяк Смага. Так звали жеребца-трёхлетку, что в переводе означало «пламень», «огонь», который очень любил закреплять приятное знакомство сладким кусочком сахара...

— Что с Матвеем? — крикнул издали Алексей. — Он жив?

— Жив, жив... — ответил немолодой фельдшер-криминалист, осматривавший парнишку. — И переломов, похоже, никаких. Но лёгкое сотрясение мозга, видимо, себе нарысачил.

— Вы знаете его? — тут же вскинул голову от бумаг оперативник в звании капитана и направился к Алексею, на другую сторону квадрата.

Ещё не остывший от бега жеребец понуро стоял возле подростка и пытался лизнуть его в лицо.

— Да уведите кто-нибудь этого Буцефала! Невозможно работать! — возмутился медик и громко хлопнул крышкой дежурного чемоданчика.

Оперативник по пути хотел было взять коня под уздцы, но тот резко мотнул гривой и рванулся в сторону. Капитан, хоть и был не робкого десятка, отскочил, ругаясь на чём свет стоит, и на вторую попытку не решился. А конь, недобро зыряка по сторонам, снова упрямо потянулся к своему юному наезднику. Фельдшеру ничего не оставалось, как только погрузить пострадавшего в машину и включить сирену. На что беспокойный конь снова отреагировал несогласием: встал на дыбы и возмущённо заржал. Ещё минута — и он рванул бы вслед скорой.

Но в этот момент Алексей уже был рядом с дончаком, нежно гладил холку, заглядывал в глаза, что-то ласково говорил. И конь, признав знакомого, успокоился, начал тыкать тёплыми губами в карман куртки, почуяв сахар. Алексей улыбнулся, с удовольствием угостил Смагу и жестом: мол, всё в порядке, — успокоил всех остальных. Полиция, заручившись обещанием вернуть коня хозяевам, быстро смотала «поясок» и тоже благополучно отъехала.

Конь и его новый знакомый грустно посмотрели вслед «летучему дозору» и тихо побрели в глубь соснового бора по тропе, что терялась в конце зелёного массива в старинном селе с небольшой белой церквушкой.

— А что делать? — оправдывался перед фыркающим конём Алексей. — Думаешь, мне легко? Ладно — тебя привести, а как сообщить о несчастье? — шумно вздохнул и снова посетовал на свою судьбу: — Ох уж мне этот солнцеворот! Угораздило же родиться...

Смага по ходу слушал, виновато «косил зелёным глазом», согласно прядал ушами и покорно шёл знакомым маршрутом, предпочитая думать о чём-то своём, лошадином...

Дорога сделала небольшой поворот, и вдруг яркий солнечный луч прорвал гущину сосновых верхушек. словно в ответ на последние слова провожатого грубо резанул по глазам, крутанулся огнём-солнцеворотом где-то внутри хрусталика и выплеснул на миг смутный мираж из давнего прошлого: посреди холодной степи на остывших углях костра лежит тело спящего подростка. Старый жилистый конь, отбившийся от табуна, склонился над ним, лижет лицо, а из печального глаза бывшего лихого скакуна медленно катится огромная

слеза. Мальчишка едва поднимает слипшиеся веки и, увидев слёзную дорожку, бегущую к мокрой лошадиной губе, подставляет свою худенькую ладошку:

— Не плачь, хороший. Я — живой. Только совсем без сил.

Конь фыркает, понимающе мотает тяжёлой от утреннего тумана гривой. Чуть потоптавшись, ложится рядом и смирно ждёт. И мальчишка вдруг понимает: тот предлагает ему свою помощь. Собрав последние силы, сам пытается повернуться на бок и, обняв коня, с трудом переваливается на его спину. Конь натужно упирается в землю передними копытами, рывком подтягивает задние, разворачивается и осторожно несёт снова впавшего в забытье подростка к людскому жилью...

«Поскрёбыш! Господи, как же давно это было...— Алексей даже остановился, поражённый видением и его неожиданным сходством с сегодняшним происшествием.— Просто дежавю какое-то...» Смага, наоборот, не убавил шага и привычно продолжал идти вперёд. Алексей очнулся от рывка поводьев и поспешил подладиться под размеренный ход жеребца. Но настырный зайчик солнцеворота снова лукавым чёртиком запрыгал меж сосен, резвился и слепил глаза, размывая картинку настоящего, а тугие копыта жеребца, будучи с ним заодно, глухо отстукивали годы куда-то назад, в прошлое. И теперь не он, Алексей, тянул поводья, а они тащили его в то неуютное, до обидного суровое отрочество...

...Счастливое пионерское детство кончилось для таких пацанов, как он, с распадом великой державы. Бывший колхоз-миллионер, где жили и работали его родители: отец — агрономом, мать — бухгалтером, — нищал и трещал по швам под натиском ветров перемен до той поры, пока все мало-мальски плодородные и доходные земли не растащили по кускам новые хозяева, а жалкие остатки непригодных для земледелия участков остались сиротливо ждать своей участи. Видимо, их время ещё не пришло. Оставался невостребованным и старый конный двор с пятнадцатью клячами...

Когда-то племенные жеребцы, гордость колхоза, радовали глаз лучшего председателя в округе Пахома Еремеевича Сердюка, ибо славились породой и славили колхоз далеко за его пределами. Да и сам Еремеич уважал одну лошадиную силу больше, чем сотню в любой машине. Бывало, наматается на представительском «газике» по районным кабинетам, намается, если вдруг заглохнет мотор или проколется шина, доберётся кое-как обратно и напрямиком на конюшню. Полюбуется в леваде на выездку, успокоится, оседлает своего Гнедого — и ищи ветра в поле! Рысачит Еремеич по колхозным полям, овощным плантациям да скотным дворам до самого последнего закатного луча. И не надсадно было — рядом живая,

мудрая, безропотная лошадиная душа. А тем, кто подтрунивал над его пристрастием, Еремеич назидательно цитировал Лермонтова:

Золото купит четыре жены,
Конь же лихой не имеет цены:
Он и от вихря в степи не отстанет,
Он не изменит, он не обманет...

Спешившись, попросит взмыленный Еремеич у коня прощения, поцелует благодарно усталую морду, сдаст конюху с наказом почистить на копытах стрелки и пойдёт до дому, мыча под нос:

— Распрягайте, хлопцы, коней да лягайте почивать.

И не ведал, не гадал председатель, что однажды эту песню пропойт ему самому и отправят на пенсию, чтобы не мешал кому надо делить пай да растаскивать колхозное добро. А сквозняки времени быстро и надёжно заметут в дальние углы, как мусор прошлого, былую славу и заслуги «героя труда» и его скакунов. Опустошат дом, оставив бездетным вдовцом, и вытрусят душу, развеяв последние надежды на будущее. Образцовый конный двор опустеет, зачахнет и станет убыточным. Иноходцев пустят кого на продажу, кого под залог. Животина похуже статью, поседее гривой — пойдёт в золотари да водовозы в соседние сёла. Сердце кровью обливалось у старого, жить не хотелось, просыпаться по утрам боялся...

А тут ещё и так почерневший от горя Еремеич узнаёт, что и последних пятнадцать лошадок, которые выручали сельчан в тяжёлых трудах, вот-вот сдадут на мясо. Не сдержался, плюнул на попранную гордость, вывернул свои тощие карманы, прошёлся со шляпой по родне да бывшим друзьям, собрал деньги «за Христа ради» и выкупил горемычных вместе с ветхой конюшней. Когда хмурый, не на шутку разгневанный старик пропал на два дня, умные, давно ручные и родные лошадки будто почувствовали беду, заволновались, закопытили в денниках. Успокоились только тогда, когда возле решёток замаячило добродушное морщинистое лицо Еремеича, а под гулками сводами конюшни снова зазвучал знакомый хриплый говорок:

— Ничего, ничего. Ещё поживём, родимые. Помирать, так вместе.

И благодарные животные всё норовили лизнуть протянутую руку...

Было время, сюда, в «детский сад» конного двора, поиграть с жеребёнком Стёпкой, что любил кусать за палец да смешно взбрыкивать козлёнком, прибегал и Алёшка Горбунов, прозванный Еремеичем Коньком-Горбунком. Не только из-за фамилии. Переболев в нежном возрасте жутким бронхитом, малец не перестал сутулиться, то и дело горбился, хотя кашель уже не донимал его так сильно, как прежде. Еремеич пообещал родителям справиться и с этой бедой, как только посадит Алёшку в седло. И сдержал слово. Ежедневной тренировкой мальчишка выправил осанку, а прозвище как прилипло с малолетства,

так и осталось. Осталась и привычка помогать Еремеичу в уходе за лошадьми, за что тот уважительно называл его «заместителем по хозяйственной части». И вот однажды...

— Глянь-ка, Конёк-Горбунёк, кого это нам дедушка Гнедой везёт? — подслеповато прищурился на дорогу Еремеич. — Сдаётся мне, не с нашего подворья «гостинец»...

Еремеич воткнул вилы в копёшку сена, которое переваливал со двора в угол конюшни, отряхнул ладони и, снова прищурив глаз, по мере приближения Гнедого прикинул вслух:

— Одежка — рваньё казённое, в золе да углях. Обутки — не по асфальту хожены, «каши» просят. Сума через плечо — в половину роста, как у нищего с погоста. Похоже, беглец. Уж жив ли?

Алёшка принял коня и, боясь прикоснуться к незнакомцу, заглянул снизу в чумазое лицо. Увидев, как дрогнули закрытые веки, отскочил в сторону:

— Кажись, живой. И не зэк вовсе. Пацан, чуть старше меня.

— Тогда не робей, подсоби отнести его на копёшку. А там видно будет...

К полудню парнишка более-менее оклемался, потому как «наелся, напился и спать завалился» в пахучее сено с такой блаженной улыбкой, что никто не посмел его потревожить лишними расспросами. Услышали только тихий ответ на самый первый вопрос, как звать-величать:

— Поскрёбыш...

Еремеич и Алёшка переглянулись.

— Стрёмно как-то... — не понял Алёшка.

Еремеич пожал плечами:

— Да пусть себе дрыхнет. Потом расскажет. Шибко слабый ещё. Глянь, как исхудали телеса. Точно с концлагеря...

Безмятежный сон подростка прервали первые капли дождя из набежавшей к обеду шальной тучки. Открыв глаза, он первым делом схватился за суму и прижал к груди, потом тяжело поднялся и побрёл в конюшню, где Еремеич и Алёшка чистили кормушки.

— Благодарствуйте, люди добрые, за приют и помощь, — смиренно поклонился и слегка стушевался. — Извиняйте, что беспокойство причинил. Я долго не задержусь, сегодня же дальше пойду.

Еремеич удивлённо поднял брови и кивнул:

— Вот. Учись, Алёшка. Ишь как благородно глаголет заморыш! — вздохнув, положил скребок в ведро и развёл руками. — И куда же вы, ваше благородие, изволите податься в таком виде? Неужто замарашкой на бал-машкерад? Так вроде не девица, не Золушка. Хотя весь в золе. Ах да. Поскрёбыш. Тоже ничего. Сойдёт.

Парень смутился окончательно и потупил взгляд от растерянности. А Еремеич не унимался, подливал яду:

— А благодаря не нас, а Гнедого. Уж не обессудь, поклонись спасителю.

Улыбка исчезла с лица Алёшки, когда он увидел, что Поскрёбыш всё принял всерьёз, повернулся к деннику Гнедого, поклонился коню низко в пояс и затянул монотонно:

— Легенда гласит, что Господь, сотворив лошадь, сказал ей: «С тобой не сравнится ни одно животное. Ты будешь топтать моих врагов и возить моих друзей. С твоей спины будут произносить мне молитвы. Ты будешь счастлива на всей земле, и тебя будут ценить дороже всех существ, потому что тебе будет принадлежать любовь властелина земли».

— Точно блаженный... — оторопел Еремеич. — Но истину говорит, — и, махнув Алёшке, сказал как отрезал: — Никуда он не пойдёт. Веди его в мою хату: отмоем, оденем, подлечим...

Через неделю Поскрёбыша было не узнать. Правда, длинные волнистые светло-русые кудри он не дал стричь. Перехватил на лбу узкой повязкой, чтоб не мешали, и стал походить не то на купца Афанасия Никитина, что за три моря ходил, не то на странствующего монаха или художника-иконописца. Оказалось, и звали его тоже подобающе — Ерофей Пахомов. Старик от удовольствия аж зацокал языком: — Я — Пахом, а ты Пахомов. Какая-никакая родня.

Обидное и неприличное прозвище «Поскрёбыш» Еремеич тут же велел похоронить и называть пришельца просто Ерошкой.

Как-то после вечернего чая раскрыл Ерошка свою таинственную суму, достал альбом с рисунками и ласково погладил чистый лист. Нашарил на дне огрызок карандаша, чуть задумался и принялся уверенно шоркать по листу, оживляя белое поле обычным грифелем в необычные картинки. Рисовал и рассказывал. Рассказывал и рисовал...

— ...Почему Поскрёбыш? Да был последним ребёнком в многодетной семье. Прозывали так незлобиво, даже с радостью. Уж очень несладко жилось. Лишний рот, да не дворянский род... Мать верующей была: сколько Бог давал, столько рожала. А на мне Божий промысел и закончился. Но недолго радовались в семье. Как-то по зиме пошёл отец в тайгу белку да соболя добыть. И не заметил, как на него вышел медведь-шатун. Выстрелить, видать, не успел, а сила уже была не та. Задрал хозяин тайги нашего... По весне, как принесли останки, мать в горячке слегла, да так и не поднялась больше. Девять сирот осталось. Правда, старшие уже жили отдельно. Двоих средненьких забрала тётка в соседний посёлок, где была десятилетка. Остальных сход решил отдать в детский дом. Как услышал я про это, не стал дожидаться, сразу сбежал. Думал, доберусь до Москвы, подамся в монастырь, где иконописью занимаются, обучусь и буду служить Богу и Божьему искусству. Чувствовал, стезя у меня такая и мечта заветная... Потом понял, что искать будут в первую очередь на дорогах и на вокзалах. Вот и подался сначала в тайгу. Отсидеться пока. Вроде и тропы знаю, и займки поблизости. С отцом не раз в тайге ночевал.

А тут заплутал малость. Еда кончилась. Только ягоды да шишки. Ещё дожди зарядили, и ночи похолодали. А у меня ни тёплой одёжи, ни сменной обуви. Вот и подпростыл. Пропаду, думаю, ни за что ни про что. Сотворил молитву и побрёл по солнцу обратно к людям. Наконец расступился последний лесок, и я увидел дальние крыши прилепившихся к отрогам домов. Блеснуло солнечными осколками распластавшееся у подножия села сонное озеро. Благодать-то какая! Сесть бы на камушек — да рисовать, рисовать... Какое там! Только узрел озеро, жажда так и перехлестнула сухью в горле. А ещё гляжу, совсем рядом на пустом берегу чуть дымитесь, нехотя умирая, брошенный костерок. Пахнуло-повеяло забытым теплом и запахом жареного хлеба. Мне стало дурно. Я продрог и оголодал настолько, что не мог больше терпеть, еле добрёл до костерка, повалился на тёплые угли и забылся. Очнулся от ощущения, что кто-то лижет мне лицо. Открыл глаза — морда коня. И слеза. Вот такая...

Поскрёбыш показал рисунок. На Еремеича и Алёшку смотрел грустный лошадиный глаз, нарисованный во весь лист. А из него катилась огромная горячая слеза. Оба опешили — столько тоски и печали было в лошадином взгляде...

— Впечатляет? — довольно, но без заносчивости хмыкнул Поскрёбыш. — Я не рисую просто пейзажи, просто людей или животных. Я рисую чувства, эмоции, состояние. Вот смотрите... — он достал из сумы картонную папку с рисунками и начал раскладывать их прямо на полу. — Потому и названия даю особые. Не «Зима», а «Белый сон». Не «Весна», а «Пробуждение». Не «Горный исток», а «Песня свободы» или «Смеющийся ручей», — он положил рядом последний эскиз и твёрдо, но благодарно произнёс: — Так что и этот рисунок я назову не «Лошадиный глаз», а «Сострадание». Гнедой жизнь мне спас из сострадания...

— Здорово! А этот назовёшь «Семья»? — сыграло разбуженное воображение Алёшки.

Он взял в руки рисунок, где Ерошка изобразил большое поле, двух замерших на миг коней, бережно сложивших головы друг другу на холки, и маленького жеребёнка у них в ногах.

— Неплохо, — кивнул Ерофей, — но простовато. Я бы назвал...

— «Любовь»... — тихо выдохнул Еремеич, опередив юнца. — Вижу, Ерошка, Бог дал тебе большой дар. И художником, верю, ты станешь. Стержень в тебе есть, характер крепкий. У нас как говорят? «Подкова держится на гвозде, лошадь держится на подкове, на лошади держится всадник, на всаднике держится крепость, на крепости держится государство». Вот такая, брат, державная вертикаль жизни. И ты держись...

Больше Алексей Ерошку не видел. И память о нём постепенно стёрлась, как стирается со временем слабый карандашный набросок.

Самого его перестроечная жизнь тоже выдернула из родного гнезда. Закрутила, завертела, хорошо «прополоскала» и всё же выплеснула упрянца на берег того бизнеса, в какой он так хотел попасть. Потому что никогда не забывал Еремеича и после его смерти поклялся, что построит в бывшем колхозе конноспортивный комплекс в его честь. Жаль только, на похороны не успел. За границей был, опыта набирался. Очень уж хотел осилить такой проект, какого ещё в России не было...

...С пригорка, на котором обрывался бор и начинался пологий песчаный склон, Алексею открылась сочная панорама небольшого села, с мозаикой разноцветных крыш и радужно цветущих палисадников, скрытых местами лёгкими шлепками и лохмотьями утреннего тумана, упорно цепляющегося за кусты и заборы.

«Благодать-то какая! Сесть бы на камушек — да рисовать, рисовать...» — припомнил он Ерошкины слова, поймав себя на мысли, что смотрит на сельскую пастораль глазами Ерофея, подыскивая картинке подходящее название. Выдохнул пару-тройку «подписей», похвалил себя за игру воображения и тронул коня дальше. И сразу всё, что раздражало его с момента утреннего пробуждения, осталось за спиной, за плотной стеной соснового бора. И мысли обрели ясность, а душа лёгкость.

Спасибо солнцевороту...

— Срочно свяжитесь с третьей горбольницей. Выясните состояние Матвея Калашникова. Сразу доложить.

Горбунов, всегда спокойный и приветливый, пулей пролетел мимо секретарши в свой кабинет. Через минуту его строгий голос уже звучал по спикеру:

— Татьяна Сергеевна, список участников конкурса готов?

— Да. Вчера приняли последнюю заявку. Серая папка слева у вас на столе, — уточнила исполнительная секретарша и добавила: — Художественный совет через пятнадцать минут.

— Я помню, — буркнул в ответ Горбунов и отключил связь.

— И я помню, что вчера ещё была Танюшей... — тихо вздохнула и поджала перламутровые губки обладательница секретарского места и веских женских достоинств. — Алло! Больница?..

Горбунов механически прочёл список конкурсантов. Но нужной фамилии не нашёл. Бегло просмотрел присланные на конкурс эскизы. Не то. Всё не то. Захлопнул папку, встал и замаячил по кабинету, нервно теребя в руке простой карандаш, заточенный с двух сторон. Вот с чего он вдруг решил, что Ерофей Пахомов будет непременно участвовать в конкурсе? Да, участникам ставилась конкретная задача по оформлению музея коневодства. Да, называлось имя Еремеича, памяти которого строился комплекс. Но не факт, что Ерофей видел или слышал рекламу. Уж жив ли вообще?

Алексей не заметил, как с досады сломал карандаш пополам. Удивлённо посмотрел на две половинки, ухмыльнулся: «Одна, остро заточенная на бизнес,— это я. Другая, ещё острее заточенная на искусство,— это Ерошка. Чувствую, жив Поскрёбыш, жив, грифельная душа». Он осторожно положил обе половинки рядом. «Нас не ломаешь...»

В дверь постучали. Вошла секретарша с чашкой и официально доложила:

— Матвей пришёл в себя. Его жизни ничего не угрожает. А вот моей...

— И что же угрожает вашей бесценной жизни, несравненная Татьяна Сергеевна? — наконец-то улыбнулся шеф, принимая кофе. — Кто посмел?

— Да там, в приёмной, какой-то ненормальный пытался прорваться в ваш кабинет. Пришлось вызвать охрану. Мы ведь уже не принимаем заявки на конкурс? Правильно? А они всё идут и идут...

Алексей побледнел и поставил чашку на стол:

— Фамилия!

— Кого? Охранника?

— Посетителя. Правильная вы наша...

— Я и не спрашивала. Ни к чему мне, — она подёрнула крепдешиновым плечиком. — Вон их сколько ходит, — и свысока посмотрела на собственные ногти, будто все эти «ходоки» могли нечаянно испортить ей маникюр.

Горбунов, еле сдерживая себя, процедил сквозь зубы:

— Вернуть немедленно!

И, не дожидаясь, когда секретарша лебёдушкой выплывет из кабинета, бросился к дверям сам и бегом пустился вниз по лестнице. С ним почтённо здоровались идущие не спеша на совещание члены худсовета, но ответов не получали и останавливались в недоумении с вопросом: «А что случилось?»

— А ничего не случилось! — уже на улице безнадёжно развёл он руками.

Оглядевшись и убедившись, что никого похожего на Ерофея ни среди прохожих, ни на ближайшей парковке нет, добавил:

— А как хотелось бы!

— Господь слышит наши желания и даёт терпение идти к ним.

Горбунов обернулся и увидел высокого мужчину в тёмном одеянии, с большой сумой через плечо, смиренно сидящего на скамейке у входа в офис. А серые пронзительные глаза лукаво смеялись из-под русых кудрей.

— Здравствуй, Алёша.

— Ерофей!

Пока Ерофей раскладывал на столе эскизы, Горбунов отменил потерявший актуальность худсовет и велел с утра явиться на строительную

площадку авторам проекта, замам по финансовым и общим вопросам. Попросил секретаршу никого не пускать и, сгорая от нетерпения, присоединился к Ерофею. Это был их день. И ночь впереди тоже их. Столько надо сказать друг другу, столько вспомнить...

— Уж прости великодушно, я по старинке, на бумаге, — оправдывался тот. — Поздно узнал про конкурс. Некогда было с компьютером возиться. Вот и привёз сам. Благо недалеко...

— Пустое, — отмахнулся Алексей и взял в руки первые эскизы. — Это, как я понимаю, оформление музея.

— Да, общая концепция, тематические экспозиции...

— Кое-что придётся добавить. Я сегодня утром случайно побывал в казачьей семье. Там такая родословная! Обидно, потомки знатных казаков живут где не могут, работают где попало. Вот я и подумал, что проект надо доработать, включить строительство настоящей казачьей станицы, с настоящими куренями. Там будут жить вместе казачьи семьи, а казаки работать — кто в коневодстве, кто в охране комплекса, кто в культурной сфере. Казачий хор, казачьи обряды, конные состязания. Кстати, все казаки — верующие. Значит, церковь нужна. А кто распишет, как не ты? Да мало ли ещё чего? Ну да об этом потом. Что по Еремеичу?

— Триптих «Верность».

— Что?

— Триптих. Складень такой из трёх резных панелей, трёх картин, объединённых общей идеей. Обычно вертикальных. Но ваша музейная стена вертикальна сама по себе, и я предлагаю горизонтальный вариант триптиха. Смотри. По центру...

Алексей перевёл взгляд на эскизы и замер. Он почувствовал, как на голове зашевелились волосы. На него смотрел безумный лошадиный глаз, в прозрачном хрусталике которого отражался гроб. Его несли люди в чёрном. Такие же чёрные человеческие тени — в каждой слезе, что скорбно текла вниз, образуя траурную процессию. А вокруг гроба ровным шагом шли понурые лошади, словно делая прощальный круг почёта своему хозяину...

— Что это, Ерофей?

— Похороны Еремеича. Я был там. Это невероятно, но когда Еремеича понесли на погост, откуда ни возьмись появились его спасённые когда-то лошади. Склонив головы, фыркая, они отрезали людей от гроба, окружили его и шли цугом до самого кладбища. Стону людскому не было описания, но горю животины тем паче. Перед воротами они замешкались, остановились и стояли, мотая гривами, прощались, пока не прошли все провожающие. Воистину велика сила верности и преданности Божьих тварей...

Ерофей вздохнул и перекрестился, увидев как нарисованная лошадиная слеза расплывается и оживает, слившись с человеческой...

Леонид Кудрявцев

Три фантастических рассказа

КВЕСТ

По базару шёл странно одетый человек. На нём был фрак с протёртыми до дыр локтями и новенькие джинсы. Болотные сапоги у него на ногах покрывал толстый слой грязи сочного фиолетового цвета.

Остановившись возле лотка с овощами, чудака проговорил:

— Я робот из будущего. В нашем времени все увлечены виртуальной игрой «Глобал историк». В ней смоделирована жизнь людей минувших веков, быт наших создателей. Хорошему игроку следует много знать о прошлом и уметь действовать в сложных обстоятельствах. Немногие добираются до высшего, восьмидесятого уровня. А я стою на его пороге, и мне остаётся лишь выполнить главный квест. Он единственный делается не в онлайн, а в реальном мире. Из всех возможных вариантов я выбрал связанный с вашим временем.

Рыжеволосая торговка глядела на болотники. Всё никак не могла сообразить, где посреди засушливого лета можно найти столько грязи.

— Вы поняли полученную от меня информацию? — поинтересовался странный человек.

— Конечно.

— Вам походит моё предложение? Оно взаимовыгодное.

Торговка пожала плечами и крикнула:

— Миша, иди сюда! Глянь, какое чудо в перьях притопало!

От соседнего лотка подошёл дюжий охранник и поинтересовался:

— Буйствуем, значит?

Робот вытащил из кармана джинсов толстый бумажник, вынул из него несколько купюр и молча сунул стражу порядка. Забрав деньги, Миша немедленно утратил всякий интерес к происходящему у лотка и удалился.

— Тебе чего, собственно? — спросила торговка.

Манипуляции с бумажником её сильно заинтересовали.

— Для выполнения квеста мне следует купить на рынке килограмм яблок, — объяснил робот. — Учтите, главное условие — точность. Возможные колебания веса — два грамма в плюс или минус. А оплатить покупку надо копейка в копейку. Понимаете?

— Придирчивые нынче клиенты пошли... Значит, килограмм?

— У меня только одна попытка, — сообщил робот. — Вторая для меня невозможна, поскольку путешествия во времени требуют

большого расхода энергетических ресурсов. Осознаёте? Провалив задание, я впаду в депрессию. Вероятно, меня даже придётся пересобрать.

— Так будешь покупать?

— Сначала следует обеспечить условия выполнения квеста. Всё необходимо выверить до мелочей.

— Это как?

Робот провёл рукой над лотком. Лежавшие на нём фрукты и овощи на мгновение приобрели оранжевую ауру.

— Вот, — довольно сказал он, — на товаре с вашего лотка больше нет и пылинки. Чистый вес.

— Ты что сделал? — грозно спросила торговка.

— Понимаю. Мои манипуляции плохо скажутся на вашем бизнесе. Я готов оплатить потери, прибавив к ним и компенсацию за возможный моральный ущерб от общения со мной.

Робот вновь достал бумажник, вынул из него десяток купюр и отдал их торговке.

— Хм, — сказала та, внимательно осмотрев деньги. — Так что надо?

Ещё одно движение руки — и стоявшие на лотке весы ненадолго обзавелись салатного цвета аурой.

— Очередной этап подготовки, — объяснил робот. — Они были сбиты на пятьдесят четыре грамма, а теперь показывают точный вес. Не пугайтесь, через полчаса этот прибор измерения перенастроится привычным вам образом.

— Да что ты себе позволяешь?

— И последнее, — заявил робот. — Вы должны беспрекословно выполнять все мои указания. Вот вам дополнительная плата за понятливость.

Он выдал очередную порцию купюр.

— Чего делать-то? Объясни.

— Нужно взвесить килограмм яблок, подобрать фрукты с точностью до грамма. Вот эти мне нравятся больше.

Покупатель показал пальцем на ящик, стоявший на краю лотка.

Тихо хмыкнув, женщина взялась за работу. Минут через пятнадцать весы показали ровно килограмм, тютелька в тютельку.

— Отлично, — воскликнул робот. — Теперь вы обязаны взять с меня за них плату. Назовите её.

Сумма была озвучена.

— Неправильно. Вы ошиблись на пятнадцать рублей сорок копеек.

— Ох, извини, — торговка смутилась. — Я машинально.

— Назовите ещё раз, правильно.

В этот раз всё сошлось.

Отсчитав деньги в пухлую, покрытую веснушками ладонь, робот вытащил прямо из воздуха прозрачный пакет и осторожно переложил в него купленное.

— Чудо! — воскликнул он. — Наконец-то я завершил этот квест! Осталось только вернуться домой и доложить о выполнении. Здравствуй, восьмидесятый уровень!

— Это всё? — поинтересовалась продавщица.

— Да, конечно!

— Тогда... хм... прекрати покупателей отпугивать. Мотай отсюда.

— Поскольку нам не разрешено переноситься во времени при свидетелях, — сообщил гость из будущего, — я отправляюсь искать для этого подходящее место. Прощайте, любезная!

Весело насвистывая, он двинулся прочь. Глядя ему вслед, торговавшая за соседним лотком мёдом толстуха сказала:

— Интересный мужчина этот робот. И деньги есть. Жаль, больной на всю голову.

— Точно, — откликнулась рыжеволосая. — В первый раз вижу человека, который говорит о яблоках, а покупает персики.

ПРИКЛЮЧЕНЕЦ

— А если события становятся банальными, неинтересными?

— Тогда за работу берусь я.

— А как вы определяете...

Договорить журналистка не успела. Церемониймейстер с плотническим метром в руке зычным голосом объявил:

— Сказочный приключенец — к его величеству!

Грянули трубы. Стражники взяли на караул. Журналистка рванула из сумочки фотоаппарат.

А приключенец уже шёл к двери. Он чувствовал, как в груди у него словно бы концентрируется неприятный холод страха.

Это унижительно, решил он. Ведь ему много раз приходилось совершать предосудительные поступки, и ничего он при этом не боялся. Даже в самый первый раз. А вот сейчас, чинно вышагивая к двери в тронный зал, оробел. Скверно-то как...

Ему вспомнилось лицо Иванушки-дурачка номер 38. Видел он его мельком, со всех ног удирая прочь. Лицо человека, купившего за большие деньги заговорённую и чертовски дорогую стрелу, улетающую в сторону от заветного болота. Для этого хватило лишь слегка толкнуть его руку, когда он спускал тетиву.

Имело ли значение тогда, что кричал ему обманутый в своих ожиданиях жених? Вопли погнавшихся за приключенцем по его приказанию холопов? Собственное дыхание, рвущееся из груди? Всё заслонил момент выбора, наполненный адреналином, превративший его в человека, способного умышленно причинить вред ближнему. Во имя неожиданного развития сюжета. А иначе их мир станет писателям неинтересен, захиреет, а потом и вовсе перестанет существовать. То есть фактически, толкнув Иванушку под руку, он спас целый мир от уничтожения.

Дверь распахнулась, и открылся длинный, ведущий к тронному залу коридор. И опять охранники с протазанами, автоматами и транслюкаторами в руках. Поспешно уступающие дорогу лакеи, дама в кружевах и водолазном шлеме, стайка пажей в тигровых шкурах и на ходулях, крупный бобёр в цилиндре, при монокле и с дымящейся сигарой в лапе. Сменяющие друг друга, словно соперничающие, запахи ладана, сирени, свежего кофе и доносящаяся откуда-то сверху лёгкая, можно сказать — задумчивая, музыка.

Он шёл, осторожно ступая по роскошному ковру, как и положено по дворцовому этикету, вышитому крупными буквами алфавита, обильно засыпанному обрезками киноплёнки.

Орден благословения великого бога-автора! Самая почётная награда в мире. Он видел её несколько раз, но даже представить не мог, что когда-нибудь получит. Честно говоря, в это не верилось до сих пор.

Ему, человеку, с таким количеством преступлений на совести, за спиной у которого тридцать пять лет усердного служения злу. Не обязательно каждый раз, но чаще всего ему. А как иначе придать сюжету занимательность, сделать его острым и захватывающим, кроме как устроить главному герою большую пакость?

Какую? К примеру, угнать из-под носа у Золушки-56 тыкву-карету, тем самым лишив её возможности попасть на бал. К чему это привело? Месяц спустя мачеха и её дочери погибли в неожиданно вспыхнувшем пожаре. Осматривавшие сгоревший дом констебли объявили Золушку поджигательницей. Это не понравилось жителям деревни, в которой всё происходило. Они восстали, и волнения охватили всю страну прекрасного принца-56. Тот столкнулся с Золушкой во время штурма своего замка. Схватка на шпагах закончилась тем, что принц получил шикарный шрам во всю щёку и влюбился, как мальчишка. Явно не без взаимности, поскольку прекрасная предводительница восставших спасла его из горящего замка. И исчезла, потеряв ботфорт...

Если пользоваться простой арифметикой, то он, приключенец, в очередной раз спас мир, но не на его ли совести тысячи погибших в той войне? И никуда от этого не денешься. Так же как и от завершения истории с тремя поросятами, которым на свою беду помог Синдбад-мореход. Так же как и от зрелища Карлсона-42 уходящего зигзагами от цепочки разрывов зенитных пушек в цепких лучах прожекторов.

Сотни и сотни подобных историй хранились в его памяти. Чего только стоит год, когда его откомандировали в Карибское море, к пиратам, на инспекцию сюжетов разбоя. А была и эпопея, начавшаяся с так некстати полученного вампума вождя могикан.

Тридцать пять лет!

Приключенец невольно вздохнул. И тут же шагнул в сторону, чтобы обогнуть парочку, одетую весьма легко. Забыв обо всём, они стояли, обнявшись, не в силах оторвать друг от друга глаз.

Вот у кого не жизнь, а малина, подумал он, так это у приключенцев любовных романов. Без лишней суеты знай себе устраивай препятствия на пути влюблённых. И никакой излишней жестокости. Спокойная, почтенная работа. Ни малейших угрызений совести, поскольку парочка неизбежно встретится и соединится. А тут... Да, сказки бывают очень добрыми, но частенько в них кровящицы просто по колено, а уж головы отрубленные катятся, словно шары в боулинге.

Даже приключенцам от фантастики — и то легче. У них жертв и трагедий хватает выше крыши, но там... как бы это сказать?... и кровь, и преступления какие-то ненастоящие, что ли. Да и трудно переживать гибель легионов зеленокожих чудовищ, нежити, мутантов. А вот если умирают люди из сказок, совесть тотчас просыпается и делает стойку.

Может, стоило скрыть свой дар, когда он только ещё проявился? Однако откуда приключенец мог знать, чем это обернётся? И легко было поддаваться соблазну похвастать увиденной желтоватой аурой, проявляющейся вокруг людей или каких-то предметов. Тотчас нашлись специалисты, объяснившие ему смысл происходящего. А потом его научили, что все средства хороши, поскольку наказания не последует. Наоборот, учёные-счётчики сделают необходимые вычисления, их коллеги — профессиональные редукторы и реакторы — нанесут полученные цифры на глобальную карту и поместят в генеральные таблицы, сообщат, насколько от твоих поступков повысилась популярность мира, в котором живёшь, насколько увеличились шансы его дальнейшего существования.

— Мы за тебя! Мы верили, что ты удостоишься!

Приключенец хмыкнул.

Группа поддержки. Небольшая, но очень представительная. Карабас-Барабас, оскаливший острые белые зубы. Капитан Крюк, казалось, так и готовый ринуться на abordаж. Между ними стояла черепаха Тортила, на панцире которой вольготно расселся Петрушка. По бокам пристроились ослик Мафин и Муми-троль. Все они расположились совсем рядом со входом в тронный зал, размахивая маленькими жёлтенькими флажками. Радовались за него.

К черту, решил приключенец, приветливо помахав в ответ и улыбнувшись. На этом всё и закончится. Больше он их не увидит, поскольку получение такого ордена автоматически даёт ему право выйти в отставку.

Чем плохо? Домик, садик, прудик. Спокойная сельская жизнь. Чистый воздух и никаких сказочных зверушек, так и выискивающих, кому бы вцепиться в горло. На его место переведут одного из молодых честолюбивых стажёров, и уж тот...

Дверь тронного зала распахнулась, и из неё выскочил ещё один распорядитель, длинный и очень худой морж.

— Вас ждут, вас ждут! — быстро проговорил он, цепко схватив приключенца за руку сильными лапами.

Не успел тот произнести и слова, как его чуть ли не волоком за-тащили в зал.

Вот он, машинально переставляя ноги, решил приключенец, тот самый звёздный момент. Как-никак он будет первым в профессии, удостоенным подобной чести.

Герольд взревел:

— Награждение начинается! Склоните головы!

Подробности предстоящей церемонии, до того хорошо заученные, вдруг совершенно вылетели у приключенца из памяти. Чисто наугад он отвесил глубокий поклон. И тут же, ощутив, как распорядитель слегка толкнул его в спину, пошёл к трону. Он даже осмелился поднять голову, взглянуть на короля. И вздрогнул.

Тому от рождения было уже шестнадцать лет, но выглядел он на двенадцать, не более. На голове у него сияла драгоценными камнями корона, на плечах серебрилась церемониальная мантия из шкур зверька — символа редкого по неудачности окончания романа. У подножия трона возвышалась большая стопка книжек с красивыми цветными обложками.

Правителю нравятся сказки, отстранённо подумал приключенец. Вот почему орден получу именно я. Отсюда и группа поддержки. Их опросили, суммировали мнения и дали возможность поздравить.

Король взглянул ему в глаза и благосклонно улыбнулся. Один из его гофро-маршалов передвинулся ближе к трону. На изящном подносе у него в руках лежала обшитая бархатом коробка. Несомненно, орден находится там.

А приключенец о нём уже не думал. Его интересовало сейчас одно. Собираясь на эту встречу, он надел свой самый лучший костюм. Сшит тот был для торжественных случаев, но, подчинившись неясному предчувствию, он приказал портному всё-таки сделать и на этом костюме потайной карман, по примеру тех, которых на его рабочей одежде было десятка полтора. Так вот, карман этот был маленьким, но в нём, среди нескольких полезных на все случаи жизни предметов, лежал пакетик со складной чашечкой кофе. Его можно было выхватить одним движением. После этого следовало лёгкое нажатие двумя пальцами на уголок пакетика, и мгновение спустя в руке оказывалась чашка кофе, уже разогретого и готового к применению. Как по заказу.

Временная амнезия прошла, и, подходя к трону, приключенец уже знал, что ему следует остановиться от него в трёх шагах. После этого король встанет, возьмёт орден и подойдёт. И только когда он окажется на расстоянии вытянутой руки, придётся активировать чашечку кофе, а потом выплеснуть её содержимое монарху в лицо.

Масштабы последующего скандала представить было нетрудно. До судебного разбирательства дойдёт точно. Тюремь ему, скорее всего, удастся избежать. Управление отмажет. А вот неудовольствия короля не миновать.

От осознания предстоящего у приключенца на голове шевелились волосы, но он прекрасно понимал, что другого выхода нет.

Вокруг обшитой бархатом коробочки сияла мощная желтоватая аура, а это означало, что вручение ему ордена, получение так долго ожидаемой награды — очень банально, преступно стандартно.

Сущности

I.

Сделав очередной глоток из бокала, Этис спросила:

— Старинная восточная притча?

— Да, — подтвердил Угрум. — Ты пожелала услышать одну из них, и мне вспомнилась эта.

Он слегка улыбнулся.

Воспоминания о вкусном ужине были ещё свежи, в камине слегка потрескивали охваченные пламенем дрова. Кошка, лежавшая у него на коленях, почувствовав, как он почесал её за ухом, прикрыла блудливые глаза и тихо замурлыкала.

— Притча, стало быть... — на лбу жены появилась едва заметная морщинка. — Но почему конь, которого привели к учителю, оказался девушкой?

— Как тебе сказать...

Угрум отхлебнул вина и сел в кресле удобнее.

— Как есть, так и говори, — приказала подруга жизни. — Между прочим, это весьма странная история. Учитель попросил привести к нему девушку, ученик привёл коня. Однако гуру остался доволен. Где логика?

— У всех есть скрытая сущность. Как у ореха, понимаешь? Скорлупа — тело коня, а ядрышко внутри — красивая девушка. Рассмотрев это, ученик показал умение постигать высшую мудрость.

— Вот как?

Этис потянулась за бокалом, стоявшим перед ней на журнальном столике, и едва его не опрокинула. К счастью, любящий муж успел подхватить сосуд и, поставив на столик, осторожно спросил:

— Дорогая, не слишком ли ты опьянела?

— Нет, конечно, — рассеянно ответила жена. — Я всего лишь задумалась.

— О чём?

— Мне понравилось, что каждое существо может обладать скрытой сущностью. Это относится и к вещам, не так ли?

— Ну... наверное...

— Значит, имеет смысл кое-что проверить.

— Вот как?

— Думаю, я нашла себе на завтра интересное занятие.

— А точнее?

— Будет день — будет пища.

Она таинственно улыбнулась.

2.

— Тебе нравится?

Жена показывала новую сумочку.

— Ты воплотила в жизнь вчерашнюю идею?

— Сама сделала, — гордо сообщила Этис. — Весь день трудилась как пчёлка.

Мельком взглянув на поделку жены, Угрум покачал головой.

Позади напряжённый рабочий день. Хотелось снять пальто, пройти в столовую, поужинать, немного отдохнуть. Вот после можно и о шедеврах домашнего рукоделия поговорить.

— Помнишь, ты вчера рассказал мне притчу? А у меня был старый зонтик, который я намеревалась выкинуть. Оказалось, что на самом деле это сумочка. От меня потребовалось лишь его распороть и раскроить, а это довольно сложно. Потом я выкинула лишнее, прошила вот здесь, обметала, вставила две молнии, приделала ремешок... Мило получилось, правда? Ну, взгляни же...

Она так хотела поделиться с ним своей радостью, что Угрум смягчился. Вдохнув, он ещё раз взглянул на сумочку, на этот раз внимательнее. И вздрогнул.

— Нет слов, — вырвалось у него. — Просто нет слов.

В дамских сумочках он совсем не разбирался, но у действительно хороших вещей есть одна особенность. Они нравятся даже тем, кто в них вроде бы ничего не понимает. Эта же сумочка была не просто хорошая — она имела право называться лучшей в мире.

3.

Кошка ожесточённо тёрлась о ногу и громко мурлыкала, но Угрум её не замечал. Он рассматривал нечто, ещё утром являвшееся пылесосом. Теперь тот обзавёлся головой-видеокамерой, корпус у него стал грушевидным, и к нему была присобачена парочка манипуляторов от детского конструктора. Зажатые в железных пальцах вязальные спицы двигались с бешеной скоростью. Полосатый шерстяной носок удлинялся прямо на глазах.

Ну дела...

Хмыкнув, Угрум взглянул на настенные часы. Ещё утром они трудолюбиво тикали, а теперь стали ульем. Место механизма внутри прозрачного корпуса заняли соты. Через круглое отверстие в верхней его части тянулся пунктир, прочерченный телами пчёл к широко открытому окну.

— Этис, как... как ты перекраиваешь вещи? — поинтересовался Угрум.

Он рассматривал утюг. Плоский, словно побывал под прессом, тот полз по стене, и выцветшие обои за ним становились новыми, словно их только вчера наклеили.

— Что, нравится? — жена широко улыбнулась.

— Вероятно... — пробормотал муж. — Сдаётся мне, это даже неплохо.

— Признайся, тебе очень нравится.

— И всё-таки — как у тебя это получается?

— Не знаю, по правде говоря, — сообщила она. — Сначала я действительно переделывала и перешивала, а теперь мне достаточно лишь увидеть, что́ на самом деле скрывается в глубине вещи, и она становится какой надо. Знаешь, я осознала, кем являюсь.

— Кем?

— Человеком, способным видеть сущность вещей.

— Ах вот как?

— Несомненно.

— И когда это закончится? — спросил он. — Когда ты успокоишься?

Уже уходя на кухню, она ответила:

— Каждая хозяйка мечтает навести идеальный порядок в своём доме, полностью подстроить его под себя — и терпит фиаско. А мне вот, похоже, представилась уникальная возможность. Как от неё отказаться?

4.

За окном птичьими голосами кричали соседские дети. Кажется, они играли в инопланетян.

Угрум аккуратно прикрыл дверь и сделал пару шагов в глубь дома. Там он остановился и оглянулся.

Точно, пока он был на работе, возле двери появился новый коврик, толстый, шерстяной, полосатой расцветки. Вроде бы он слегка шевелится.

Нет, показалось, подумал Угрум, явно показалось. Новая поделка жены.

Он прошёл в следующую комнату и там опять остановился, резко, словно налетев на невидимую преграду.

Можно было поклясться, что диван, на котором они каждый день смотрели телевизор, теперь стоит чуть в стороне и... улыбается? Или это ему только кажется? И какими свойствами их пружинный друг теперь обладает?

Шаг в сторону — и иллюзия рассеялась.

Тихо хмыкнув, Угрум окинул комнату взглядом.

Стоп, а это что?

Стоявшее рядом с книжным шкафом старое кресло вроде бы осталось прежним. И в то же время... было чёткое ощущение, что оно Угрума не одобряет. И не то чтобы замышляет нечто недоброе. Нет, просто не совсем согласно с тем, как он живёт, как думает, кем работает. И ощущение это возникало... да, словно бы кто-то вытащил его изнутри старого кресла, проявил, как фотографию со старинной целлулоидной плёнки.

Прикрыв ладонью глаза, Угрум медленно досчитал до десяти и сказал себе, что такого не бывает. Просто у него слегка разыгралось воображение. Вот сейчас наваждение исчезнет.

Он опустил руку, огляделся, облегчённо вздохнул.

Кресло перед ним стало обыкновенным. И диван тоже. А прочие удивительные вещи большого значения не имели. Они не обладали такими странными свойствами, стали почти привычными.

И главное, несмотря ни на что, сказал он себе, это всё ещё твой дом. И там, на втором этаже, ждёт жена, с которой ты прожил почти пятнадцать лет. Слышно, как она что-то напевает. Похоже, она довольна.

Не хватало только кошки. Почему она не встретила его как обычно? Может, супруга сделала ей новый домик, и хвостатая в нём уснула, разнежившись от удобства?

Не стоит сейчас обращать внимание на мелочи, решил он. Прежде следует придумать, как быть с необычным даром жены. Вот это важно.

Собственно, а что он может предпринять? Сообщить учёным и журналистам? Ну, будет шум на весь мир, но потом всё уляжется, успокоится. И цена за избавление от чудес не чрезмерна. Улыбающийся диван — уже перебор. Вот только дело даже не в этом, а в женщине, его любимой, его второй половинке.

Как мало иногда требуется, чтобы обрушилась лавина! Всего лишь рассказать старую притчу тому, кому, как оказалось, её знать не положено. В кого превратилась его жена? Каким она теперь видит окружающий мир? А что, если она не остановится на вещах и возьмётся за животных, людей?

Он вздрогнул, снова вспомнив о коврике.

Красивый, мохнатый. Да нет же...

Пение наверху смолкло, на лестнице послышались лёгкие шаги. И тут Угруму вдруг представилось, что сейчас произойдёт.

Наверняка супруга, спустившись к нему, с милой улыбкой скажет: «Дорогой, проживающий в совершенном доме должен ему соответствовать. Мне вот кажется, ты смахиваешь на маленького толстого пингвинчика...»

Чувствуя, как воздух вокруг него стремительно холодеет, он стоял спиной к лестнице, по которой спускалась жена, не в силах повернуться. Ждал. И ожидание это казалось вечностью.

А потом ему на плечо легла лёгкая рука, и к его щеке прикоснулись тёплые губы.

— Что с тобой, дорогой? — встревоженно спросила Этис. — Ты странно выглядишь, знаешь ли.

Хорошо понимая, что этого делать нельзя, но уже не в силах остановиться, он выпалил:

— Не хочешь ли ты заняться сущностями людей? Не кажется ли тебе, что многие из них, и я в том числе...

Тут его решимость иссякла, и он замер, ожидая ответа.

— Ну что ты городишь? — она улыбнулась. — Я люблю тебя таким, какой ты есть. Со всеми странностями и изыпаниями.

Угрум облегчённо вздохнул. Жена не лукавила, он знал это.

А потом из соседней комнаты появилась кошка. Вид у неё был несколько оторопелый, но это была она, их домашняя любимица.

Мир вокруг окончательно стал привычным, безопасным. И Угрум спросил:

— Почему?

— Если все станут идеальными, — объяснила Этис, — жить будет невыносимо скучно. Нет, я не трону ни одного человека, даже самого несовершенного.

Кошка подошла, потёрлась о его штаны и замурлыкала.

— Может быть, сам мир... — после небольшой паузы добавила жена. — Он устроен не совсем верно. Кое-какие законы... И природа зачем-то даёт себя уничтожать... Думаю, в ближайшее время мне всё-таки найдётся чем заняться.

Николай Тимченко

Таина тайна

Тихий июньский вечер, ничем не отличающийся от вчерашнего, медленно растворяет дневной зной. Тая подоила корову и, выпустив её со двора пастись, прибрала в погреб свежее молоко. Шестнадцатилетний сын Шурик парное молоко не пьёт. По привычке женщина крепит к багажнику пустую трёхлитровую пивную бутылку, садится на велосипед и удаляется от дома. Она едет к роднику в трёх километрах от окраины Ивановки — селения крепкого, хоть и хватившего лиха в непредсказуемые девяностые. Таких сёл в таёжной сибирской глубинке осталось немного. До перестройки Ивановка была центральной усадьбой крепкого совхоза. На возвышении, где прекрасно вписалась бы деревенская церковь, стоит получившая евроремонт средняя школа. В советские времена, кроме ивановских непосед, в ней училась ребятня из семи соседних деревенок. Рядом был интернат, где Тая работала воспитателем. Теперь во всей округе сохранили жизненный ритм только Викентьевка и Принцессовка.

Спицы отражают лучи багровеющего предзакатного солнца. Слабый ветерок освежающе ласкает лицо, играет в выбившихся из-под бейсболки локонах светло-русых волос. Лучики отражаются от спиц и ободьев, не успевших покрыться налётом дорожной пыли. Велосипед легко взбегает на невысокие пологие пригорки и, немного разгоняясь, скатывается с них. Ничто не предвещает чего-то необычного и тем более зловещего. Не даёт подсказок на что-то недоброе и окружающая прелесть родной придорожной растительности, знакомой до кустика. Воды речки Татарки, что рядом с дорогой, неторопливо минуют изгибы берегов. Из-за ровного шуршания шин негромкое журчание и всплески воды не слышны.

Рабочий день пролетел в рутине дел. Сегодня пятница, конец рабочей недели. Ещё не закончились госэкзамены выпускников, а технический персонал и большая часть педагогического коллектива занимаются косметическим ремонтом классных комнат и помещений школы. Шпатлёвка щелей вдоль дверных и оконных окосычек, покраска стен, пола и ученических столов, затирка царапин, оставленных острыми предметами учеников, и много других работ, из которых и состоит ремонт, — всё это было сегодня и без остатка заполнит ещё не один день. Не задействованы в ремонтных работах лишь те учителя, которые готовят детей к экзаменам или с детьми младших и средних классов занимаются на школьной оздоровительной площадке.

Домашние дела и заботы остались дома, а он отделён от велосипедистки прибрежным кустарником да небольшим расстоянием. В пути легко и беззаботно, как в далёком детстве, из которого часто наплывают сладостные воспоминания. На невысоком придорожном взгорке среди зелени белеет набирающая цвет земляника. Никто из ивановской ребятни не в состоянии устоять перед соблазном отведать ароматных сладких подарков природы — ягод спелой земляники. Как и в детстве Таи, нынешняя ребятня скоро будет ползать на четвереньках, наслаждаться ягодами, выискивая и те, которые прячутся под листочками.

Кое-где сквозь кусты успевшей отцвести черёмухи над невидимой водой проглядывает краснотал. Большая вода, которую в народе называют коренной, уходит. Почва не успела отдать влагу, накопившуюся от осенних дождей и растаявшего снега. На пути немало мест, где от дороги до обрывистого берега нет ни единого кустика. Тая вспомнила, как на Пасху, проезжая этим маршрутом, почувствовала, будто кто-то затаился в кустарнике. Ей даже показалось какое-то шевеление там, будто спрятавшийся человек пытался скрыться за кусты, остаться незамеченным. Тогда, набрав родниковой — хрустальной чистоты и прозрачности — водицы, она дома поделилась своими ощущениями. Приехавшие на праздник гости советовали оставить велопрогулки, не испытывать судьбу, но сказала же она тогда всем: «Я здесь родилась, все знают меня. Всем известно, что никому ничего плохого я не сделала. Бояться мне нечего и некого».

«Сейчас до того кустарника ещё не один поворот, да и проезжала же я с той поры много-много раз мимо и тех кустов тоже. Наверное, тогда мне почудилось. Долой страхи, вперёд и только вперёд», — отбрасывая сомнения, продолжила крутить педали волевая женщина.

На мгновение тело наполнила робость, когда она увидела кого-то, опирающегося на толстую палку. Человека, шедшего от речки к дороге, Тая тут же узнала и, подъезжая, затормозила выяснить: что с ногой, нужна ли помощь? От резкого торможения цепь слетела со звёздочки. Тая наклонилась, чтобы набросить её на место.

Нет, родниковая водица — не главное в Таинных прогулках. Когда женщина переступает рубеж пятидесятилетия, ей не хочется поддаваться возрастным изменениям внешности. Она никого не посвящала в истинную цель поездок, но об этом догадывались не только домочадцы. Велосипедные выезды и есть то доступное средство, которое способно сохранить статью, отодвинуть старение тела. И это удаётся Тае. При росте сто шестьдесят шесть сантиметров, вес её балансирует около семидесяти килограммов. Упругие бёдра подчёркивают талию. Паутинка мелких морщинок на загорелом округлом лице почти не заметна. Когда Тая смущается, щёк касается румянец. Наблюдательный мужчина мог бы сказать о ней: женщина, приятная во всех отношениях.

Женское обаяние в ней великолепно дополняет скрытую силу. А сочетание силы воли с физической силой наталкивает на мысль, что именно такая, как она, «коня на скаку остановит, в горящую избу войдёт».

Возможно, что все эти качества и привлекли Никодима. Он — коллега. В Ивановке появился пару лет назад. Долго не мудрствовал и живёт с Наиной в гражданском браке. Тае, как женщине, приятно внимание мужчин, но чрезмерное внимание соседа не раз ставило её в неловкое положение. В сёлах, где каждый знает всех и каждого, нетрудно оказаться под огнём пересудов — это обстоятельство заставляло Таю дистанцироваться от коллеги. Втайне от мужа она даже советовалась с сестрой Людой, как поступать, чтобы, не унизив поклонника, не навлечь семейный разлад. К тому же жена Никодима, Наина, поддерживает с Таей давние приятельские отношения.

Сейчас дома остался только Шурик. Муж Витольд должен был приехать сегодня, но, возвращаясь с вахтовой работы, задержался в Абакане купить билеты в Талды-Курган. С младшей дочерью Тоней поедут навестить пожилых родителей Витольда. В Ивановке он и Тоня с мужем будут только завтра.

Шурик не стал дожидаться приезда матери, пошёл в клуб, где вечерами молодёжь проводит время на дискотеках или просто общается. Зная, что мама скоро вернётся, а ключ она не взяла, сын оставил дом незамкнутым. Вернувшись во втором часу ночи, парень не заметил, что матери нет дома. Её отсутствие им обнаружилось только утром. Но мать не появилась ни утром, ни позднее. Парень сообщил об этом отцу и сестре, когда они перед обедом приехали в Ивановку.

Начались поиски вдоль Таинового пути следования к роднику. Ивановский участковый Роман Прокопьевич сразу заявление об исчезновении не принял, сославшись на условности, существующие в сыском ведомстве. На следующий день к поискам подключились неравнодушные селяне. Осмотренные придорожные участки, оба берега и даже дно сквозь непрозрачную ещё воду речки к загадке исчезновения ясности не добавили. Лишь на третий день на небольшом удалении от одного из огородов обнаружили бейсболку бесследно исчезнувшей женщины. Это был огород коренного жителя Ивановки, недавно вернувшегося из мест лишения свободы. Сама Тая не могла оказаться здесь по пути к роднику. Бейсболка могла упасть, если бы женщина вырывалась от кого-то, увлекающего её в это место. Возможно, что головной убор кто-то принёс сюда специально, чтобы навести следователей на односельчанина с криминальным прошлым.

Прошли ещё три дня поиска, когда недалеко друг от друга были найдены один из сланцев и припорошённый травой велосипед со слетевшей со звёздочки цепью и с пустой бутылкой на багажнике. Всем стало ясно, что от дороги найденные вещи кем-то перенесены

через речку. Подозрительным оказалось то, что во время вчерашних поисков там ничего не было — всё ждало своего часа где-то в другом месте. Внимательное изучение участка речки вблизи находок не выявило ни единого следа, который мог бы остаться в иле или на осыпающемся грунте обрывистых берегов. Кто-то вспомнил о поваленной невдалеке берёзе, по которой, как по мостику, можно перенести велосипед.

Полиция из районного села Идрень приехала через неделю. К тому времени приехали и подключились к поискам братья, сёстры и дети Таи. Но и эти поиски оказались безрезультатными. «Тая будто в воду канула», — говорили односельчане и жители соседних сёл о таинственном исчезновении женщины.

Племянница Дора, которая младше тёти на восемь лет, живёт в паре часов езды от Красноярска. В тот вечер исчезновения тёти, не зная о случившемся, почувствовала сильное недомогание и головную боль. Удивительное совпадение: когда умерла её бабушка Вера, она тоже сильно болела. Возможно, что её связывает с кровными родственниками что-то большее, чем всех нас со своими родными.

Когда поиски не приносят успеха, родственники готовы ухватиться за соломинку, подающую надежду отодвинуть занавес зловещей тайны. Сестра Инна с Витольдом посетили гадалку, известную всей округе. Та гадала по фотографии. Сказала, что женщина умерла не сразу, могла быть живой ещё дня три после исчезновения. Сказала, что смерть её была очень мучительной. Ездили они и к хакасскому шаману. Он сказал, что перед смертью Тая перенесла муки, а найдётся она в воде. О том, как долго женщина испытывала муки от издевательств, он ничего определённого не поведал.

Отсутствие результата поисковых работ общественность восприняла за бездеятельность правоохранителей. Пошли письма и звонки в краевую полицию. Среди версий об исчезновении имело место и предположение о причастности к этому самих полицейских из Идрени. Они в тот день устраивали пикник около того самого родника, к которому уехала Тая. Найденная вместе с велосипедом бутылка была пуста — это наталкивало на мысль, что поездка велосипедистки оборвалась ещё на пути к роднику. Тогда участники пикника могли быть непричастны к исчезновению. Мысль мыслью, а недоверие к полиции, подозрение в причастности к сокрытию преступления в народе Ивановки и соседних сёл оказалось устойчивым.

Таю, которая в последние годы работала учительницей начальных классов, знали и ученики, включая бывших, и родители учеников не только в Ивановке. Она была знакома многим жителям Викентьевки и Принцессовки и по периоду работы в интернате. Все переживали о постигшем родственников Таи горе почти так же, как и члены большой Таиной семьи. Люди требовали от полиции найти жертву и наказать преступника. Прошли три недели бесплодных поисков,

когда приехали сотрудники из краевого центра, а вместе с ними и следователи из Идрени.

Днём раньше Инна с Витольдом в очередной раз обследовали местность. Витольд был там, где проходит дорога, а сестра — на другом берегу, недалеко от места, где найдены вещи Таи — велосипед и сланец. Инна, словно предчувствуя что-то, долго не уходила от берега. Вглядываясь в дно и в берега, нет ли где подкопа, скрывающего труп, было страшно.

По пути домой она рассказала Витольду:

— У меня чувство, что наша Тая где-то там, рядом. Вряд ли оно ошибочное. В тот вечер, когда сестра уехала из дома, я была в Абакане. Как-то случилось, что я упала и сломала руку. Тогда, несмотря на собственную боль, почувствовала, что произошло что-то страшное с кем-нибудь из родственников. Не знаю почему, но я тогда ощущала, что это «что-то» случилось именно с сестрой.

— Вы — родные, кровные. Вполне возможно, что ты могла ощущать беду и на расстоянии, — согласился попутчик.

Инна вспомнила, что, будто чувствуя хозяйку где-то рядом, Рыцарь, дворняга Витольда и Таи, петлял по берегу. «Лишь когда мы отошли от того места, собака продолжила поиски вдоль пути нашего следования», — молча продолжила воспоминания Инна.

Умолчала она о том, что Витольд видеть не мог, а ей показалось подозрительным. Тот обрывистый берег показался ей подрытым, а рядом с водой там лежали небольшой обломок бревна и толстая палка. Инне даже показалось тогда, что на земле около брёвнышка остались замываемые дождями следы, кто-то потоптался там.

«Может быть, что кто-то рыбачил, сидя на обломке бревна», — нашла Инна объяснение подмеченному подозрительному факту.

От места, где родственники и односельчане нашли Таины вещи, полиция искала более тщательно. Ночью прошёл дождь, увеличившимся течением прибывшей воды часть ила унесло, обнажилось колено скрытого донным грунтом тела. Ниже по течению нашёлся второй сланец.

— Поздравляю, Василий Петрович, с очередным «висяком», — сочувственно произнёс Роман Прокопьевич, обращаясь к начальнику Идреньского уголовного розыска.

— Ты прав, Роман: дело сделано, и концы в воду. На велосипеде, бейсболке и шлёпанце ни единого отпечатка. И с трупа нечего взять — все следы уплыли вместе с водицей. Только несчастный случай может помочь избавиться от нераскрываемого преступления. Будем отрабатывать версию: ехала, зашла в речку остудить разгорячённые ноги...

— Делай как знаешь, Петрович, — сказал местный участковый, будто благословляя главного сыщика на подтасовку фактов.

Тело увезли, чтобы судмедэксперт дал своё заключение о причине смерти. Идрень — районный центр без морга. Извлечённое из мягкого

грунта тело увезли в соседний райцентр — Краснополянск. Туда же вызвали родственников для опознания покойной. Брат Толя и старший сын покойной Влад в трупе с лицом мумии не сразу узнали их Таю. Грунт, впитавший в себя воду, три недели сдавливал мышечные ткани лица, сплюснул их. Казалось, что на черепе только кожа. Лишь одежда и коронки на зубах подтверждали, что это Тая.

При выдаче гроба с покойной родственников попросили воздержаться от снятия крышки. Объяснили это просто:

— Труп разлагается. Произошли такие изменения, которые лучше не видеть даже родным утопленницы.

Действительно, когда Таю привезли в Ивановку, с днища капала жидкость — из тела выходила вода, накопившаяся за три недели поисков.

«Чего не сделаешь ради дружбы», — можно услышать по завершении какой-нибудь экстремальной ситуации. Здесь же, кроме дружбы, немаловажной оказалась пресловутая честь мундира. Чтобы ивановское событие не понижало раскрываемость, в заключении значилось: «Смерть наступила от несчастного случая. Следов насильственной смерти не обнаружено».

— Возможно, женщина зашла в воду остудить разгорячённые ноги, но голова её закружилась. При падении ударилась, потеряла сознание и захлебнулась, — говорил потом Инне начальник Идреньского уголовного розыска. — Не исключено, что она просто утопленница — сама утопилась.

Особое неприятие вызвало слово «утопленница». Всем не равнодушным к Таиной смерти стало ясно, что чей-то беспредел пытаются списать на саму жертву, представить её совершившей суицид либо произошедшее объявить несчастным случаем. Все, кто при жизни знал Таю, не сомневались: жизнерадостная, не имеющая значимых проблем, Тая не могла и мыслить о подобном, тем более — взять и утонуть. Узнать, была ли она жива, оказавшись в воде, или попала в речку уже мёртвой, выяснить не представлялось возможным.

Хоронили Таю всем селом. Проводить её в последний путь приехали и жители соседних деревень. Её оплакивали как родную — так близка всем она была при жизни. Перед спуском гроба женщины рыдали с причитаниями, а мужчины, не стесняясь, смахивали скупую слезу. Случай, неприятный для родственников и необъяснимый для остальных провожающих, произошёл именно в тот последний момент. Когда до спуска гроба оставались секунды, Никодим бесцеремонно оттолкнул стоящих рядом Дору и Шурика. Обхватив домовину так, словно через неё хотел обнять покойную, сквозь слёзы большой утраты он произнёс:

— Таюшка, про...

Что он сказал: «прощай» или «прости», — понять было невозможно. Рыдания были такими громкими, что сказанное утонуло в них.

Наверное, более всех сцена была неприятна Витольду. Что он мог подумать в минуту, когда сосед, не осознавая, что делает, показал присутствующим свои чувства к коллеге? Несколько раз, когда Никодим замечал её удаляющейся к роднику, он бросал дела и ехал на велосипеде вслед, чтобы хоть короткие мгновения побыть наедине с Таем. Он два раза звонил обожжаемой женщине, но разговор не состоялся: она знала, кто звонит, и делала всё, чтобы не дать повода для пересудов и сплетен.

После смерти жены Витольд продолжал жить в Ивановке до окончания Шуриком одиннадцатого класса, но был вынужден работать вахтовым методом. К расследованию преступления муж заметно охладел. Причиной тому мог быть неординарный случай на кладбище.

Из всех прощающихся только Люда точно знала, что между сестрой и её соседом даже намёка на интимные отношения никогда не было: Никодим понимал, что это обидело бы любимую женщину, которая к нему чувств не имеет, а хранит верность мужу. Об этом Тая не говорила, но всё было понятно в общении сестёр. Люде Тая доверяла свои маленькие женские секреты, а та не сомневалась в порядочности сестры. Порядочность убитой не ставил под сомнение всякий, кто знал её при жизни. Наина об отчаянии мужа на кладбище узнала из пересказов очевидцев. Сама она в день похорон ездила в Идрень навестить сына и внучат.

Все родные тяжело переживали смерть близкого им человека. Приехав домой после похорон, Дора попала в больницу — подлечить сердце, истерзанное томительной неопределённостью долгих поисков. Не только родственники, а все, кто знал Тая, не верили в несчастный случай, а тем более — в суицид. Несмотря на заключение о смерти, в народе крепла уверенность, что совершено убийство. Менее чем за год в Ивановке убита третья женщина. «Что это? Не маньяк ли ходит среди нас?» — недоумевали селяне.

Первого душегуба не нашли. Вместо убийцы второй женщины отбывает срок невиновный — такое мнение сложилось почти у всех ивановцев. Теперь смерть настигла Тая. И в этот раз полиция для себя всё решила, открыв делопроизводство по утопленнице.

«Ни поиска убийцы, ни дознаний, ни следственных экспериментов — всё шито-крыто, — возмущался народ. — Обращаться к кому-либо в Идрень — только терять время».

И полетели письмо за письмом в краевую прокуратуру. К коллективным проявлениям негодования по поводу бездействия районных правоохранителей добавилось требование родственников на эксгумацию и проведение повторной экспертизы. Бедная Тая: даже мёртвой ей было не до покоя. В октябре тщательно провели повторную экспертизу. Её заключение — не для слабонервных. «На черепе,

в области затылка и виска, имеются повреждения костной ткани. Переломы могут быть следствием ударов тяжёлым твёрдым предметом округлой формы. На груди, ногах и руках удалось обнаружить следы множественных ударов предположительно тем же предметом. Имеется перелом лучевой кости левой руки. Неизвестным образом удалены женские детородные органы...»

— Вероятно, что не только внешние гениталии, но и те органы, которые находились глубоко внутри организма, были зверски вырваны. Ваша родственница долго находилась в воде, немало времени прошло после захоронения, поэтому точного ответа быть не может. Говорить о способе удаления можно только с определённой степенью вероятности, — пояснил краевой судмедэксперт.

Краевые специалисты сделали своё дело и уехали, а идреньским сыщикам вопреки нежеланию пришлось приступить к поискам убийцы. Вспомнили, что бейсболку нашли за огородом Ильи, возвратившегося в родное село после отбытия срока. На установление его непричастности к убийству Таи много времени не потребовалось. Работающий вахтовым методом за пределами родного района, он уехал за неделю до Таиного исчезновения. Возвратился, отработав две недели. В этот период с работы Ильи не отлучался ни на один день.

Ни единым доказательным аргументом не пополнилось уголовное дело. Часть улик устранена при совершении убийства самим преступником, а остальное уничтожили природа и время. Возможно, если к поискам исчезнувшей женщины полиция подключилась бы сразу после обращения к Роману Прокопьевичу, то и жертву, и улики обнаружить было бы проще. Без зацепок уголовное дело не продвигалось, буксовало, как автомобиль с летней резиной на гололёде.

Вспомнили о Максиме Бояркине. Двумя годами раньше родители Максима обратились к правоохранителям по поводу избияния Витольдом их ребёнка. Как выяснилось, Максим терроризировал сверстников и более младших школьников. Он, под угрозой расправы, требовал у мальчишек деньги и сигареты — даже у тех, кто не курил. Если не получал требуемое, то расправлялся физически и унижал морально. Витольд тогда вступился за Шурика. Избияния как такового не было. Он просто надрал уши распоясавшемуся подростку, предупредив о последствиях в случае необходимости повторного вмешательства. Только силу признавал подросток, возомнивший себя блатным, королём Ивановки. Притеснения Шурика прекратились. Во время одного из заседаний суда умерла бабушка Максима. Дело затянулось, но суд оправдал Витольда.

— Обида могла копиться во взрослеющем, но не достигшем совершеннолетия любителе жестоких расправ и издевательств. Подросток мог отомстить Витольду и за себя, и за преждевременную смерть

бабушки, убив его жену. С самим Витольдом он бы не справился, а откладывать на потом не стал,—предположил Василий Петрович, обсуждая мотив убийства с Романом Прокопьевичем.

—Возможно, всё так и есть. Вполне могло быть как-то так,—согласился местный участковый.

Сопоставив полученные свидетельские показания соседей Максима, следствие пришло к заключению о невинности подростка. Расследование зашло в тупик, а выход из него не просматривался даже в перспективе.

Активнее других продвижением следствия интересовалась Инна. Видя, что поиски убийцы вновь застопорились, она поставила цель: «Самолучно докопаюсь до истины».

Фактов, проливающих свет на причины, подтолкнувшие кого-то к преступлению, в её распоряжении оказалось меньше, чем у следователей, не богатых уликами. Мысли о смерти сестры заполняли мозг Инны каждую минуту, свободную от работы. Они роились в голове даже в потоке повседневных дел, которые выполняются автоматически, машинально, не требуя вмешательства мозга. Что-то в мыслях о Тае казалось невозможным, чего-то, исходя из здравого смысла, не могло быть, но были в тех размышлениях и крупинки истины, как считала сама Инна:

«Тая никому не сделала ничего плохого. Кому же была выгодна её смерть? Жестокость совершённого убийства может означать, что сестре за что-то отомстили. Но кто и за что? Таю били „тяжёлым твёрдым предметом округлой формы“ — наверное, палкой. Мужчине, чтобы убить даже кулаком, было бы достаточно трёх-четырёх ударов. Много ударов нанесено потому, что были они недостаточно сильными, чтобы умертвить женщину. Тогда кто их наносил? Подросток? Женщина? В то, что Таю продолжали бить и мёртвую, верится с трудом. Так мог бы поступить только человек, психически ненормальный. Таких людей в Ивановке нет. Если бы кто-то был, то об этом было бы известно — если не до преступления, то хотя бы после него.

Подросток вряд ли стал бы глумиться над детородными органами женщины. А женщина? Тоже сомнительно, если она сама действительно женщина. Если бы сестра разбила чью-то семью, то воспитанный без отца ребёнок из прежней семьи Витоляда мог копить ненависть к женщине, разлучившей отца и маму. Но Тая — единственная жена Витоляда. Они познакомились, когда он был солдатом срочной службы. У него нет детей, кроме двух дочек и двух сыновей, рождённых Таей. К тому же в Ивановку накануне убийства никто не приезжал. Могла бы мстить местная женщина, но за что? Вряд ли могла быть причиной мести безответная любовь Никодима, о которой поведала Люда. Даже учитывая выходку коллеги на кладбище, трудно поверить, что это могла сделать Наина, давняя приятельница Таи.

Но кто же, кто так зверски издевался над сестрёнкой? Кто та зверюга, лишившая жизни нашу Таечку? Кто живёт, ходит, дышит, умиляется своей мстью и гордится тем, что она самая умная, сумевшая поквитаться так, что ни полиция, ни родные не вышли на неё и уже никогда не выйдут? Я сомневаюсь, но, наверное, с сестрой расправилась женщина. Но кто она? Убийце помогла Таина доверчивость. Да, это так: сестра не ожидала от неё зла по отношению к себе. Иначе она смогла бы защитить себя: Тая — сильная женщина. Точнее, была сильной.

А может быть, не стоит полагаться на здравомыслие убийцы? Стоит, ещё как стоит! Убийство совершено не спонтанно, не в пьяном угаре — оно тщательно продумано, трезво взвешено до мелочей. Не оставлено ни единого отпечатка, следа, даже малейшей улики, за что могло бы ухватиться следствие. А не эта ли особа наблюдала за Таей из кустов при поездке в день Воскресения Христова? Выходит, что убийца уже тогда готовила своё злодейство? И случайно ли выбран именно тот день расправы? Витольд, не задержись он для покупки билетов, приехал бы в ту злополучную пятницу. Тогда, под предлогом ревности, первым подозреваемым мог стать не кто-то, а муж. И доказывал бы он потом, что не ревновал жену, что не было у него с женой ссор и разладов на почве недоверия.

О дне приезда в селе знали многие, убийца — тоже. Ни от кого не были секретом и вечерние поездки Таи. Все знали, а убийца использовала их в своих зловещих целях. Ах, Таечка, если бы ты могла назвать имя убийцы! Нет, это теперь невозможно. Ни сказать, ни как-то дать нам знать ты уже не сможешь. Неужели эта твоя тайна так и не раскроется? За прошедший год вопросов не убавилось — уголовное дело застопорилось так, будто тяжёлый корабль сел на мель и никаким буксиром его с той мели не сдвинуть».

Друг семьи Тимофей узнал про трагедию с большим запозданием. Это тогда, когда его называли по-простецки Тимой, он жил в Ивановке и мог узнавать о событиях в селе в тот же день из первых уст. Теперь большая удалённость и редкость общения значительно отодвинули роковое известие. Но и спустя срок событие взбудоражило Тиму. Та жизнерадостная, доброжелательная, смышлённая и симпатичная девчушка, какой он знал Таю той далёкой порой, теперь, став взрослой, жестоко убита. Даже то небольшое, что Тимофей узнал об этой мученической смерти, взбудоражило воображение. Переживания воплотились в стихотворение:

ПАМЯТИ ТАИ

Июньский вечер. Всё вокруг спокойно,
А жизни торжество царит везде.
Чтоб провести концовку дня достойно,
Решила вечер посвятить езде.

Велосипед, одна — маршрут знакомый.
И мчит туда, где бьёт родник ключом.
Горит закат. Вечерний мир бездонный.
День позади, проблемы за плечом.

Однако нет... не всё в тот миг прекрасно.
Ей на беду закат побагровел.
Сверкают спицы в тех багровых красках,
И ждёт её немислимый удел.

Недолго ей крутить свои педали —
Убийца злобно встала на пути.
Чтоб смерть найти, не надо ехать в дали.
А от судьбы, как видно, не уйти.

Убита Тая в середине лета.
Убита зверски, в том сомнений нет.
Убийца ходит, радуется свету,
А вот для Таи белый свет померк.

Не для неё закаты и рассветы.
Ей радуг ожерелий не видеть.
Так пусть убийце Бог воздаст за это,
Хоть по закону должен суд воздать.

В «Одноклассниках», в группе «Ивановский совхоз», Дора поместила стихотворение под фотографией на могиле Таи. Общественная активность вновь всколыхнулась, заставила сыщиков оторваться от насиженных мест. В этот раз приехали в школу, стали спрашивать, откуда стало известно о причастности к преступлению женщины. Появились претензии к родственникам, будто они будоражат односельчан, мешая проведению следствия. На поиски женщины-убийцы у следователей энтузиазма не хватило.

Несколько раз Инна приезжала в следственный отдел, пытаясь сдвинуть застопорившееся следствие с мёртвой точки. Она приводила свои доводы, к которым могли бы прислушаться сотрудники. Эффект от поездок оказался неожиданным. Василий Петрович ей сказал, что вмешательство непрофессионалов мешает следствию. Более того, он предупредил, что в случае продолжения самостоятельного расследования полиция не может гарантировать Инне её собственную безопасность. Надежда на то, что убийца когда-нибудь предстанет перед судом, стала угасать, как тлеющие угли потухающего костра.

Река Убей, в которую впадает Татарка, неглубокая. Есть на реке перекаты с каменистым дном. На равнинных участках дно чаще илистое. Там можно встретить широкие разливы и достаточно глубокие ямы, где купаются не только подростки, но и взрослые. Невелика река,

да рыбная. И ребята, и взрослые редко рыбачат удочкой. Лишь потеплеет вода, начинается рыбная ловля бреднем. Удобнее рыбачить втроём. По очереди один на берегу несёт взятые на обед припасы, одежду и пополняющийся улов, отогревает ноги, двое других ведут небольшой бредень. Так случилось, что ровно через два года со дня исчезновения Таи трое ивановских мужчин пошли на рыбалку. О том, что годовщина убийства именно в этот день, Семён и Валера подзабыли, но помнил Никодим.

Рыбалка удалась, несмотря на отсутствие герметичных костюмов, позволяющих бродить и оставаться сухими. Ельцы, пескари, один небольшой налим и четыре угря с трудом поместились в двухведёрной торбе. Встречающуюся в Убее разновидность угря в Ивановке называют питра. Время перевалило за полдень, когда на подходе к опустевшей деревеньке Никольской рыбаки решили пообедать. Какая рыбалка без обеда, а обед без ухи? Всё необходимое для ухи, от соли до картошки, предусмотрительно взяли с собой. Редкая в таких случаях уха обходится без спиртного. Пока еда варилась, две бутылки водки ждали своей поры в речной прохладе.

Обед был в кульминации, когда Никодим, обхватив голову руками и опустив её к коленям, сквозь неожиданные для приятелей слёзы выкрикнул:

— Не могу больше так жить! Сколько можно носить это в себе?! Всё! Всё скажу! Всё как было,— произнёс он уже почти шёпотом.— Она тогда прикатила на велике вся растрёпанная, с глазами как у сумасшедшей. Я сразу почувствовал неладное. Гадать, что случилось, не пришлось. С нескрываемым злорадством она почти выкрикнула: «Заводи машину, поедem на свидание с твоей возлюбленной. Полюбуйся на неё. Только не надейся, при мне она в объятия не бросится. При мне она будет смирёхонькая».— «Ревнивая дура, что ты наделала? Что она тебе сделала плохого»,— орал я на обезумевшую жену, когда выехал со двора. «Спрашиваешь, чего сделала? Из-за неё ты стал ненормальным. Да и мужик ли ты теперь? Я была у гадалки. Она-то мне и сказала, что твои мужские проблемы в постели со мной — всё из-за неё. Ясновидящая так и сказала, что мне и тебе мешает светловолосая женщина, которая живёт по соседству».— «Дура, сумасшедшая! — кричал я.— Да между нами ничего не было и не могло быть!» — «Знаю я про ваши свидания,— грозя пальцем, запальчиво с упрёком говорила Наина.— Не раз видела я, как ты всё бросал и мчался к ней на свидание, стоило ей поехать за деревню».— «Да, ездил. Только что с того? Она верна своему Витольду, а на меня — ноль внимания. Мне хватало того, что я несколько минут мог побыть рядом с ней. Да, я люблю её! И не хочу срывать это от тебя».— «Тормози, приехали». От дороги до берега в том месте десяток метров, вы знаете,— пояснял Никодим.

Валера и Семён только кивнули, чтобы не прервать откровение напарника по рыбалке и обеду. Но тот замолчал.

— На, выпей. Станет легче.

— Тебе надо выговориться.

— Да как ты жил с этим? — вступили в беседу приятели.

Никодим через край запил водку ухой из котелка. Потом собрался с мыслями или с духом и продолжил горестное для всех повествование: — Наина тогда хвастала с тоном победительницы: «Вот тут она, змея подкодная, остановилась около меня. Видите ли, захотелось ей узнать, что у меня случилось с ногой, почему я опираюсь на палку. Затормозила, а цепь слетела. Нагнулась она к цепи, тут-то я и шандарахнула её, твою соблазнительницу. Уж как я отвела свою душеньку! Хлестала, пока сама не устала. Пошли. Надо взять свою помощницу, вдруг пригодится успокоить стерву», — проговорила Наина, беря палку. «Сама ты стерва проклятушая», — возразил я. От дороги к реке протянулась дорожка примятой травы. Явно, что Наина проволокла жертву по траве и она не успела подняться. Бедняга Тая лежала под уступчиком берега около воды. Послышался стон. «Ах ты, влюбчивая зараза, почуяла рядом своего любовничка?! Ну, посмотри на него, на нашего красавчика. А ты, ирод, смотри на её „сокровище“, которое так притягивало тебя». С этими словами она палкой откинула подол Таиной юбки, приспустила нижнее бельё и упёрла палку к интимному месту жертвы. Толстая, она не входила внутрь, и моя обезумевшая зверюга стала проворачивать своё орудие. И палка стала продвигаться, как болт по резьбе. Меня будто парализовало в это время. Чувствовалось, что волосы встали дыбом. Нет, не только на голове, а везде, где они есть: на руках, ногах, спине. А она со всё большим ожесточением вворачивала и вворачивала свою деревягу внутрь тела. В какой-то момент я ощутил, что могу двигаться, оцепенение сменилось нечеловеческой силой. Я рванул обезумевшее чудовище, откинул на пару шагов от Таи. Что я увидел! На конце деревяги кровоточили намотавшиеся и вырванные внутренности. Расправившаяся с беззащитной жертвой Наина стояла в победной позе. Не знаю, в какой момент жизнь покинула Таю — перед нами лежало безжизненное тело.

Никодим замолчал. Он не замечал своих слёз, а они стекали по щекам и капали с подбородка. Самый молодой из рыбаков, Валера, налил в кружку остатки водки и подал рассказчику.

Семён одобрительно кивнул и тоном, не терпящим возражений, произнёс:

— Пей. И рассказывай. Тебе надо выговориться.

Никодим выпил залпом, без закуски. И продолжил:

— «Безмозглая тварь, ну и чего ты добила? Тебя же посадят!» — закричал я. «Меня посадят? Нет, это тебя посадят. Я скажу, что это ты убил её. Озверел оттого, что она, ублажавшая твои прихоти раньше, в этот раз отказала тебе. Отказала, чтобы быть чистенькой перед Витольдом, который вот-вот приедет. Помысли, недоумок влюблённый, кому поверят на суде — тебе, без рода и племени, или мне с моим Мишей?»

В этой фразе особенно отчётливо слышались интонации Наины. А Никодим продолжал:

— Вы же знаете, что её сын, Михаил Олегович, — начальник всех участковых инспекторов нашего района. Я не исключаю, что именно он приложил руку к тому, что преступница спокойно ходит на свободе.

Эта деталь биографии Наины в Ивановке известна всем. А рассказчик продолжал:

— Она быстро отошла от приступа психоза, помотала в воде концом палки так, будто хотела избавиться от намотавшейся грязной тряпки, стараясь не запачкать руки. Потом властно скомандовала: «Рой для неё яму, ротозей. Ворон ловить будешь потом, когда спрячем твою чаровницу». Сообразила, что труп надо будет присыпать сверху землёй — вырытый ил сносило течением. Вырыли ямку у противоположного обрывистого берега. Вброд волоком перетащили туда покойницу и уложили в углубление. Я палкой стал срывать слой за слоем из обрывистого берега, а жена руками подгребала грунт к трупу. Чтобы течением не уносило землю, Наина быстро приволокла обломок бревна. Наверное, она предусмотрела всё и заранее заметила его. Нет, мы не похоронили покойную — спрятали её от людских глаз и от объедания рыбами. Потом, чтобы свежая земля перестала быть заметной, на место преступной работы долго брызгали водой из реки. Велосипед со сланцем и кепкой Наина спрятала куда-то далеко в кусты. Потом мы приезжали туда, чтобы кепку подбросить поближе к бывшему зэку. Я, сидя на брёвнышке, не мог поверить, что Тая уже никогда не пройдёт своей статной походкой по селу, школе, дому. Ей больше не будет светить солнце. Её не будут волновать житейские проблемы, как безразличны ей теперь и зной, и холод. Её больше нет и никогда не будет среди живых. Позже жена ездила одна и оставила на полянке велосипед и свалившийся при волочении сланец. Кто и зачем придумал речке название Убей? Нет, убила не река. Таину жизнь оборвала ревнивица. Я на всю оставшуюся жизнь останусь с ощущением вины. Если бы не моя любовь, то Таечка и сейчас была бы жива. Я просил у неё прощения над гробом, но поздно — моё отчаянное «прости» она уже не могла слышать. И простить она не могла. Вы вот слушаете и думаете, как всё складно в моём рассказе. Да потому и складно, что я жил этим рассказом два года. Сотни раз вспоминал каждое слово или движение в тот ужасный день жесточайшего убийства. И теперь будто наяву слышу и своё негодование, и интонации в голосе безжалостного чудовища. А Таина убийца ходит и радуется жизни. Какая несправедливость! — тихо добавил рассказчик.

Никодим смолк. Слезы он выплакал, наверное, все. Рыбаки молча поднялись и удручённо побрели в родное село. От выпитого спиртного не осталось следа. Вновь пережитая драма подействовала отрезвляюще. Одно успокаивало — ощущение, что Никодиму стало легче. Груз

страшной тайны будто свалился с его уставшей за два года, измученной воспоминаниями души. Наверное, он, придя домой, поведал жене, что на рыбалке всё рассказал о Тайной смерти. Иначе с чего бы сам начальник уголовного розыска примчался в Ивановку около девяти вечера и потребовал от Валеры с Семёном срочно прибыть в сельсовет вместе с жёнами? Дома недалеко, и сборы были недолгими, к сельсовету пошли почти одновременно и не разминулись. При встрече Семён с Валерой переглянулись и всё поняли без слов. Жёнам об откровении Никодима успели рассказать оба, но поделились ли те услышанным, они не знали.

Вызванный из дома глава администрации хотел принять всех в своём кабинете, но Василий Петрович сказал, что им необходимо уединиться. Убедившись, что сейф и стол с документацией под замками, глава предложил кабинет бухгалтера. Окончания беседы с односельчанами, непонятно в чем провинившимися, он ждал в своих «апартаментах». Главный сыщик не собирался убеждать или уговаривать «приглашённых». Он заявил, что по селу поползли слухи, будто уважаемая женщина и есть убийца учительницы, Курочкиной Таисьи Степановны.

— Смотрите у меня! — пригрозил он. — За клевету, как и за оговор невинного человека, имеется статья. Подумайте все, нужна ли она вам. Не возражайте и не оправдывайтесь. Слушать не хочу, откуда у вас эти фантазии. Закон справедлив к невинно оговорённым гражданам. Но он суров к оговорившим лгунам, помните об этом. Никаких подписок о неразглашении я с вас брать не собираюсь. На кону не государственная тайна. В ваших интересах, чтобы выпущенные вами небылицы прекратились. Всё. До свидания. Надеюсь, что не до встречи в кабинете следователя.

— Вот так поворот, — изумился Валера, когда селяне вышли из сельсовета.

— А что ты хотел? Рука руку моет. Ворон ворону глаз не выклюет. Или забыл, чья она мать? Вот то-то и оно, муженёк.

— Какая ни есть наша полиция, а она — механизм государственной машины. Ну а с государством тягаться даже в поисках правды бесполезно не только у нас. Всякое государство в бараний рог согнёт любого, кто выступит против его порядков. Даже в случае беспорядка, как в нашем случае, — это тоже защита существующего положения дел, порядка в ведомстве, — Семён будто хотел поставить жирную точку в недолгом разговоре.

— Доходчиво объяснил, философ ты наш, — закончил тему Валерий.

Строги запреты, да шила в мешке не утаишь. Если и не успели на момент сельсоветского разговора поползти слухи, то постепенно об откровении Никодима узнали в Ивановке и в окрестностях. И в народе не обошлось без афоризмов. «Свой своему поневоле друг... Ворон ворону глаз не выклюет... Рука руку моет... Своя рубашка

ближе к телу»,— высказывались мнения об отводе полицейскими своих родственников от ответственности.

Недолго Наина ходила по Ивановке с высоко поднятой головой. Ощущать себя изгоем, отвергнутым всеми, кто встречается, вряд ли кому по силам. Осенью Наина и Никодим переехали жить в Идрень. И всё бы ничего, но через несколько месяцев после того переезда исчез Никодим. Без денег и документов, бесследно исчез. Знакомые допускали, что замёрз где-нибудь, замело снегом, а весной вытаяет. Снег сошёл, а Никодима не было и нет нигде. Только кому он нужен, без рода и племени, чтобы искать его?

Было ли изначально известно следователям об убийце Таи, остаётся только гадать.

Инна Новикова

И тут пришли ёжики

Первое место в краевом литературном конкурсе имени Игнатия
Рождественского в номинации «Произведения для детей»

...И вот королю сказали, что когда принцессе исполнится шестнадцать лет, она уколется веретеном и заснёт на целую вечность. Король ужасно огорчился и чуть не заплакал. Потом рассердился и затопал ногами! А потом взял да и запретил в королевстве все веретёна, иголки, вилки, кнопки, циркули...

— И даже ёжиков?!!

— И даже ёжиков.

— И что они стали делать?

— Известно что: собрались да в другое королевство ушли.

— А в какое?

— В Тысяча Сто Одиннадцатое. Хотели в Тридесатое, но по дороге увидели указатель: «III», — и им так понравились эти четыре единички...

— Потому что на ежиные иголки похоже?

— Ну да. Король, кстати, этот указатель тоже потом запретил.

— А что дальше было?

— Ну как... Исполнилось принцессе шестнадцать лет...

— Нет, с ёжиками что было?

— А... Нормально всё у них было. Они добрались до Тысяча Сто Одиннадцатого королевства, устроились там... Их даже геральдическими животными назначили, потому что действительно все заметили, что иголки похожи на единички. Король, когда на трон садился, брал в руки скипетр и державу — шарик такой золотой. А теперь стал ёжика вместо державы брать.

— А ему не колюче было?

— Так он же в королевских перчатках!

— В золотых?

— В позолоченных. А ёжики эту позолоту потихоньку иголками сцарапывали, и сами тоже золочёной пылью обсыпались. Сразу видно, что королевские животные! Ходят такие по всему королевству, как священные коровы по Индии... Везде им почёт! Идут мимо фруктовой лавки — им яблок бесплатно на иголки нацепят, слив там разных, винограда... Идут мимо кондитерской — им кексы шоколадные бесплатно, пирожные...

— А могли бы хоть по одной иголочке позолоченной оставлять, чтобы лавочник совсем уж не разорился!

— Да ну, иголки-то больно выдёргивать! Они вместо оплаты часок-другой в витрине посидят, поблестят иголками, народ сбежится... Смотрят — ёжики кексы шоколадные трескают, ну и все тоже кексы покупают. Так была изобретена первая реклама, между прочим! Один только золотых дел мастер ничего им не давал.

— Почему это?!

— А он придумал сам изготавливать ёжиков! Из чистого золота. Очень похоже получалось. И сразу в такую моду ёжики вошли, что их даже за границу продавать стали. Перстни с ёжиками Цезарь Борджиа из Ватикана большими партиями заказывал... Шпоры для рыцарей тоже в виде ёжиков стали делать. И вот однажды модный такой принц купил себе новые шпоры да и поехал в них на охоту. И то ли он заблудился, то ли за бизоном каким погнался, а только заехал в чужое королевство незнакомое. Деревья все незнакомые, животные незнакомые... Ежа вообще ни одного не видать, хоть глаз выколи! И вдруг видит: в густых-густых зарослях какие-то башни вроде бы виднеются. Замок, что ли? И стало ему интересно. Взял он свою палицу с наконечником в виде ежа — и ну эти заросли крушить! Расчистил себе дорогу, смотрит — правда замок. Старинный такой, красивый... Он — в замок! Идёт такой, всё разглядывает... И вдруг видит — принцесса прямо на троне спит.

— Заколдованная?

— Да нет, просто она соня такая была... Но красивая — глаз не отвести! Принц говорит: «Здравствуйте, прекрасная принцесса! Можно я вас поцелую?» А она спит, не слышит... Он тогда говорит: «А молчание, между прочим, — знак согласия!» И наклонился, чтобы принцессу поцеловать. А у него цепь такая на шее висела — по последней моде, из золотых ёжиков, и только он наклонился, как цепь свесилась и уколола принцессе руку! Принцесса как подпрыгнет спросонья! «Ой! — кричит. — Ай! Мамочки!» Тут её мама из соседней комнаты прибежала. Тоже довольно сонная королева была, но на дочкин крик мигом просыпалась. Видит: принц какой-то незнакомый, но ничего так себе принц, подходящий... Она и говорит: «Молодой человек, вы знаете, у нас тут королевский приказ где-то валялся: кто принцессу разбудит, тому её в жены!» И побежала короля будить. Будит-будит, добудиться не может. Тут принц с принцессой прибежали, принц свою цепь с шеи снимает. «Вот, — говорит, — попробуйте ему шею помассировать, очень хорошо снимает сонливость». Королева почесала королю шею золотыми ёжиками, король проснулся и тут же, пока снова кто-нибудь не заснул, — гонцов во все концы, свадьбу королевскую, пир на весь мир... А цепь разобрали по ёжикам и разыграли между гостями, чтобы они крутили этих ёжиков в руках и не засыпали в неурочное время. — А, так это, наверное, было китайское королевство! Они потом изобрели шарик су-джок, колюченький такой! Все нервные окончания активизирует!

— А, ну, может, и китайское. Потому что золотых ёжиков всё равно на всех не хватило, и они обратно из Тысяча Сто Одиннадцатого обычных ежей выписали. Министрам на стулья разложили, чтобы на рабочих местах не спали, чиновникам тоже всяким...

— Ничего себе у ежей жизнь началась! То в золоте ходили и шоколад трескали, а то на них министры какие-то садятся!

— А министрам, думаешь, понравилось? То они спали сладким сном, а то ежи какие-то... Министры вообще забастовку объявили и перестали на работу ходить!

— И что?

— Да ничего! От них и раньше никакой пользы не было, никто и не заметил, что там теперь ежи вместо министров сидят... Им говорят: извольте в кассу, жалование получить! Ежи говорят: а, что нам ваше жалование, мы бесплатно посидеть можем, пусть нам только угощение из министерской столовой приносят. Торты там всякие...

— А, так вот как был придуман торт «Ёжик»!

— Ну да. И вообще, слово «сладкоежка» раньше звучало как «сладкоёжка», только в типографии буквы «ё» закончились, стали «сладкоежка» писать.

— А потом?

— А потом суп с котом! То есть кот с супом. Был у них в королевстве котофей один...

— В сапогах?

— Ну, в сапогах он спал иногда; знаешь, раньше сапоги с такими широкими раструбами носили, вот он как раз туда по размеру входил. Но дело не в сапогах...

— А в чём? В шляпе?

— Нет, ну, в шляпе, конечно, удобнее спать, чем в сапогах! И по форме больше котам подходит, и помягче, и перья тебе тут же страусовые... Но эти перья бешеных денег стоили! Шляпы обычно от котов берегли, на крючки вешали...

— Ну так что кот?

— А что кот? Кот смотрит, как ежи обнаглели, и говорит: вы что, с ума все сошли? Ежей — тортами кормить! Там же сплошные эти...

— Жиры, белки и углеводы??

— Хуже! Консерванты и ароматизаторы! Совершенно идентичные натуральным! Ежи говорят: а ты тут что, диетолог? Кот говорит: а вот представьте себе! Ежи как представили, что кот и правда диетолог, — и ну суп наворачивать!

— Так невкусно же после торта?

— Что это невкусно-то! Отличный суп! Ну-ка, ещё ложечку за кота в сапогах...

Ольга Левская

* * *

Скрежет ставен, скрип трамваев, крики чаек и ворон.
 Век — замшелым караваем. Шишел где-то вышел вон.
 Небо, ножницы, бумага, камень падает в стекло.
 Солнце брызжет мимо флага, мимо славы, мимо слов.
 Буквы больше, чем фигуры, их размер — не твой размер,
 Ты пока ещё не хмурый, ты не первый ты не пер,
 ты ещё не врос в чужбину, ты уже не стал слепым,
 скрежет ставен, всё едино, дым отечеств — отчий дым...
 Папа трубочку закурит: самосад — как самострел.
 Скрип и грай. Нигде не дует. Знаешь — сед. А смотришь — бел.

ЗИМНЕЕ

Пахнет дёгтем, стружкой, воском,
 на полу сугроб опилок.
 По стене ползёт двухвостка.
 Вижу: дедушкин затылок.
 Вижу: рамки, рамки, рамки —
 будут соты, соты, соты.
 Дед работает рубанком,
 дед считает, пишет что-то.
 Я — царевна, кудри-стружки —
 по коленям, по ступеням.
 На ковре, наполнив кружки,
 пьют охотники с оленем.
 За ковром по брёвнам бродят
 злые страшные двухвостки.
 На печи опара бродит.
 Спички, старая расчёска,
 нитки — всё подряд в игрушки
 превращает скука детства.
 Я у дедушки в избушке.
 Не забыть, не наглядеться.

* * *

Все беззащитные защищаются словесами.
Чем слово сильнее, тем слабее плоть.
Беззащитные мучаются часами,
думая, как побольней тех, в щитах, уколоть.
Как прожечь этот ливер глаголом, и — к чёрту власть атома!
Как поставить клеймо в самой мякотке, изнутри.
Чтобы опытный, видевший всякое пато-лого-анатом
Сам себе говорил: что за чёрт, Боже мой, ты смотри...
А прозревшие ходят и смотрят рентгенами
сквозь сезонную ткань, трикотажи и прочий крой:
у того, в серой куртке, — под горлышком наесенено,
а у этой, в толстовке, — Гликберг на всё нутро.
И укушенность словом, прививка от тех или этих ли —
распознается братом по боли глаголовых ран,
и звучат, как пароли, сияют стигматы-отметины:
Вознесенский, Асадов, Лиснянская, Блок, Поженин...

* * *

Женщина — дудочка вечности.
Через её нутро
вечность поёт беспечное,
вечность глядит хитро́.
Что небоскрёбам хамельнов,
что леодоколам трой —
всем — танцевать под дудочку
радостно не впервой.
Кажется, в женщине-дудочке
спрятан большой секрет.
Ищут его рассудочно,
ищут безумно — нет,
честностью покалечена,
не распахнёт уста
дудочка звонкой вечности.
Ибо сама пуста.

* * *

Я — переводчик с русского на русский.
Я точно знаю: слово — это горечь.
В нём столько привкусов, что не заметить вкуса.
В нём столько припахов, что запах с ними спорит.
И я брожу, болея правдой слова
невинного, лелеемого втуне,
и примиряю коннотат июня
старухи (гул и боль смертей улова)
и коннотат подростка — тишину,
звнящую струной, пустые классы,
вокзал, печать билета (мимо кассы),
прощанье с дальними и близкими, луну
и первую бессмертную любовь.
И в той любви — приметы для старухи,
что гулом самолётов в детском ухе
ночами бредит. Да, любовь и кровь —
два способа всегда связать любых.
Два языка отдельных человек
сольются и в одну большую реку
впадут, и холодок вползёт под дых —
и все познают всё. И всех поймут.
А переводчик с бедного на бедный
на цыпочках уходит неприметно.
Его другие ждут.

* * *

По-прежнему строг мой разум.
А сердце — такая мягкость!
Всё ищет подслепшим глазом —
над чем бы ему заплакать.
Стучится комком тревожным
и давит, щемит, щекочет,
и в самую гущу хочет
безумно, неосторожно.
И разуму шлёт подарки,
и разуму шлёт картинки,
и разум дробит на яркие
какие-то четвертинки.
И я полушарием левым,
и я полушарием правым
даю сердцу право первым
быть, ну и чёрт с ним, главным.

* * *

Холландцы, прочь! Сибирский натюрморт:
в китайской миске греется сметана,
на полотенце — хлеб, и сыто-пьяно
нарезаны вповалку мясо, торт,
сыры (к ним мёд и розовый бокал),
колбасы (яд, особенно копчёнка).
Немного кофе, чёрт, тащи сгущёнку.
И — почему ты зелень не достал?!..
...Ну вот ещё кусочек. Три куска.
Салат — с собой, котлеты — в заморозку.
Рассвета греет узкая полоска.
Шансон в маршрутке — песней ямщика.

Искусствоведение: портрет за год до

ПОТРЕТ ИДЫ РУБИНШТЕЙН, 1910,
художник ВАЛЕНТИН СЕРОВ

На пути Одиссея —
Навзикая, как гвоздь.
На спине быкозевса —
как улитка, Европа.
Нелюбовью болея —
полюбить довелось.
И за это — глядеться
в холст слепящий — до гроба.
Оторочены веки
соболями ресниц.
Оторочены тени
холодеющим синим.
В новом зябнущем веке —
тяжело без границ
для стрелы и мишени,
для стрелка и богини.
Дети, жёны. Портреты.
Рам лепнина и лиц.
Вещество как обуза.
Долг растёт перед прошлым,
где, оправлена в лето,
из-под пуха ресниц
смотрит просто и грустно
та, что детства моложе.

РИМСКАЯ ФОТОСЕССИЯ СОФИ ЛОРЕН, 1955,
ФОТОГРАФ ДЭВИД СЕЙМУР

Лорен сидит, сквозь сеточку чулка
нога сияет, в рваном плещет солнце.
Божественна, расслаблена слегка,
слегка хмельна, фотограф — пьян до донца
причастностью к божественным ногам,
туману взгляда, всей породе самки,
которая любой мужской сезам
сердечный — с полпинка, и сразу в дамки,
нет, в королевы. Дикая весна,
душистый Рим, балкон горяч навечно.
А смерть уже глядится, влюблена,
в фотографа расслабленные плечи.

АЛЬФРЕД, СЫН ЭШЕРА ВЕРТХАЙМЕРА, 1901,
ХУДОЖНИК ДЖОН СИНГЕР САРДЖЕНТ

Припудрен. Чахотка. Болезненный взгляд.
И скулы торчат. Выпирает скелет
из юноши. В этом красивого нет,
но нужно немного поправить наряд,
немного добавить белил золотых —
пусть солнце ласкает несчастную плоть.

Да, пусть это пошлость — так пошл Господь,
на грязь насыпающий снег для своих
детей.

Светлана Мель

Улица Крайняя

Ты знаешь — сегодня в отъезде я,
Сегодня я где-то у края.
Смотрю на иные созвездия
И звёзды себе выбираю.
И явные звёзды, и тайные
Орнамент сплели надо мною...

Ты знаешь — здесь улица Крайняя:
Вот имя какое чудное!
Да, улица так называется —
Придумал же кто-то название!
Как будто за ней обрывается
Привычное нам мирозданье,
А дальше — лишь тучи лохматые
За краем обрывистым рыщут...
Зовётся здесь крайнею хатою
По праву любое жилище.

Казалось бы — впору отчаяться:
Край жизни, души замиранье!
Но если там что-то случается,
То случай заведомо крайний.

А мысли, как их ни выстраивай,
За краем повиснут тревожно...
— Не сильно ли дует у края вам?
— Нормально, — ответят, — жить можно...

А что — я, конечно, поверю им:
Весёлые вроде бы лица!
И есть что-то там вроде леера —
За край не позволит свалиться.

И ты ведь не знаешь заранее,
Где выскочит край мирозданья...
Подумаешь — улица Крайняя!
Чудное такое название...

* * *

Снова этот упрёк — этот старец с клюкой,
По тропе моих снов его вечные стуки.
До того, говорит, что всегда под рукой,
Вот опять, говорит, не дошли твои руки...

За испорченный сон я его укорю:
Мол, ни ночью, ни днём никакого покою!
Никуда от меня не уйдёт, говорю,
То, что каждый момент у меня под рукою!

Что ж, не кайся потом, — усмехнётся в ответ.
И клюка застучит по тропе, удаляясь.
Что уже ничего под рукой моей нет,
Я почувствую вдруг — и, конечно, расскаюсь.

* * *

Какая соль в досказыванье фраз?
Какая суть в удерживанье пауз?
Всё сказанное сказано не раз,
Но новый ветер треплет старый парус.

Какая цель пустопорожных слов?
Какая роль простых иносказаний?
Процессом увлечённый звездолов
У времени и так немало занял.

Какая пыль глаза запорошит?
Какая трель в ушах навек застрянет?
Случайный жест на раз судьбу решит,
А в важный миг хранитель чем-то занят.

Какая связь в несвязанных частях?
Какая часть не подлежит огласке?
И что за жизнь, когда родник иссяк?
И что за псих всегда сгущает краски?

Какая быль заставит всё простить?
Какая мысль расставит ударенья?
А верно ли, что можно возвратить
Всё то, что взял у времени на время?

Оно высокомерно не возьмёт —
За это время время станет старше...
Да кто ж его, в конце концов, поймёт?

Какая чушь! — воскликнет прочитавший.

* * *

Ты гулял себе, не трогал никого,
Ты внимание ничем не привлекал,
Хоть во всём держался стиля своего,
Избегая трафаретов и лекал.

Вдруг откуда ни возьмись какой-то тип —
За тобой идёт, калошами стуча.
Ты свернёшь — свернёт и он: ну как прилип!
Звать полицию? А может быть — врача?

Шаг прибавил. Оторвался. Убежал...
Пригляделся — и опять ты не один:
Снова рядышком пристроился нахал,
Притворился, что приличный гражданин.

Отошлёршь его, а попросту — пошлёршь,—
Будет третий. И четвёртый, и восьмой...
И у каждого во взгляде ты прочтёршь:
«То не я с тобой — то ты навек со мной...»

Подмигнёт: заметь, мол, ты — совсем как я,
Ведом мне в твоей душе любой изгиб.
Приглядись: с тобой мы ближе, чем друзья!
Я твой бог, твой дьявол, твой стереотип!..

Вот те на! А ты-то думал, что далёк
От всего, что на единый шьют аршин!
Ни один кумир не тронул, не увлёк!
Ни один мотив не лёг на дно души...

Тренды-бренды все, бестселлеры, хиты —
Это всё не про тебя, всё не твоё!
Диск отдельный у тебя, свои киты,
Черепаха... Ну и прочее зверьё.

Персональным тараканам в голове
Поголовно всем давал ты имена!
Ты — один отдельно взятый человек!
Нет, не гений ты, но не похожий на...

Размечтался! Ты один, а их полно —
Этих «формулолюдей», всё — суета:
От одних тебе отречься суждено,
Чтоб до самого конца к другим пристать.

Хоть всю жизнь мечись, топырься, исчисляй
Траектории — шерсть дыбом, хвост трубой!
Брось, не мучайся — гуляй себе, гуляй!
Будет проще. И останешься собой...

Ольга Немежикова

* * *

В тему молчат мобильные.
Мысли как в холодильнике.
Яблочки молодильные —
Словно вино в мороз.

Вот и зима. Да ей-то что!
Белой укрыла ретушью
Город. Тоскливо? Нетушки!
Воздуха тусклый шёлк.
Едет автобус. Девочка
Смотрит в окно. Печаль в зрачках:
Голубь на голых веточках...
Папа вчера ушёл...

* * *

Чай из душицы с мятой —
Зноем тоскует лето.
Не понимаю, где ты.
Думаю о тебе.
Чайник, с горелки снятый,
Всхлипнул бочком, задетый
Ложкой случайно. Где ты?
Писано по воде.
Пряники... Нет, не с мёдом —
Просто мятные пряники.
Пискнул комарик пьяненько —
Мелкий подвальный тать.
Рано вставать. Погода
Шепчет о прошлом. Впрочем,
Ночью всё небо — в клочья,
Крошек не сосчитать.

* * *

За горизонтом сизый горизонт
Уходит. И никак не дотянуться.
И взглядом не приблизить. Но резон
В остывший дом когда-нибудь вернуться
Едва ли есть. Там нет уж ничего.
Там даже позабыто моё имя.
И был ли дом? Да не было его...
Но были голоса, и я — за ними:
Найти. Себя. Без заданных примет.
И что мне дом? Не в нём искать ответ.

* * *

Тропинка — лёд, и не ступить ногой,
Настолько скользко в ней и неуютно.
А мне никак не встретиться с тобой,
Хотя мы вместе чуть не поминутно.

И солнце блещет ярко, невпопад,
Холмы срезая, как ножом, тенями.
Иду навстречу солнцу, наугад,
По абрису стихов, что между нами.

Опять споткнулась — рифма сорвалась.
Да где же я сейчас? В котором лете?
Куйлюкнул ворон. Ускользает час,
Присыпанный снежком на этом свете.

НОВОГОДНЕЕ

Что написать?... Что будет хорошо:
Не мы, так звёзды всё за нас решили.
Тебе — кристальной стопку, посошок,
А я открою том Мамардашвили.

Что написать?... Что скоро Новый год,
А с ним и радость. Боже мой, о чём я?..
Мой вымысел, мой шарик золочёный,
Хранит старинный бабушкин комод.

Что написать?... Писала год назад,
И три, и пять — полнейшее фиаско.
Волшебный шарик. Ёлка. Маскарад.
Я не отправлю. Некому под маской.

* * *

Наполнено море до синих краёв
Волнующей пантомимой.
Кому симбиоз, а кому и любовь,
И радость совсем не мимо.
У рака Она на ракушке живёт —
Прекрасная анемона.
О нежный мираж, лепестковый полёт...
Дрожа, ускользает крона...
Отшельник доволен — чарующий сон
Без нервных забот впридачу!
С ней гордо по рифу гуляет он.
В кораллах ракини плачут.
Он любит изысканный антураж
И быть на других непохожим.
Он странный немного: не любит пляж,
Его анемона — тоже.

* * *

Иногда хочется о любви.
Даже тебе. И почти без метафор.
А то всё давали Фальстафа,
Ну, почти что Фальстафа.
Иногда хочется голубиной

Любви. Просто. Как просо,
Которое птицы склюют.
Но она останется тут,
А не бродить по киоскам.
Господи... Где её носит?!

* * *

У Цвейга небо такое звёздное,
Что светом исходит ночь.
Не меньше, чем звёзд, многоточий
И слёз — читаешь и думаешь:
Ну чего он хочет?
Ведь не получит, дурак.
А она — вот так...

ДВОРНИК

Началась зима, и снега
Много выпадет ещё.
Дворник чистит дворик-лего,
Выставляет снегу счёт

За заваленную горку,
За дорогу-колею,
Цедит блажь скороговоркой
Про судьбу и про семью,

Что за тридевятьземельем
Где-то есть, а может... нет?
Нет! Он точно помнит: ценник
Был в письме — за свет и бред.

* * *

И что их тянет в ад-медсанбат,
Когда знай детей рожай?
Люби младенцев — сосут да спят.
А эти — в мужской пожар,
Где кровь да стоны... Христос. Аллах.
Под утро — тела. Но вдруг
Заклинит сердце: вон тот, в бинтах,
Контуженный и без рук...
Он бредил ночью, читал стихи
О мёртвой, живой воде —
Просил сестру отпустить грехи.
Отпущен. Живым. К тебе.

* * *

Найти тебя среди осколков,
Конечно, звёзд, а не стекла.
Под глухарём висит двустволка.
(Патроны вынула.) Дела
Меня немного задержали —
На пару дней... Или веков?..
Ну что ты, милый? Пусто в зале
Без этой вазы, без цветов...

* * *

— Нет, вы бросьте!

У карпа очень опасны кости:

Проколют кишки!

— Ма-тушки!.. Что слышу?

Да они растворятся выше:

Кислота желудка разъест

И ничего не оставит!

В уши лез спор о костях,

Об искусстве фаршировать и жарить.

На радостях, что меня не касается

Карп, с привычной сноровкой

Выпрыгиваю на остановке.

Любовь... Адамова кость.

И куда этой рыбе!..

Дмитрий Мурзин

* * *

Мой милый друг, я шлю тебе привет
С границы между радостью и болью.
Аз есмь региональный компонент.
Меня всего теперь изучат в школе.

И я сто раз в гробу перевернусь,
Я поперхнусь вином «Киндзмараули»,
Когда мои творенья наизусть
Проямлит второгодник Хабибуллин.

Я буду выступать то здесь, то там,
Вокруг меня — иные компоненты:
Аплодисменты, водка, суета,
И водка, и опять аплодисменты.

И так пройдут года. И много лет
Моя жена вздыхает тихо в спальне:
Где шарится её региональный,
Подвыпивший, любимый компонент?

* * *

Мне стыдно вспомнить почему-то,
Хоть красным выделяй строку,
Как во дворе Литинститута
Давал начало ручейку,

Не позаботившись о тыле:
Припёрло так, что прямо край!
А за спиной окно открыли...
«Что он творит! Ах, негодяй!» —

Сказал мне в спину ректор Есин.
И тут же замолчал ручей.

Напредавал. Накуролесил.
А стыдно из-за мелочей.

* * *

У меня большая нога.
Неудобно.
Сорок шестой — сорок седьмой размер.
С юности я ношу не то, что нравится,
а то, что не сильно жмёт.
Раньше это были боты «прощай, молодость»,
сейчас — какие-нибудь китайские кроссовки.
Невидимая рука рынка
не помогла
моей видимой,
заметной,
большой
ноге.
Однажды
на чердаке отцовского дома
я нашёл свои старые боты.
Удобные боты «прощай, молодость».
Примерил.
Оказались впору.
Молодость меня простила.

* * *

Г. Калашникову

Это озеро для постояльца —
Как заноза, туды-растуды...
Водоём, где нельзя искупаться,—
Бесполезная трата воды.

Ждут пожара и дуют на спичку...
Постоялец взирает в окно,
Где на озере дразнит табличка
Про «купание запрещено».

Ни сегодня, ни завтра, но скоро,
Послезавтра, скорее всего,
Чтоб спасти водоём от позора,
Окунётся в пучину его.

Погрузится в запретные воды,
Вскинет руку: всегда, мол, готов,—
Выжмет плавки, как зная свободы,
И дворами уйдёт от ментов.

* * *

Легко, по погоде, одета,
Раздета ли — кто разберёт,
Нетрезвая девушка Света
Домой с вечеринки идёт.

По розовой кромке рассвета,
Туда, где батяня побьёт,
Нетрезвая девушка Света
Чуть-чуть, еле-еле бредёт.

Вращается тихо планета,
Над городом брезжит восход.
Светает со скоростью Светы:
Чуть медленней — и не взойдёт.

* * *

Не давай мне, Боже, власти,
Чтоб тираном я не стал,
Да избави от напасти
Капиталить капитал.

Ниспошли смягченье нрава,
Всё, что будет, — будет пусть,
Но не дай отведасть славы,
Потому что возгоржусь.

Ничего не надо даром,
Для других попридержи
И большие гонорары,
И большие тиражи.

Дай мне, Господи, остаться
Аутсайдером продаж
И блаженно улыбаться,
Раздаривши весь тираж.

Но дрожат от счастья пальцы,
В голове — мечтаний дым:
Сколько же сорву оваций
Я смирением своим.

* * *

Сергеев-Мценский. Новиков-Припой.
Как странен нынче путь в макулатуру...
Найти между страницами купюру
Страны иной.

И прошлое вскипающей волной,
Пощёчиной и бешеным аллюром,
Забытым поцелуем, пулей-дурой,
Беспомощностью, счастьем и виной

Нахлынет, неотвязно, как икота...
Откуда здесь зелёная банкнота?
Прекрасен ли, ужасен наш Союз
Советский — и поди не разбери
Аптека, ночь, канал и фонари...
Над трёшкою слезами обольюсь.

* * *

Игорю Дронову

Разберите на запчасти
Молодого дон-кихота.
Человек рождён для счастья,
Словно рыба для полёта.

Сердце разорви на части,
На четыре части света:
Человек рождён для счастья,
Как ондатра для балета.

Ничего не в нашей власти,
Только выбор: либо — либо.
Человек рождён для счастья,
А ондатра — это рыба.

Нашей долей даже глыбы
Начинают тяготиться:
Человек рождён для рыбы,
А ондатра — это птица.

Всё, чему учили в школе,
Позабудьте, перекрасьте.
Человек рождён для боли,
А ондатра — это счастье.

* * *

А. Б.

Так сложилось с самых давних пор,
Может быть, с начала мирозданья,
Для чужих — проклятье и позор,
Для своих — елей и оправданье.

Дорогой маэстро, врежьте марш.
Как сказал Сусанин: гидом буду,
Если скажут, что Иуда — наш, —
Наплевать, отмажем и Иуду.

* * *

Морского волка кормят плавники
И те, кто заплывает за буйки.
Хватает виртуозно за мениск
И тянет с безнадежной силой вниз
Курортников, отбившихся от стаи,
И к сентябрю их поголовье тает.
И лижут волны шлёпки и футболку —
Свидетельства побед морского волка.

* * *

Мы брали — ну и перебрали,
Затих наш умный разговор...
О чём играет на рояле
Непросыхающий тапёр?

Как у него выходит гладко,
Слащаво, всё да об одном...
Играет он о чём-то гадком,
О чём-то мерзком, неродном...

О чём-то гадком, чём-то мерзком,
Неторопливо, не спеша,
Так не по-русски, не по-детски,
Что аж кукожится душа.

Я морщусь, а сосед икает,
И нужно что-то предпринять...
Пока в тапёра не стреляют,
Он не научится играть.

* * *

Накосячил наш конь с бороздой.
Накосячил со щукой Емеля.
Поманило нас небо звездой —
Вот и цель. Ну а кто мы без цели?

А куда нам без цели? Куда?
Лишь на кладбище либо к острогу...
Путеводная светит звезда,
Освещая, к примеру, дорогу,

По которой — ни славы, ни мзды,
По которой шагаем повзводно
Мы на свет путеводной звезды —
Биполярной звезды путеводной.

* * *

Темно, как у негра в Европе,
Хоть шилом в мешке глаз коту
Коли, и не хватит потопа,
Чтоб смыть с кобеля черноту.

«Здесь будет концерт Игги Попа».
Не сад. И афиши висят.
А что там случилось с Европой?
Закат? Ни фиги се закат!

Купить себе майку в Майкопе,
Бред выбросить из головы...

А что там белеет в Европе?
Да нет. Показалось. Увы...

* * *

Какое сильное звено,
Но — выпавшее из цепочки...
Уменье свыше нам дано —
Как пропадать поодиночке.

По одному нас ловит стая:
Под дых — ага, по морде — хрясь,
Как бы резвяся и играя,
Но не играя, не резвясь.

Владимир Полухин

* * *

Внезапно вечером заломило левый висок.
Шаги через силу — словно в песок
По щиколотку увязли ноги мои.
Ты не замечала. Убегала. Кричала: «Лови!»

Внезапно понял, что уже не двадцать пять,
И вместо: «Боже мой» — шиплю сквозь зубы: «Твою мать».
Всё чаще вопрос: «Хватит ли сил для нового дня?»
Любимая, не рискуй. Не стоит ставить на меня.

* * *

Наблюдаю за прошлым —
Двор, солнце, под забором горошина.
Вот кошка — чем-то неявным встревожена.
Вот маленький росток — проклюнулась горошина.

Жжётся — коленки зелёной измазаны.
Если отмыть — мы будем разными.
Но пока не поймали, скачем чумазыми
В пыли под тополями, акацией, вязами.

В кастрюле на печке вода греется.
По телевизору — «Время» (лет десять ещё не изменится).
Всё чаще в мыслях тянусь к улетевшему прошлому.
А вокруг старый лес — то, что было горошиной.

* * *

А у нас как обычно — привычный порядок:
нет скандалов, майданов, нет драм бытовых.
В нашем местном пруду извели всех русалок,
и беззубым (так принято) пишется стих.
Этот город притих, погрузился в сиесту,
притворился курортным — и всё, нет проблем.
Только мальчик с гитарой здесь явно не к месту.
Его пафос наивен — мы не ждём перемен.

* * *

Я замёрз. Дай мне плед, шерстяные носки — я мечтаю согреться.
Принеси мне дымящийся кофе, бульон, молоко или мяту.
Я устал от людей и сетей, где мы вместе и порознь публично распяты.
Я прикрою глаза — попытаюсь увидеть последние отблески детства.

Измельчала эпоха — или мы стали очень большими.
Нас уже не заводят скандалы, интриги и драки.
Меня больше волнуют бегущие стаей собаки
И какая погода нам выпадет на выходные.

Это просто хандра. Это осень в классическом стиле.
Я сейчас побрызжу пять минут — и больше до завтра не буду
Не ругайся. Я помню про график... Встаю и иду мыть посуду.
И я рад, что ушли наконец всевозможные «или».

* * *

Протянуть руки,
Взять,
Крепко сжать,
Прислушаться к дыханию,
Начать дышать
Синхронно,
Дышать в унисон.
Это реальность
(Я сам в это верю с трудом).
В этой реальности уже не поставить в загон.
Научившись дышать — не ужиться в загоне.
Страшно вспомнить, сколько блёклых лет провёл в коме,
Как-то передвигаясь, общаясь, местами греша,
Местами дрожа...
Но не дыша.
Так, не дыша,
В этой реальности не умереть со скуки...
Протянуть руки,
Взять,
Крепко сжать.

* * *

Мы знаем, как моря становятся морями,
Оставаясь чем-то мокрым,
Видим в стёклах отраженья тех, кого нет с нами,
Только сами как-то блёкло
Смотримся в зеркалах и портретах на камне.
Яркие краски только на экране,
Яркие краски — вкус запретного плода.
Вы искрились, несмотря на то что погода
Была то липко-пасмурной, то липко-жаркой.
Противоестественно отказываться от подарков.
Противоестественно отказываться от счастья —
Последнего, предпоследнего, предпред...
Потускнел, рассеялся тот свет.

Иногда бывает — ночью не приходит сон.
Идёшь на ту самую страницу тайком.
Ведь в стёклах отражаются те, кого нет с нами.
А моря — они мокрые. Они так и останутся морями.

* * *

Опять ноябрь подкрался незаметно:
Внезапный насморк, на дороге гололёд.
Приходится всё чаще — против ветра.
Но...
Всё пройдёт, родная. Всё пройдёт.

Длиннее вечера, и разговоры
Плутают и теряются в потёмках.
А за окошком снег присыпал горы.
Готовятся волхвы идти на поиски ребёнка.

А в небе — звёзды, звёзды, звёзды, звёзды!
А дома — дети, дети, дети, дети...
Переберём воспоминания о лете.
Родная, а давай сегодня ляжем спать не поздно.

* * *

Душное лето.
Аэропорт. Я с букетом.
Встречаю. Встречаемся. Взгляд.
Так через прицел за мгновение глядят —
За мгновение до выстрела.
А здесь и сейчас немыслимо
Даже представить такое.
Это как в пирожном перец...
Мы не виделись почти месяц...
Объяснение, через пару минут, простое:
— Милый, нас теперь уже не двое.
Задержка четыре недели.
Да-да, как раз перед тем, как мы улетели.
Кто-то из нас был неосторожен.
Забей. Ты мне ничего не должен.
Это только моё дело.
Я всё давно решила.
Это моё тело.
Я не хочу, как страшила,
Ходить с токсикозом и пузом.
Мне до диплома два года.
Мутит. Голова идёт юзом.
Гадская здесь погода.
С Леночкой съездим в больницу,
Она там была два раза.
Ничего со мной не случится,
Ничего.
Обрубаем проблемы сразу.
Я что-то кричал, шептал, говорил —
Не помню. Да какая разница...
Вчера вот дочери за океан не звонил.
А получилась умница.
Да и красавица.

* * *

У меня плохое воображение:
Я не могу представить океан любви,
Я не знаю, что такое океан любви.
Я знаю, что такое капля любви —
Это ровно столько, сколько у меня есть.
Капли не хватит на весь мир,
Так же как одной спичкой не согреть зиму.
Но, может быть, именно этой капли
Тебе не хватало для счастья.

* * *

Когда я исчерпаю небо,
Когда себя поймаю в луже,
То вспомню город, где я не был,
И вспомню всех, кому был нужен.
Я вспомню всех их поимённо,
Перелистаю попортретно.
Их далеко не легионы,
К тому же, унесённые ветром
Из них не меньше половины —
Кого куда, жаль — безвозвратно...
И жизни... меньше половины
Осталось.
Память, пепел, пятна...

Сергей Марков

ЦВЕТЫ

Я вижу всех женщин цветами в саду,
В них тайной любви аромат.
Я, им опьянённый, как будто в бреду
Иду каждый день в этот сад.

В чудесном цветении всею душой
Впадаю в блаженный экстаз.
Мгновение истины передо мной —
Сияние любящих глаз.

Как нас красота потрясает порой!
Смолкает рассудок пред ней,
И сердце, напоенное красотой,
Всё любит сильнее и сильнее.

И в этом прекрасном Эдемском саду
У каждого есть свой цветок.
Но нет, я его никогда не сорву:
Так близок он мне и далёк...

ОСЕНЬ

Как осенний хрусталь поднебесья,
Чистый воздух прозрачен и свеж.
В обнажённых лесах и полесьях —
Облетевшие листья надежд.

Облетевших иллюзий мечтанья —
Нашей жизни пустое хламье —
Пробуждает в душе осознанье,
Что всё это уже не моё.

Не моё, потому что увяло,
Не моё, что уже не сбылось.
Не моё... Но живое начало
Лучше, чем затрапезный погост.

Впереди много счастья и света,
Много чудных, прекрасных надежд.
На краю облетевшего лета
Чистый воздух прозрачен и свеж!

ПЕРВЫЙ СНЕГ

Первый снег, как волшебная пудра,
Покрывает всю грязь на земле.
И природа, проснувшись наутро,
Чистотой засияла в заре.

Как невеста в искрящемся платье,
Ожидающая жениха,
Не дождавшись, каплейю заплачет,
Обнажится, не зная греха.

И, как прихоть, меняя обнову
Бесконечное множество раз,
Для любви постоянно готова
Душу радовать, сердце и глаз.

И душа, ощутив сопричастье,
Обретает любовь и покой —
И то самое высшее счастье,
Достижимое лишь чистотой.

Александр Ёлтышев

Поэт

Памяти Анатолия Третьякова

Порывы унять, обиды забыть
и кануть в ущелье...
Но хочется жить, как хочется пить
в пустыне с похмелья.

Ах, как нелегко сей мир покидать:
расправы жестоки —
себя исчерпать и нестрадать
последние строки.

БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ

Медведь, не пробовавший мёда,
вогнавший внутрь тюлений жир,
арктического ледохода
приговорённый пассажир.

Его клыков клавиатура —
звериной ярости каркас,
его запахнутая шкура
уже поделена не раз.

На лоне льдины лучезарной
среди просторов продувных
рычит со спесью заполярной
на тусклых жителей лесных.

Его натянутые нервы
по телу пропускают ток,
когда отчаянные нерпы
хватают воздуха глоток.

.....

Сквозь вой предательской метелицы
медведя грохнул автомат.
Две семизвёздные медведицы
на страже вечности стоят.

НАЕДИНЕ...

Предстанет хуже нудного пророчества
мир суетливый, шумный, как вокзал,
и так нырнуть захочешь в одиночество,
которое недавно проклинал.

На твой вопрос изысканно банальный:
«Так как же быть? Толково вразуми»,—
ответчу: жить, конечно, идеально
наедине... с прекрасными людьми.

НЕСОСТОЯВШЕЕСЯ

Я в суете узнал тебя по жесту,
который не испортили года.
Не стала ты тогда моей невестой,
не станешь таковою никогда.

Из угольков не разгорелось пламя,
котёл страстей не закипел в крови...
Но сохранила ласковая память
блаженное предчувствие любви.

ПРОГУЛКА

Весёлая июльская пора,
ликуют карусельные площадки,
сегодня торжествует детвора:
прогулка по аллеям на лошадке.

В седле девчушка — пышненький букет,
в глазах от счастья заискрились слёзы,
а дачница смеётся ей вослед
и ожидает порцию навоза

САЛЮТЫ

На небесах в распахнутой ночи
болид оставил росчерк: «Безвозвратно!»
И вспомнишь: от копеечной свечи
столица полыхала многократно.

Кошмары и во сне, и наяву
терзают нас, то вкрадчивы, то люты.
Надеемся, что матушку Москву
не подожгут помпезные салюты.

СПОНТАННЫЙ КОНЦЕРТ

Автобус спешит, рассекая поля и поляны,
автобус торопится не опоздать на паром.
В салоне трясущемся тенор звучит и сопрано —
спонтанный концерт происходит в театре лесном.

Изысканный фрак изогнулся в плену чемодана,
а вместо оркестра играет натужный мотор.
Но голос при нём — и весёлый Евгений Балданов
пронзает романсом восточно-сибирский простор.

Палящим июнем стоим в ожиданье парома,
старательный бриз обдувает лесную красу,
а нас соблазняет радушие речного приёма.
И как не нырнуть в преградившую путь Бирюсу?..

...Испуганный Ленский по оперной мечется сцене,
страдалец гадает: куда устремится стрела?
Бальзам Бирюсы принимает Балданов Евгений,
причуда искусства их вместе однажды свела.

СТРУЖКА

Я вспомнил первую профессию
свою (оставьте едкий смех),
когда с напыщенной процессией
вошёл в инструментальный цех.

Прошедшее стихийным бедствием
набросилось со всех сторон,
станок всю меня приветствовал,
вращая шпиндель и патрон.

Я подошёл к седому токарю,
встревожив в памяти печаль.
Он с ювелирной твёрдой точностью
ласкал капризную деталь

и с выстраданной виртуозностью
в режиме дерзких скоростей...
А я, противник скрупулёзности,
сменил её на мир страстей,

где боль сладка, и радость жгучая,
и ненадёжны тормоза...
А стружка, злая и колючая,
мне злобно целилась в глаза.

СТРАУС

Натянут воздух, будто парус
к фарватеру наискосок.
В мешке нашейном робкий страус
несёт просеянный песок.

Давно вселился в город страус:
комфорт, уют, цветы, трава...
Но без барханов исстрадалась
испуганная голова.

И посреди своей квартиры,
паркетный осквернив настил,
защитой от агрессий мира
песчаный холм соорудил.

Он счастлив, словно вихрь весенний,
и отдыхает от забот —
он знает, где его спасенье
от всех напастей и невзгод!

ПОЗНАНИЕ

— Мне мир увидеть интересно,
и я гоню свой самокат
от Бухары до Бухареста
и из Самары в Самарканд.

— Гоняй по свету хоть лет триста,
пронзая страны и века:
познаний праздного туриста
цена, увы, невысока.

Сумей без внешних дерзновений,
не покидая свой чердак,
проникнуть в глубину явлений,
понять, зачем оно и как;

покровы с Истины срывая,
почуять сердцем правоту
и жить, сочувственно взирая
на мировую суету.

ЯБЛОКИ

Вдоль дороги, что к закату летела,
Кони в яблоках неслись оголтело.
Мы — навстречу, как шальное цунами,—
насладиться не смогли скакунами.

Жгут сомненья в суматохе событий:
может, это не табун прокопытил?
Может, яблони созрели под осень
и пустились вдоль дорог плодоносить?..

Годы канули, а мы не узнали,
что в то утро навсегда прозевали,
что стремительно мелькнуло на склоне:
роща яблонь или в яблоках кони?

О ПРОГНОЗАХ

Мне скучно приходиться к гадалке
и принимать её шпаргалки.

Торжественно и крутолобо,
познавший таинства планет,
глядит на мир астролог Глоба —
загадок нет, сомнений нет.

Вещай, мудрец, но мне приятней,
когда не ведаю о том,
что нынче ждёт меня: объятья,
а может, ругань и проклятья,
и — по ступенькам кувырком!

ЯНТАРЬ

Погасло детство, как заря,
и вспоминается всё реже
смолистый шёпот янтаря
на пляжах рижских побережий.

...А я уж думал: утону,—
спасли балтийские ребята.
Случайно в память загляну —
и ветер тянет, как струну,
канву янтарного заката.

Наталья Калеменова

Добровольцы Первой мировой

ОХОТНИКИ ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА

С первых дней войны в воинские присутствия по всей России стали приходить люди, которые вполне могли благополучно и спокойно отсидеться в тылу: никаких повесток они не получали и не могли получить. На фронт решили отправиться добровольно — по велению сердца.

Нет общей статистики добровольческого движения по России, известны лишь отрывочные сведения. Например, только в Москве за первые два месяца войны больше семи тысяч человек выразили желание добровольно идти на фронт. Сколько их было у нас, в Енисейской губернии, — неизвестно. Можно предположить — немало. Основание для такого предположения — утверждение многих исследователей о том, что среди добровольцев особенно много было детей и родственников участников Русско-японской войны. Но известно, что мобилизация военнообязанных на эту войну в основном шла в Сибири, почти не затронув губерний Центральной России и её южных окраин.

Особенно много охотников (так ещё называли тогда добровольцев) было среди юношей, пылко мечтавших «о доблести, о подвигах, о славе». А сколько было мальчишек (и даже девочек!), рвавшихся на фронт! Одним из самых известных юных добровольцев Первой мировой войны стал сын кухарки из Одессы Родион Малиновский — будущий советский маршал. В шестнадцать лет он сбежал на фронт и, отличившись в бою, был награждён Георгиевским крестом 4-й степени. Одним из самых юных добровольцев был десятилетний (!) Степан Кравченко — рядовой пулемётной команды 131-го Тираспольского полка. Он имел два ранения, а за спасение пулемёта его наградили Георгиевским крестом 4-й степени.

К сожалению, нам очень мало известно о добровольцах из Енисейской губернии. Имена лишь некоторых из них промелькнули в скудных сообщениях газет военного времени. Вот одно из них: «В своё время в „Откл. Сибири“ (газета „Отклики Сибири“, выходившая в Красноярске. — Авт.) сообщалось о том, что сын местного обывателя шестнадцатилетний Райхельсон сбежал на войну. На днях Райхельсон возвратился в Красноярск из действующей армии. Он участвовал в нескольких боях с германцами, находясь в команде пеших разведчиков одного из сибирских полков. Райхельсон ранен в ногу и, кроме

того, контужен в левое плечо и голову. Юный доброволец привёз с собой несколько трофеев, как то: германские штык, ружьё и проч.» (1 января 1915 г.).

Ещё одна информация из «Откликов Сибири»: «Бывший воспитанник местной гимназии Конст. Константинов, отправившийся на войну в качестве добровольца, был ранен в бою около Л. и находился на излечении в полевом лазарете в Гатчино, откуда 27 декабря выехал обратно в действующую армию» (8 января 1915 г.).

Казалось бы, воспитанникам Красноярской духовной семинарии, будущим священникам, несвойственны мечты о ратных подвигах, о воинской доблести. Их подвиг — терпение и смирение. Но и юных семинаристов охватил патриотический порыв. В октябре 1914-го журнал «Енисейские епархиальные ведомости» извещает: «Десять человек из числа воспитанников записались в число добровольцев в действующую армию: Барашков Ст., Троепольский Ал., Щербаков Ив.— 5 кл.; Гобов П., Орловский Бор., Орфеев К.— 4 кл.; Решетников К., Чижев П.— 3-го кл.; Миронов В. и Рудаков В.— 2-го класса. Кроме того, один — Корнилов Ст.— 3 кл., — поступил в санитарный отряд и трое — Бокланов Ан., Зеленецкий Иак.— 4 кл., Пестеров Ал.— 5 кл., — вышли, по прошению, из семинарии для поступления в военное училище».

Преосвященный Никон, Енисейско-Красноярский епископ, благословил юношей. 21 сентября в семинарском храме был отслужен напутственный молебен. Позднее ещё шестнадцать семинаристов попросят благословения и отправятся на фронт. Как сложилась судьба семинаристов, взявших в руки вместо кадила оружие? Большинство канули в небытие — мы даже фамилии не всех добровольцев знаем. Известно о судьбе лишь некоторых из них.

С. Корнилов, поступивший в санитарный отряд, был ранен, после лечения вновь вернулся на фронт.

Пётр Гобов, сын псаломщика из села Идринского (Минусинский уезд), за отличие в бою был награждён орденом Георгия I степени. Вернулся с фронта и снова воевал. Теперь уже в армии Колчака. Был взят в плен красноармейцами. Начиная с 1920 года, несколько раз находился под арестом. В 1938 году его расстреляли в Красноярске.

Биография другого семинариста, Степана Барашкова, упомянутого в списке добровольцев, сложилась более благополучно. Родился он в селе Аскиз, в семье богатого и родовитого хакасского бая. На фронт ушёл с пятого класса семинарии. Воевал в составе 95-го Онежского стрелкового полка. Война проявила в недавнем семинаристе неожиданные качества — бесстрашие и способность не терять самообладание в непредвиденных ситуациях. Был награждён орденом Георгия I степени. В Гражданскую войну тоже служил в армии Колчака — командовал ротой. После разгрома колчаковцев не рискнул вернуться домой — в родной Аскиз, где его все знали как сына местного богатея.

Работал учителем в селе Большая Мурта. Но вскоре был арестован как член «Красноярской боевой группы», которой в действительности никогда не существовало. Бежал под обстрелом конвоя. Несколько лет спустя всё-таки объявился в родном Аскизе, где работал в местном клубе, потом преподавал физкультуру в школе.

Обращаю внимание ещё на несколько фамилий из приведённого списка. Там поименован Иван Щербаков — семинарист пятого класса. Он погиб на фронте в 1915 году. Возможно, это сын священника из села Каратуз Михаила Алексеевича Щербакова. В 1918 году отец Михаил был злодейски убит вместе с женой во время крестьянского восстания. Из документов, хранящихся в Минусинском архиве, известно, что два старших сына отца Михаила — Пётр и Борис — также участвовали в Первой мировой войне.

Иаков Зеленецкий, вышедший из семинарии для поступления в военное училище, — вероятно, сын Михаила Александровича Зеленецкого, священника из села Кавказского. А семинарист К. Орфеев мог быть сыном или внуком кого-то из многочисленного семейства священников Орфеевых, служивших в разных церквях Минусинского уезда. Ещё одно предположение: семинарист В. Рудаков — возможно, сын дьякона минусинского Спасского собора Ивана Ивановича Рудакова.

Гимназисты, семинаристы... Во все времена безусые юнцы рвались на войну. Но в Первую мировую, особенно в начале её, на фронт добровольно уходили не только романтические юноши, понятия не имеющие о войне. По собственной воле записывались в действующую армию и вполне зрелые люди, немало повидавшие на своём веку.

Вот короткая заметка из той же газеты «Отклики Сибири»: «В Красноярск возвратился из действующей армии доброволец-артиллерист, бывший чиновник губернского управления А. В. Щипанов...»

Ещё один доброволец — житель Красноярска мещанин Константин Васильевич Кашпаров. В декабре 1914-го он добровольно записался в действующую армию. После учёбы в Иркутской школе прапорщиков отбыл на фронт. На войне за отличие в боях произведён в поручики, командовал ротой. В Гражданскую войну большевики арестовали его как бывшего царского офицера. Но, поскольку на стороне белогвардейцев Кашпаров не воевал, он был не только освобождён из-под ареста, но и допущен к весьма серьёзной работе — сначала учительствовал в Минусинске, затем заведовал одной из минусинских школ.

А вот совсем удивительный пример. Юристу Григорию Борисовичу Патушинскому, имевшему в Иркутске и Красноярске состоятельных клиентов, было уже за сорок, когда он настоял, чтобы его зачислили в ополчение. Потом добился «высочайшего дозволения» на перевод в отправляющийся на фронт стрелковый полк. Поступок этот вызвал недоумение у многих. Человек солидный, с именем, с репутацией квалифицированного профессионала... Впрочем, Патушинский

никогда не жил с оглядкой на чужое мнение, даже если это мнение начальника. Когда работал следователем в Иркутском окружном суде, не раз выступал против смертной казни, за что и получил год ссылки под надзором полиции. Один из немногих адвокатов, Патушинский встал на защиту рабочих, участвовавших в волнениях на Ленских золотых приискаx. На фронте он воевал в составе 19-го Сибирского стрелкового полка. За отличие в боях был награждён орденом Святого Владимира IV степени с мечами и бантом, имел и другие награды.

При Временном правительстве Григорий Борисович был назначен красноярским окружным прокурором. Когда к власти пришли большевики и начались массовые аресты, Патушинский вновь проявил свой независимый характер. Вот что он написал в исполком Совета рабочих и солдатских депутатов: «Как гражданин и прокурор, считаю долгом протестовать против посягательств на личную неприкосновенность и свободу граждан, откуда бы такие посягательства ни исходили». Каково?! И это в то время, когда людей сотнями расстреливали без всякой вины... Конечно, уволили. Судили. Но расстрелять не решились...

Словом, добровольцев было немало. И чтобы как-то упорядочить эту стихийную волну добровольчества, были приняты специальные «Правила о приёме в военное время охотников на службу в сухопутные войска». В них устанавливались возрастные рамки для добровольцев: не моложе восемнадцати и не старше сорока трёх лет. Это должны были быть люди, не состоявшие под уголовным судом или следствием, не признанные по суду виновными в краже или мошенничестве и не лишённые всех прав состояния. Кроме того, добровольцам, не имевшим военную специальность, следовало сначала нанести визит в воинские присутствия, чиновники которых должны были направить их на обучение.

Какие правила?! Какие чиновники?! Разве юношей, мечтавших попасть на фронт, это могло остановить? Они любыми путями добивались до линии фронта, прибывались к какому-нибудь полку и... воевали, поражая отвагой даже бывалых солдат.

ДЕЗЕРТИРЫ НАОБОРОТ

О казаках Иркутской и Енисейской губерний особый разговор... Когда началась война, поддержание порядка на огромной территории Иркутского военного округа (куда входила и Енисейская губерния) можно было возлагать только на казаков — войска-то на фронт отправлены. В губернии проживало немало ссыльных, в том числе — политических. А с началом войны в Сибирь переселили около семидесяти тысяч неблагонадёжных, прежде всего — с западных территорий Российской империи. И ещё ожидалось беспокойное пополнение — пленные. Да ещё беженцы...

Время наступило тревожное. Как без казаков? Словом, велено было местных казаков на фронт «не пущать». Даже указ насчёт них особый

вышел: Иркутский и Красноярский казачьи дивизионы (они были сформированы в августе 1914 года) были переданы в распоряжение Министерства внутренних дел. Все казаки как казаки — подчиняются армейскому командованию. А иркутские и енисейские — у полицейских на посылах. Их боевая задача — конвоировать, охранять, арестовывать.

Да не тут-то было! Начали казаки осаждать воинские присутствия, писать прошения в разные инстанции, требуя отправки на фронт. В Российском государственном военно-историческом архиве сохранился очень любопытный документ — прошение казака станицы Саянской (Минусинский уезд) Степана Исаевича Симонова на имя императора Николая Второго. Казак Симонов, участник Русско-японской войны, писал, что, несмотря на возраст (ему было сорок три года), он крепок здоровьем и просится на фронт. Казак сокрушался: «...невозможность принести посильную помощь Отечеству вызывает во мне глубокую печаль». Симонов получил категорический отказ, как и десятки других авторов подобных прошений. Казаки поняли: надо действовать на свой страх и риск. И, как зелёные юнцы, стали самовольно удирать на фронт.

В октябре 1915 года в 1-й Аргунский казачий полк прибыло пополнение, которое сопровождали одиннадцать енисейских казаков. Командиру полка полковнику И. Ф. Шильникову казаки доложили, что все они «бежали на войну». Командир Красноярского казачьего дивизиона А. А. Могилёв требовал вернуть этих казаков как дезертиров, оставивших службу. Но какой же командир откажется от такого пополнения?! Напористому полковнику Шильникову при единодушной поддержке командования в напряжённой канцелярской схватке удалось сломить сопротивление Могилёва. Беглецам разрешили остаться в полку. Вот их фамилии: Константин Лалетин, Иннокентий Скобеев, Афанасий Ермолаев, Пётр Мазицкий, Даниил Каргополов, Иннокентий Спиридонов, братья Козьмины — Марк, Федот и Корпий, братья Песеговы — Иван и Ермолай. Чуть позже таким же манером попали на фронт ещё три брата Песеговых — Александр, Максим и Ананий. Но эти — уже в 1-й Нерчинский полк Забайкальского казачьего войска. Да и в других полках подобных «дезертиров наоборот» готовы были принять с распростёртыми объятьями.

Таких было немало. И это несмотря на то, что официально казаки, удравшие на войну, в МВД, куда они были причислены, считались дезертирами. Им не полагалось денежного довольствия, в случае увечья не гарантировалась пенсия. А родные «дезертиров наоборот» лишены были пособия, какие полагались семьям всех фронтовиков. И всё-таки казаки убегали на фронт...

В 1916 году, когда на передовой создалось очень тяжёлое положение, разрешено было отправить на фронт иркутских и енисейских казаков. Но... только добровольцев. И таких нашлось немало. От Красноярского

дивизиона вызвались ехать сто десять казаков. Долгожданная отправка на фронт ошастливила казаков. Они даже отправили благодарственную телеграмму царю «по случаю столь великого праздника».

К сожалению, известны фамилии лишь немногих из этих добровольцев. Несколько названы в записках енисейского казака Георгия Ульяновича Юшкова: взводные урядники Иннокентий Макридин, Афанасий Шереметьев, Иван Широков, Ф. Чанчиков, вахмистр Иннокентий Никитич Воротников (уроженец станицы Монокской Минусинского уезда). Среди добровольцев был и уроженец села Таштып Валериан Серебренников — об этом известно из исследования его потомка Владимира Паршукова.

Судьба многих добровольцев сложилась трагично. Одни погибли на фронте, другие — на Гражданской войне, третьи — в годы репрессий. Как известно из семейной хроники большого рода казаков Лалетиных, доброволец, георгиевский кавалер Семён Матвеевич Лалетин (уроженец станицы Таштыпской Минусинского уезда) был расстрелян в 1937 году в Минусинске.

ШЛИХТЕР — ЭТО НАШ

В газете «Южная Сибирь» от 19 июля 1916 года я случайно наткнулась на небольшую заметку «К гибели Шлихтера и ранению Мартьянова». Перелистав несколько номеров, нашла вот эту заметку: «Нам сообщают о том, что хорошо известный минусинец Н. Н. Мартьянов, вступивший около двух месяцев назад в команду пеших разведчиков добровольцем, серьёзно ранен в грудь. Н. Н. Мартьянов эвакуирован в Минск и лежит в английском госпитале».

Понятно, что в заметке речь шла о младшем сыне основателя минусинского музея Николая Михайловича Мартьянова. Было интересно узнать подробней об этом. Оба героя — и Шлихтер, и Мартьянов — были студентами Московского университета. В начале войны отправились на фронт в составе 1-го Сибирского лечебно-питательного отряда Всероссийского союза городов в качестве санитаров. В сентябре 1915-го после одного из боёв на ничейной полосе осталось лежать много раненых, которых необходимо было вынести. Сергей Шлихтер и двое его товарищей вышли с белым флагом. Удалось договориться с немцами о выносе раненых с ничейной полосы. За это Шлихтер был награждён Георгиевской медалью. Во время другого сражения Шлихтер сумел восстановить нарушенную связь между ротами и, будучи сам ранен, вынес с линии огня раненого офицера. Второй наградой рядового санитаря стал Георгиевский крест 4-й степени. Это был единственный случай награждения рядового санитаря столь высокой наградой.

В мае 1916 года Шлихтер поступил на службу в 266-й Пореченский пехотный полк в команду пеших разведчиков. Вместе с ним в этой команде служил и Николай Мартьянов.

20 июня в бою под Барановичами, когда все офицеры были убиты, Сергей Шлихтер повёл роту в атаку. Был ранен в шею навывлет. Скончался 25 июня по дороге в госпиталь. Тело героя перевезли в Москву и погребли на Всероссийском военном кладбище, которое было открыто 28 февраля 1915 года в Москве. Похоронили его рядом с другими воинами и сёстрами милосердия. В их числе — Ольга Иннокентьевна Шишмарева, получившая в начале марта 1915 года тяжелое осколочное ранение. Умерла она в госпитале Варшавы.

Николай Мартянов также проявил себя героически при наступательных боях под Барановичами. Он тоже повёл в атаку солдат, был ранен. Награждён Георгиевским крестом 4-й степени. Судьба этого человека делала невероятные зигзаги. Вернувшись с фронта, Мартянов «участвовал в борьбе с большевиками и в заговоре против Ленина» (готовилось покушение на вожда). Заговор был раскрыт. После ареста Мартянову удалось бежать на юг России. Там он вступил в Белую армию. Был в эмиграции в Чехословакии, где окончил Пражский университет. Был сотрудником эмиграционной газеты «Воля России». Затем эмигрировал в США, где основал семейное издательство, выпускающее большими тиражами отрывные и перекидные календари, популярные среди русских эмигрантов. Издание существует и сегодня.

Студенты из Москвы... По поводу Мартянова вопросов нет. Он родился в Минусинске, здесь у него была семья. Понятно, почему о подвиге, ранении и награждении этого студента сообщали местные газеты. А вот почему они о Шлихтере писали? Какое он имел отношение к Енисейской губернии?

Решила внимательней изучить подшивку газеты «Южная Сибирь». Нашла некролог «Памяти Шлихтера». Прочла, и сразу всё встало на свои места. Привожу некролог с небольшими сокращениями.

«На Барановичевском направлении во время одной из разведок смертельно ранен доброволец С.А. Шлихтер, скончавшийся через несколько дней в Минском евангелическом госпитале.

Сын старого политического борца, шесть лет назад пришедшего в Сибирь изгнанником, Серёжа Шлихтер во многом разошёлся с той средой, где он вырос, где сформировалось и определилось его мировоззрение. Но, разойдясь во взглядах на современное положение вещей, Серёжа Шлихтер полностью воспринял лучшие традиции семьи и той среды, где он вращался до войны.

При первых же звуках военной грозы Серёжа Шлихтер отправляется на театр военных действий санитаром. Его геройская деятельность на этом поприще получила ряд авторитетных признаний. Летучка, где работали Шлихтер, Мартянов и покойная Шишмарева, не раз попадала в опасное положение, и не раз состав летучки пренебрегал всякой опасностью, оставался на посту. Больше года Шлихтер работал санитаром, затем на короткое время перешёл в тыловую службу

Земгора. Но специфические условия тыловой службы, цепь отвратительных злоупотреблений, заставили его бросить тыловую работу и вернуться на фронт — на этот раз уже добровольцем-разведчиком.

И здесь в памятные дни июньского наступления благородная душа юноши Шлихтера нашла себе вечное спокойствие».

Сначала объясню ситуацию с Земгором, «отвратительные злоупотребления» которого так возмутили Шлихтера, что он снова, несмотря на ранение, вернулся на фронт. Земгор — это комитет, созданный Земским союзом и Союзом городов. Толчком к созданию комитета Земгор стал «снарядный голод» на фронте. В Англии тоже был «снарядный голод», но там он привёл к национализации оружейной промышленности. А в России — всё наоборот: благодаря деятельности лидеров оппозиции к действующему правительству, контроль над снабжением армии через спешно созданный комитет Земгор стал переходить в частные руки. Это привело к казнокрадству в чудовищных масштабах. Чиновники Земгора торопились нажиться на преднамеренно завышенных ценах, спуская потом бешеные деньги в роскошных ресторанах и ювелирных магазинах. Вот почему Сергей Шлихтер, как порядочный человек, поспешил уйти из Земгора.

А теперь — о главном. В некрологе сказано, что Сергей Шлихтер — сын «старого политического борца, шесть лет назад пришедшего в Сибирь изгнанником». Значит, его отец был политическим ссыльным. Да, действительно, в Енисейской губернии находился на поселении политический ссыльный Александр Григорьевич Шлихтер. Он был сослан в Сибирь «с лишением всех прав состояния» за революционную деятельность в Киеве. Сначала Шлихтер с семьёй жил в Енисейске. Под разными псевдонимами публиковался в различных периодических изданиях, в том числе — большевистских. В Красноярске вышла его книга «Кустарные промыслы Енисейской губернии». Шлихтер добился разрешения переселиться в Красноярск.

Это и есть отец Сергея Шлихтера, погибшего на фронте. Вот почему в местных газетах подробно сообщали о гибели Сергея, поместили подробные некрологи.

Далеко не сразу Александру Григорьевичу довелось попасть на могилу сына. Такая возможность у него появилась лишь после Февральской революции. В мае 1917 года Шлихтер уезжает из Сибири. Сначала его назначают в Москве комиссаром по продовольствию. Возможно, именно тогда он заказал скульптору памятник на могилу сыну. Но это могло быть и позднее, когда он занимал весьма важные посты в советском правительстве. Сначала его по настоянию Ленина назначили наркомом продовольствия, потом он занимал пост наркома земледелия и другие значительные должности.

Прошли годы... Там, где были захоронены воины и сёстры милосердия, погибшие в годы Первой мировой войны, решили разбить парк. Памятники, обелиски, надгробия, мешавшие этому замыслу,

были безжалостно уничтожены. Каким-то чудом уцелел памятник Сергею Шлихтеру. Возможно, потому, что он очень тяжёлый — выполнен из массивной глыбы. Сейчас этот памятник реставрирован, взят под охрану государства. Можно без труда прочесть надпись на нём. На передней грани написано: «Студент Московского университета Сергей Александрович Шлихтер. Родился 31 декабря 1894 г. Ранен в бою под Барановичами 20 июня 1916 г. Скончался 25 июня 1916 г.».

СЁСТРЫ МИЛОСЕРДИЯ... И НЕ ТОЛЬКО

В газетах военного времени (в том числе и красноярских) часто встречаются статьи известного в то время публициста Аделаиды Владимировны Тырковой. В них она обращалась к женщинам России, горячо призывая их ехать на фронт сёстрами милосердия.

«Одним из способов очистить военную санитарию от распущенности и анархии является замена солдат-санитаров женщинами», — убеждала она.

Никто не мог обязать женщину ехать на фронт — это дело строго добровольное. Может быть, многие из женщин, поехавших на фронт, близко к сердцу восприняли призыв Тырковой. Немало их из Енисейской и Иркутской губерний отправились на фронт в составе 1-го Сибирского передового врачебно-питательного отряда. Он был сформирован Сибирским обществом подачи помощи больным и раненым воинам, в основном на добровольческие пожертвования. В составе отряда были старший врач и трое младших, шестнадцать сестёр и братьев милосердия, пятьдесят санитаров. За отрядом были закреплены десять автомобилей и двадцать лошадей. В ноябре 1914 года отряд отправился на Варшавский фронт.

Помимо этого, сибирячки работали в лазаретах, санитарных поездах, доставлявших раненых с фронта в тыловые госпитали. Например, в санитарном поезде № 187, сформированном на средства Всероссийского земского союза помощи больным и раненым, работала врач из Красноярска Мария Александровна Саввиных.

Но женщины были на фронте не только в качестве сестёр милосердия, но и как ратники, воины.

Считается, что движение по вступлению женщин в ряды российской армии началось с Марии Леонтьевны Бочкарёвой — малограмотной крестьянки из семьи Фроловых, переселившейся в Сибирь из Новгородской губернии. Это могли бы оспорить другие женщины, получившие личное разрешение Николая II на право встать в боевой строй практически одновременно с Бочкарёвой. Женские батальоны формировались в Москве, Саратове, Мариуполе, Екатеринбурге, Киеве и других городах. Поэтому правильно будет сказать, что Бочкарёву более широко власть использовала для пропаганды этого движения, что нисколько не умаляет её боевых заслуг: она четырежды была ранена, контужена, имела Георгиевские кресты всех четырёх степеней.

Когда началась война, ей было двадцать пять лет. Как, почему она решила, что ей надо попасть на фронт, и не сестрой милосердия, а непременно солдатом? Кто же это знает? Но своего она всё-таки добилась... Сначала воевала с беспримерной отвагой. Потом женские батальоны смерти организовывала.

Какое отношение имеет Бочкарёва к нашему повествованию? Именно в Красноярске прошли последние дни этой женщины-воина. Большевики арестовали её в начале января 1920 года. Весной Бочкарёву расстреляли...

Авторы



АХАДОВ ЭЛЬДАР АЛИХАСОВИЧ

Российский писатель. Родился в 1960 году в Баку. Окончил Ленинградский горный институт. В течение 10 лет руководил краевым литературным объединением при Государственном центре народного творчества Красноярского края и краевой литературной студией «Былина» для незрячих и слабовидящих. Автор более 30 книг поэзии и прозы. Основатель сайта «Миры Эльдара» и международного русскоязычного поэтического конкурса «Озарение». Произведения автора публиковались в журналах «Молодая гвардия», «Мурзилка», «Дети Ра», «Футурум АРТ», «Кукумбер», «Сибирские огни», «Неизвестная Сибирь», «День и ночь», «Обская радуга», «Intelligent New-York» и др. Обладатель многочисленных литературных премий и наград. Живёт в Красноярске.



ВАСИЛЬЕВ ГЕННАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Журналист, поэт, исполнитель авторской песни. Родился в 1959 году в Томске. Отслужил в армии, потом по комсомольской путёвке оказался на КАТЭКе, в городе Шарыпово (Красноярский край). Учился заочно в Иркутском университете на факультете журналистики. В 1986 году был приглашён в газету «Серп и молот», затем работал в газетах «Красноярский комсомолец», «Свой голос», «Евразия», «Деловая Сибирь», вёл еженедельную программу на красноярской студии «Авторадио», участвовал во всевозможных медиа-проектах. Участник Всероссийского совещания молодых литераторов в Ярославле в 1996 году.



ЁЛТЫШЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

Родился в 1950 году в Красноярске. По окончании педагогического института (филологический факультет) учительствовал в сельской и городской школах, служил в армии. С 1975 года — журналист: корреспондент, ответственный секретарь, редактор в краевых газетах и журналах. Стихи пишет всю жизнь, публиковал их в краевых и центральных газетах и журналах, коллективных сборниках. Выпустил две поэтических книжки.



КАЛЕМЕНЕВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА

Родилась в 1952 году в городе Чирчик Узбекской ССР. В 1977 году окончила Казанский государственный университет (филология, отделение журналистики). Работала в многотиражке

«За регулярный рейс» (Казань), газете «Ангренская правда» (Узбекистан), в течение 10 лет была редактором многотиражной газеты «Строитель» треста «Узбекшахтострой». Публиковалась в «Правде Востока», «Строительной газете», «Российской газете». С 1993 года проживает в Минусинске. Работала в газетах «Надежда», «Хакасия». Постоянно принимает участие в Мартыановских и Суриковских чтениях.



КОРНИУХИНА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА

Родилась в Севастополе. Образование высшее историко-филологическое. Работала педагогом, корреспондентом, редактором телевидения в Крыму, на Дальнем Востоке, в Сибири. С 1987 года живёт в Минусинске. Награждена знаком «Почётный работник общего образования Российской Федерации». Лауреат и дипломант ряда литературных и творческих конкурсов. Выпустила пять прозаических и один поэтический сборник.



КРАВЧЕНКО НАДЕЖДА АФАНАСЬЕВНА

Родилась в 1959 году в городе Шалым Кемеровской области. Детство прошло в Туве. Образование высшее: Арзамасский пединститут имени А. Гайдара. Работала воспитателем в коррекционных школах и в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Лучик». Автор сборников стихов «Родники моей судьбы» и прозы «Когда запели свистистели». Публиковалась в журналах «День и ночь», «Истоки» (Нижний Ингаш), «Литературный Абакан». Живёт в Минусинске.



КУДРЯВЦЕВ ЛЕОНИД ВИКТОРОВИЧ

Первый рассказ был напечатан в 1984 году в альманахе «Енисей». Первая книга вышла в 1990 году в Красноярске. Работал в издательской системе. Последние должности — заведующий редакцией и главный редактор. С 1994-го зарабатывает на жизнь только литературной деятельностью. В 1997 году был принят в Союз писателей России и стал лауреатом премии фонда имени В. П. Астафьева за книгу «Чёрная стена». Лауреат ряда жанровых премий. В 2001-м его роман «Охота на Квака» выдвигался в Польше на «Nagroda Sfinks» («Премия Sfinks») в номинации «Зарубежный роман года». Лауреат Международного конкурса фантастического рассказа «Златен канн» (Болгария). В 2016 году удостоен медали «Патриот России». Издано более шести десятков книг, в том числе две — в Польше. Переводит с польского языка.



КУЗНЕЧИХИН СЕРГЕЙ ДАНИЛОВИЧ

Родился в посёлке Космынино под Костромой. После окончания химфака Калининского политехнического института уехал в Свирск, потом перебрался в Красноярск. За 20 лет работы инженером-наладчиком изъездил Сибирь от Урала до Дальнего Востока, от Тувы до Чукотки. Печатался в журналах «Предлог», «Коростель», «Арион», «Дальний Восток»,

«Литературная учёба», «Сибирские огни», «День и ночь», «Огни Кузбасса», в альманахе «День поэзии 1986», в коллективных сборниках. Автор книг стихов «Жёсткий вагон» (1979), «Соседи» (1984), «Поиски брода» (1991), «Похмелье» (1996), «Ненужные стихи» (2002), «Местное время» (2006), «Дополнительное время» (2010), «С точностью до шага» (2012), «Уходящее время» (2016). Выпустил книги прозы «Аварийная ситуация» (Москва, «Советский писатель», 1990), «Омuléвая бочка» (Красноярск, 1994), «Где наша не пропадала» (Красноярск, 2005), «Забавный народ» (Красноярск, 2007), «Бич-рыба» (Москва, «Эксмо», 2014). Член Союза российских писателей.



ЛЕВСКАЯ ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА

Родилась в 1974 году в городе Ужуре. После окончания Красноярского педагогического института преподавала английский язык на экономическом факультете Красноярского государственного технического университета. В 2003-м экстерном получила второе высшее образование в КГПУ по специальности «Кадровый менеджмент». Преподаёт английский язык в Сибирском федеральном университете, является автором и ведущей передачи «Культурная среда» на красноярском медиаканале «Радио VK». В 2014 году в Новосибирске вышла книга-«тетрадь» стихов «Ибонадо». Стихи и рассказы публиковались в альманахе сибирской актуальной поэзии «Между» (Новосибирск), сборнике «Увидеть слово» (Санкт-Петербург, серия «Петраэдр»), сборнике «Парадигма» (Красноярск). Есть авторский раздел на литературном портале «Белый мамонт».



МАРКОВ СЕРГЕЙ ДАНИЛОВИЧ

Родился в 1952 году на Дальнем Востоке, но в Красноярске живёт, сколько себя помнит. Инвалид первой группы по зрению. В 1983-м окончил Кисловодскую школу массажистов, работает по специальности. До пятидесяти лет стихов не писал. Этот дар открылся неожиданно после тяжёлой автоаварии в 2002 году. Член литературного объединения «Былина», созданного при Красноярской краевой специальной библиотеке для инвалидов по зрению. В 2006-м вышел сборник стихов «Поэза чарующих звуков», через два года — второе, дополненное издание, в 2018-м — сборник «Знак вечной любви».



МЕЛЬ СВЕТЛАНА ЛЕОНГАРДОВНА

Родилась 25 апреля 1960 года в Красноярске-26. Окончила механико-математический факультет Пермского государственного университета. Работала в НИИУМС (Пермь), с 1988 по 2016 год — в отделе информационных технологий строительной организации Железногорска. Стихи пишет с детства. Чуть позже начала писать песни на свои и чужие стихи. Участвовала в бардовских фестивалях в Перми, Красноярске, Ижевске, Ульяновске, Томске и других городах. Публиковаться начала с 1999 года в городской прессе, затем

в различных альманахах. Первый сборник стихов «Блики и тени» вышел в красноярском издательстве «Кларетианум» в конце 2000 года, «Тот нечаянный глоток» — в 2008-м. В 2010 году вышла книга на двух авторов «Два крылатых коня» в Железногорске, в 2014 году — «Наслоения». Подборки стихов печатались в журнале «Европейская словесность» (Кёльн). Член Союза российских писателей с 2011 года.



Мурзин Дмитрий Владимирович

Родился в Кемерове 28 апреля 1971 года. Окончил математический факультет Кемеровского госуниверситета (1993 год) и Литературный институт имени А. М. Горького (семинар И. Л. Волгина, 2003). Работает ответственным секретарём журнала «Огни Кузбасса». Лауреат Всесибирской премии имени Л. Мерзликина (2015). Печатался в журналах «Дети Ра», «День и ночь», «Наш современник», «Москва», «Октябрь», «Огни Кузбасса», «Сибирские огни», «Байкал» и др. Автор семи книг стихов. Член Союза писателей России, член Русского ПЕН-центра.



Немежикова Ольга Владимировна

Живёт в Красноярске, где и родилась в 1965 году. Окончила с отличием два факультета в КИЦМ (ныне ИЦМиМ СФУ) по специальностям «горный инженер-геолог» (ленинская стипендиатка, 1987), «экономист» (1993). Финалист литературного конкурса имени И. Д. Рождественского (2016). Публикации в жанрах малой прозы, критики — журнал «День и ночь».



Немтушкин АЛИТЕТ (АЛЬБЕРТ) НИКОЛАЕВИЧ 1939–2006

Первый профессиональный эвенкийский писатель, автор более 30 книг стихов и прозы на эвенкийском и русском языках. Первая книжка стихов вышла в 1960 году, когда автор был студентом 4-го курса Ленинградского государственного педагогического института имени А. И. Герцена. Его произведения переводились на языки народов союзных республик и стран народной демократии. В 1992 году был удостоен Государственной премии Союза писателей России. В 2005 году на средства краевого Законодательного собрания изданы избранные произведения писателя. Принимал активное участие в творческой и общественной жизни страны. Избирался делегатом многих писательских съездов РСФСР и СССР. В 1989–1991 годах возглавлял Красноярское краевое отделение писательской организации. Умер 4 ноября 2006 года.



Новикова Инна Леонидовна

Родилась и живёт в Красноярске. Окончила технологический институт по специальности «инженер-механик». Ещё учась в школе и на первых курсах вуза, пыталась написать правдивый и захватывающий исторический роман, собирала для него материал. Прочитав книгу Петра Черкасова «Кардинал

Ришелье», поняла: всё, что хотела, уже написано,— и бросила литературу. Сочинять сказки начала по просьбе сына.



Полухин Владимир Александрович

Родился в посёлке Урал Красноярского края 22 апреля 1969 года, поэтому родители назвали в честь вождя. Учился на юриста в Красноярском государственном университете. После службы в армии начал писать песни, в 1990 году собрал свою рок-группу. В 1993 году завязал с музыкой и решил зарабатывать очень много денег. Периодически это почти получалось. Перепробовав несколько десятков профессий, в 2011 году, осознав, что больше не может без музыки, создал группу «Zarovednik Goblinov», играющую «инди» (независимую музыку). Долгое время не обращал внимания на тексты, которые не становились песнями. Со временем их стало много... В апреле 2018 года стал лауреатом конкурса имени Игнатия Рождественского в номинации «Поэзия».



Русаков Эдуард Иванович

Писатель, журналист. Родился в 1942 году в Красноярске. Окончил Красноярский медицинский институт (1966) и Литературный институт имени А. М. Горького (1979). Работал врачом-психиатром (1966–1981), редактором на Красноярской студии документальных фильмов (1981), руководителем литературной студии при красноярском Дворце культуры (1982–1991), корреспондентом газет «Евразия», «Вечерний Красноярск» (1991–1998). Печатается как прозаик с 1966 года. Автор нескольких книг прозы. Произведения переводились на азербайджанский, болгарский, венгерский, казахский, немецкий, словенский, финский, французский, японский языки. Член Союза писателей России, Международного ПЕН-клуба (Русский ПЕН-центр, Сибирский филиал), экспертного совета благотворительного общественного фонда имени В. П. Астафьева.



СТАВЕР СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ

1949–2016

Родился на станции Крутояр Красноярского края. По профессии — художник-оформитель. Автор 14 поэтических сборников. Участник Всероссийских литературных чтений имени В. П. Астафьева. Публиковался в литературных журналах «Енисей», «День и ночь», «Сибирские огни», «Сибирские Афины», альманахах «День российской поэзии», «Новый Енисейский литератор» и др. Жил в Назарово Красноярского края. Был руководителем народного коллектива назаровских литераторов «Эхо Арги». Член Союза российских писателей.



Тарковский Михаил Александрович

Русский поэт и писатель, около 30 лет живущий в селе Бахта Туруханского района Красноярского края. Родился в 1958 году в Москве. После окончания пединститута имени Ленина

(отделение «География-биология») уехал в Туруханский район, где работал сначала полевым зоологом, а позже охотником. Автор рассказов, повестей и очерков о жизни таёжных охотников и рыбаков, жителей Енисея. Лауреат ряда литературных премий: журналов «Наш современник», «Роман-газета», Соколова-Микитова, Шишкова, «Ясная Поляна» имени Л. Н. Толстого и других. Член Союза писателей России.



Тимченко Николай Николаевич

Родился в 1950 году в предгорье Саян в Красноярском крае. Окончил Красноярский педагогический институт. Автор трёх поэтических сборников. Проза печаталась в журнале «День и ночь» (Красноярск), альманахах «Истоки» (Москва, изд. «Перо»), «Новый Енисейский литератор» (Красноярск). Лауреат премии имени Игнатия Рождественского в номинации «Я себя не мыслю без Сибири» за 2014 год.



Ярош Владимир Александрович

Родился в 1955 году в Каменске-Уральском Свердловской области, в семье инженеров-металлургов. В 1978-м окончил физтех Уральского политехнического института, получил распределение на электрохимический завод города Красноярск-45 (ныне Зеленогорск), где работал инженером-технологом основного производства. В Красноярске с 1988 года. Женат. Публиковался в журнале «День и ночь», в альманахе «Енисей».

